

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ — ИЮНЬ

«НАУКА»

МОСКВА — 1989

Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ Н. И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБАЕВ В. И.
АРИСТЕ П.
ЛАНЕР В. (ГДР)
БЕРНШТЕЙН С. Б.
БИРНБАУМ Х. (США)
БОГОЛЮБОВ М. Н.
БУДАГОВ Р. А.
ВАРДУЛЬ И. Ф.
ВАХЕК Й. (ЧССР)
ВИНТЕР В. (ФРГ)
ГРИНБЕРГ Дж. (США)
ГУХМАН М. М.
ДЕСНИЦКАЯ А. В.
ДЖАУКЯН Г. Б.
ДОМАШНЕВ А. И.
ДРЕССЛЕР В. (Австрия)
ДУРИДАНОВ И. (НРБ)
ЗИНДЕР Л. Р.
ИВИЧ П. (СФРЮ)
КЕРНЕР К. (Канада)
КОСЕРИУ Э. (ФРГ)
ЛЕМАН У. (США)

МАЖЮЛИС В. П.
МАЙРХОФЕР М. (Австрия)
МАРТИНЕ А. (Франция)
МЕЛЬНИЧУК А. С.
НЕРОЗНАК В. П.
ПОЛОМЕ Э. (США)
РАСТОРГУЕВА В. С.
РОБИНС Р. (Великобритания)
СЕМЕРЕНЬИ О. (ФРГ)
СЛЮСАРЕВА Н. А.
ТЕНИШЕВ Э. Р.
ТРУБАЧЕВ О. Н.
УОТКИНС К. (США)
ФИШЬЯК Я. (ПНР)
ХАТТОРИ СИРО (Япония)
ХЕМП Э. (США)
ШВЕДОВА Н. Ю.
ШМАЛЬСТИГ В. (США)
ШМЕЛЕВ Д. Н.
ШМИДТ К. Х. (ФРГ)
ШИМИТ Р. (ФРГ)
ЯРЦЕВА В. Н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЛПАТОВ В. М.
АПРЕСЯН Ю. Д.
БАСКАКОВ А. Н.
БОНДАРКО А. В.
ВАРБОТ Ж. Ж.
ВИНОГРАДОВ В. А.
ГАДЖИЕВА Н. З.
ГЕРЦЕНБЕРГ Л. Г.
ГАК В. Г.
ДЫБО В. А.
ЖУРАВЛЕВ В. К.
ЗАЛИЗНЯК А. А.
ЗЕМСКАЯ Е. А.
ИВАНОВ Вяч. Вс.
КАРАУЛОВ Ю. Н.
КИБРИК А. Е.
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)

КОДЗАСОВ С. В.
ЛЕОНТЬЕВ А. А.
МАКОВСКИЙ М. М.
НЕДЯЛКОВ В. П.
НИКОЛАЕВА Т. М.
ОТКУПЩИКОВ Ю. В.
СОБОЛЕВА И. В. (зав. редакцией)
СОЛНЦЕВ В. М.
СТАРОСТИН С. А.
ТОПОРОВ В. Н.
УСПЕНСКИЙ Б. А.
ХЕЛИМСКИЙ Е. А.
ХРАКОВСКИЙ В. С.
ШАРБАТОВ Г. Ш.
ШВЕЙЦЕР А. Д.
ШИРОКОВ О. С.
ЩЕРБАК А. М.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

СО Д Е Р Ж А Н И Е

З и н д е р Л. Р. (Ленинград). Несколько слов о междуровневых дисциплинах	5
Х у р ь х Б. (Вупперталь). Фонетика и фонология или фонология и фонетика	8
Б о н д а р к о Л. В. (Ленинград). Фонетический фонд современного русского языка	15
Т а т а р и н ц е в Б. И. (Кызыл). К согласованию постратической теории с результатами изучения тюркских языков	20
Б о м х а р д А. Р. (Бостон). Очерк сравнительной фонологии так называемых «постратических» языков	33
Б у л ы г и н а Т. В., Ш м е л е в А. Д. (Москва). Пространственно-временная локализация как суперкатегория предложения	51
Л и Т о а н Т х а н г (Ханой). К вопросу о пространственной ориентации во вьетнамском языке в связи с картиной мира (Этнопсихологические проблемы)	62
Б а р а н о в А. Н. (Москва). Аксиологические стратегии в структуре языка (паремиология и лексика)	74
К а л ы н ь Л. Э., К л е п и к о в а Г. П. (Москва). К вопросу о значении многоязыковых атласов для изучения славянского диалектного континуума (На материале ОЛА и ОҚДА)	91

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Ф л о р е н с к и й П. А. Термин (Окончание)	104
--	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Т р у б а ч е в О. Н. (Москва). О работе секции языковедения X Международного съезда славистов	118
--	-----

Рецензии

Ш м а л ь с т и г У. Р. (Пенсильвания). <i>Сахокия М. М.</i> Посессивность, переходность и эргативность. Типологическое сопоставление древнеперсидских, древнеармянских и древнегрузинских конструкций	129
К у б р я к о в а Е. С. (Москва). <i>Ulrich M.</i> Thetisch und Kategorisch. Funktionen der Anordnung von Satzkonstituenten am Beispiel des Rumänischen und anderer Sprachen	131
Н е л ю б и н Л. Л. (Москва). Автоматизация анализа научного текста	133
Л е й ч и к В. М., Ш е л о в С. Д. (Москва). <i>Никитина С. Е.</i> Семантический анализ языка науки	135
Б о г д а н о в С. И., Г о л у б е в а А. В. (Ленинград). <i>Кузнецова А. И., Ефремова Т. Ф.</i> Словарь морфем русского языка	140
К у р к и н а Л. В. (Москва). <i>Rigler J.</i> Rasprave o slovenskem jeziku	145

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Н и к о л а е в а Т. М., Р о з а н о в а Н. Н. (Москва). О деятельности Постоянной Комиссии по фонологии и фонетике при ОЛЯ АН СССР	149
Хроникальные заметки	152

C O N T E N T S

Z i n d e r L. R. (Leningrad). Some remarks on interlevel correlation in linguistics; H u r c h B. (Wuppertal). Phonetics and phonology or phonology and phonetics; B o n d a r k o L. V. The phonetic fund of modern Russian; T a t a r i n c e v B. I. (Kyzyl). On the compatibility of the Nostratic theory with data obtained from the study of the Turkic languages; B o m h a r d A. R. (Boston). A survey of the comparative phonology of the so-called «Nostratic» languages; B u l y g i n a T. V., S m e l e v A. D. (Moscow). The spatial-temporal localization as a supercategory of the sentence; L y T o a n T h a n g (Hanoi). The spatial orientation in Vietnamese in connection with the picture of the world («Weltbild») (Ethnopsychological problems); B a r a n o v A. N. (Moscow). Axiological strategy in the structure of language (paremiology and word-stock); K a l n y n' L. E., K l e p i k o v a G. P. (Moscow). On the importance of multilanguage atlases for the study of the Slavic dialect continuum; From the history of science: F l o r e n s k i j P. A. The term (end); Surveys: T r u b a č e v O. N. (Moscow). Activities of the linguistic section at the X International Congress of slavists; Reviews: S c h m a l s t i e g W. R. (Pennsylvania). *Saxokia M. M.* Possessive, transitive and ergative constructions. Typological comparison of Old Persian, Old Armenian and Old Georgian; K u b r i a k o v a E. S. (Moscow). *Ulrich M.* Thetisch und Kategorisch. Funktionen der Anordnung von Satzkonstituenten am Beispiel des Rumänischen und anderer Sprachen; N e l j u b i n L. L. (Moscow). Automatic analysis of the scientific text; L e i č i k V. M., S e l o v S. D. (Moscow). *Nikitina S. E.* Semantic analysis of the language of science; B o g d a n o v S. I., G o l u b e v a A. V. (Leningrad). *Kuznecova A. I., Efremova T. F.* Morpheme dictionary of the Russian language; K u r k i n a L. V. (Moscow). *Rigler J.* Rasprave o slovenskem jeziku; Scientific life: N i k o l a j e v a T. M., R o z a n o v a N. N. (Moscow). On the activities of the Permanent Commission on phonology and phonetics of the Department of language and literature of the Academy of Sciences of the USSR. Chronical notes.

ЗИНДЕР Л. Р.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МЕЖУРОВНЕВЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

В «Вопросах языкознания» (1986, № 6) была опубликована статья Л. С. Ермолаевой и М. К. Сабанеевой [1]. Статья интересная. В ней есть новые мысли, по-своему увиденные факты, которые авторы стремятся теоретически истолковать. Направленность статьи, о чем говорит само ее название, общелингвистическая; соответственно авторы затрагивают в ней ряд общих вопросов, что побуждает меня высказать по поводу них некоторые соображения.

Начну с вопроса о системном характере языка. Слово «система» так часто употребляется в современных лингвистических работах, притом и в тех случаях, когда оно не столь уже необходимо, что оно превратилось в своего рода заклинание и, как всякое заклинание, начинает терять реальный смысл.

Считается, что признание системного характера языковых явлений отличает современный этап в развитии языковедения. Вместе с тем такое понимание имеет давнюю историю. Достаточно вспомнить младограмматиков с их «Systemzwang» («давление системы»). А если обратиться к Э. Сиверсу, одному из виднейших представителей младограмматизма, то мы найдем в его трудах интереснейшие в этом смысле высказывания. Например: «Нам нужно знать не то, сколько существует оттенков гласных вообще, а то, как устроена с и с т е м а (разрядка моя.— *З. Л.*) гласных каждого отдельного языкового сообщества» [2]. Несколько позже он писал: «Прежде всего нужно стремиться получить точное представление об устройстве рассматриваемой звуковой системы; следует всегда иметь в виду, что она определяется не столько числом случайно собранных в ней звуков самих по себе, сколько отношением этих отдельных звуков между собой» [3].

Если не стремиться дать строгую и непротиворечивую дефиницию понятия системы, то можно сказать, что основной смысл его состоит в том, что система это не просто сумма составляющих ее элементов, а что эти элементы взаимосвязаны между собой и группируются определенным образом, создавая целостность системы. Когда мы говорим специально о я з ы к о в о й системе, мы должны помнить, что она представляет собой динамическое, нежесткое, сложное образование, состоящее из нескольких подсистем, коррелирующих между собой. Языковая система это целостная структура; все, что имеет место в одной ее части, отражается и в других частях. Хочется напомнить здесь следующие слова А. А. Реформатского: «Но различая качественно отдельные звенья этой иерархической цепи, надо все время помнить о результате: о построении целого — языка. И это не будет ни атомизмом, ни техническим механицизмом. Это и будет структурным анализом, где целое немислимо вне своих частей, а часть всегда часть чего-то» [4].

Целостность языковой системы, иерархический характер образующих ее уровней требуют учитывать при изучении отдельного языкового явления межуровневые связи. Без этого невозможно понять значения грамматической категории, представленной в речи данной словоформой. Все в языке служит для выполнения им коммуникативной функции, а осуществляется это единицами синтаксическими. Отдельная словоформа лишь в особых ситуациях может выступать в речи как самостоятельное речение. Так, на вопрос: *Чего нет?* может последовать ответ: *Книги*. Или же на вопрос учителя: *Как будет родительный падеж слова «порядок»?* ученик ответит: *Порядка*.

Признание примата синтаксиса провоцирует отрицание самостоятельности морфологии, что и наблюдалось в «новом учении о языке» Н. Я. Марра. Его афоризм — «морфология лишь техника для синтаксиса» — полвека тому назад широко бытовал в советском языковедении. В наше время в общем аналогичная точка зрения представлена в генеративной грамматике.

Однако подчиненность не исключает автономности, которая и присутствует морфологии. Это можно проиллюстрировать на примере грамматической категории рода. Синтаксический смысл этой категории очевиден, тем не менее, например, число падежей в парадигме склонения даже в родственных языках различно, хотя функции падежей в предложении в общем совпадают. Далее, один и тот же падеж может выполнять в одном и том же языке разные функции, даже столь различные, как обозначение подлежащего и сказуемого (ср.: *Студент сдает экзамен* и *Мой брат — студент*). Наконец, синтаксически никак невозможно объяснить наличие нескольких типов склонения (например, твердого и мягкого склонения в русском языке, сильного и слабого в немецком).

Таким образом, морфология, несмотря на ее служебную роль при построении высказывания, обладает, так сказать, парадигматической автономностью. Сложность и противоречивость морфологических парадигм нельзя объяснить не только с позиций синтаксиса, но и вообще с синхронической точки зрения. Только сравнительно-историческое изучение покажет, например, что первоначально в индоевропейских языках система падежных окончаний была единой, а существующее сейчас разнообразие возникло в результате скрещения флексий с разными словообразовательными формантами.

Итак, правила словоизменения, если можно так выразиться, «набор форм слова» в синхронии полностью независимы от синтаксиса. Напротив, в ы б о р той или иной словоформы из этого набора определяется ф о р м о й в ы с к а з ы в а н и я, что является предметом синтаксиса. Например, в предложениях: *Мой сосед построил веранду за одну неделю* и *Веранда была построена моим соседом в течение одной недели* словоформы — *сосед, соседом, веранду, веранда, построил, построена* и т. д. взяты, так сказать, в готовом виде из соответствующих парадигм склонения и спряжения. В ы б о р же требуемой словоформы продиктован ее синтаксической ролью.

Трудно понять, почему Л. С. Ермолаева и М. К. Сабанеева из совершенно правильного утверждения («...понимание... „механизмов“ морфологических изменений становится возможным в результате изучения функционирования морфологических единиц в определенных синтаксических конструкциях при условии, что языковая система рассматривается не изолированно от речевой деятельности, а в тесной взаимосвязи с нею») делают такой вывод: «При изучении эволюции морфологической си-

стемы становится очевидной необходимость выделения области морфосинтаксиса, в некоторой степени аналогичной области морфонологии» [1, с. 58].

Я сказал бы, что такая «необходимость» становится не только не «очевидной», а совершенно исключенной. Что может быть предметом этой новой дисциплины? Чем она должна заниматься? Изучением морфологических изменений в связи с синтаксисом? А что же «чистая» историческая морфология и «чистый» исторический синтаксис, которых морфосинтаксис, надо думать, не ликвидирует, могут не обращать внимания на межуровневые связи?

В качестве примера Л. С. Ермолаева и М. К. Сабанеева приводят высказывания Т. В. Строевой о развитии в системе наклонений немецкого языка так называемого комментатива, становление которого происходило в соответствующем синтаксическом контексте. Нет ни малейшего сомнения в том, что Т. В. Строевой и в голову не приходило, что значение морфологической категории формируется независимо от ее функционирования в речи.

В заключение — несколько слов об аналогии между морфосинтаксисом и морфонологией. Звуковая сторона занимает в языке особое место. Это не какой-то уровень в иерархической структуре языка. Звуковая материя — форма существования языка, любого его элемента, начиная с морфемы и кончая высказыванием любой протяженности. Звуковая сторона в одинаковой степени связана и с морфонологией, и с синтаксисом, и с лексикой, но это — связь формы с содержанием.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ермолаева Л. С., Сабанеева М. К.* К проблеме морфосинтаксиса // ВЯ. 1986. № 6.
2. *Sievers E.* Grundzüge der Lautphysiologie. Leipzig. 1876. S. 49.
3. *Sievers E.* Grundzüge der Phonetik. Leipzig, 1881. S. 4.
4. *Реформатский А. А.* Очерки по фонологии, морфонологии, морфологии. М., 1979. С. 101.

ХУРЬХ Б.

ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ
ИЛИ
ФОНОЛОГИЯ И ФОНЕТИКА

1. Один из основных тезисов, который нам хотелось бы обсудить в настоящей работе, заключается в том, что фонетика не является определенной частью фонологии, причем фонология так же конкретна, как и фонетика. Конкретность в фонологических рассуждениях обычно смешивают с фонетическими репрезентациями, и чем более удалена какая-либо форма в данном анализе от поверхностной репрезентации, тем более «абстрактной» она считается. Мы полагаем, что такое употребление терминов «конкретность — абстрактность» противоречит традиционному и ясно очерченному их определению в эпистемологии, где они относятся к процедуре отфильтровывания тех элементов данного текста, которые не являются релевантными для понимания исследуемого явления. Самые первые шаги в теоретической фонологии как раз и были нацелены на демонстрацию того, что конкретна не только фонетика, но и фонология столь же реальна, как и фонетика, независимо от того, насколько далек (фонетически) данный сегмент или последовательность в фонологическом анализе от поверхностной фонетической репрезентации (см., например, письмо Трубецкого Форьххаммеру от 5-го марта 1932 г. в [1]).

Основной вопрос, возникающий при фонологическом анализе данного языка в рамках естественной фонологии, заключается в том, является ли данная деривация достоверной или нет. Аргументы в пользу ее достоверности предоставляет, помимо прочего, фонетика, поскольку любое данное высказывание должно быть произносимым и воспринимаемым, отражая человеческие возможности и потребности коммуникации ([2], ср. также концепцию телеологии у Линдблома [3]).

2. Интервокальная ассимиляция по звонкости $s \rightarrow z/V_V$, например, является, безусловно, фонетически обусловленным замещением. Колебания голосовых связок, которые в последовательности VsV прерываются, снова возобновляются при фрикативной артикуляции в последовательности VzV . Результатом такой субституции является замена двух артикуляционных движений одним, с единым типом фонации (голосовые связки в позиции озвончения), вместо перехода от позиции озвончения к позиции оглушения и возврата к позиции озвончения для артикуляции второго гласного в этой последовательности. Кажется, что здесь имеет место явно ассимилятивный процесс. Однако не все фонологические теории будут в согласии с естественной фонологией, придающей столь большую роль в лингвистической аргументации фонетическому объяснению. В генеративной фонологии любая данная субституция (р-правило) скорее усложняет грамматику. Суждения о субституции в генеративной фонологии осуществляются путем установления отношения между отдельным р-правилом и правилами маркированности. Но правила маркированности являются

ся прежде всего условностями, а это означает, что они могут быть установлены без предварительного обращения к фонетической базе, т. е. могут быть получены неаналитическим наблюдением, поскольку основное требование к ним — быть правильными обобщениями, касающимися наблюдаемых фактов. В этом, генеративистском, смысле теория является объясняющей (explanatory), если она обеспечивает описание набора возможных грамматик и процедуру выбора верной грамматики для данных фактов [4]. Таким образом, в свете р-правил термины типа «ассимиляция», имеющие фонетические основания, становятся, строго говоря, просто излишними. Это относится, в частности, к контекстуально ограниченному (context-sensitive) и фонетически достоверному процессу озвончения. И процесс этот естествен. Но есть и контекстуально неограниченный (context-free) процесс оглушения шумных, в том числе и /z/: прерывание воздушной струи противостоит относительно свободному потоку воздуха, который необходим для вибрации голосовых связок. Этот процесс фонетически столь же достоверен, как и упомянутый выше. Стэмп [5] обсуждает с точки зрения фонологии взаимодействие контекстуально неограниченного оглушения шумных и контекстуально ограниченного озвончения /s/ в качестве примера антагонистического характера отношений между этими процессами.

3. Одно из главных возражений против естественной фонологии (например, [6—8], ответы см. в [9] и особенно в [10]) состоит в том, что она не объясняет, к чему относится термин «естественная». В баскском языке, например, мы находим оглушение сочетания шумных, которое состоит из звонкого и глухого сегментов, в то время как в испанском в том же контексте наблюдаем тенденцию к озвончению (ср., например, баск. $s (\#) d \rightarrow s (\#) t$ в *ez dakit* «я не знаю», в то время как испанское *a las doce* «в двенадцать» реализуется как [zd]). Вопрос в том, что является естественным: озвончение или оглушение? Ответ ясен — и то, и другое. Любая субституция, которая осуществляется регулярно¹ в рамках данной звуковой модели (pattern), настолько же естественна, насколько естественной является любая звуковая система, объяснение которой следует искать в естественных парадигматических процессах. Естественная фонология постулирует, что любой процесс должен быть тем или иным образом фонетически мотивированным. И оба указанных феномена (как озвончение, так и оглушение) являются фонетически мотивированными. Таким образом, вопрос, почему данный язык предпочитает один способ фонетической мотивации другому, остается без ответа. Вопрос этот, несомненно, столь же труден, насколько и важен. Но мы не можем отказаться от теории только потому, что у нас нет готового решения реальной проблемы. В самом деле, баскский язык, например, в результате ассимиляции, ускоренной различными социальными факторами, отчетливо обнаруживает все более усиливающуюся тенденцию к испанской модели озвончения.

Особенно плодотворный подход в отношении различных моделей сандхи при ассимиляции по звонкости в северо- и южно-восточном славянском, а также в польском продемонстрирован Х. Андерсеном [11]. Внутренние изменения в истории славянских языков в указанной области он, в согласии с теорией маркированности Трубецкого, объясняет различными отражениями диахронического сдвига — от фонемной долготы (protensity) до фонемного озвончения. С другой стороны, он прослеживает связи меж-

¹ Термин «регулярность» я отношу ко всем проявлениям естественного процесса. Несколько более широкий их перечень можно найти в [2] и в [9].

ду явлениями сандхи и просодическими (особенно акцентными) различиями в указанных языках.

4. Объяснение естественных фонологических процессов нельзя искать исключительно на фонетической почве. На основе фонетики можно попытаться предложить максимально детальное описание различий между исходным сегментом и/или цепью сегментов и результатом данного процесса. Такое описание может послужить основой для объяснения п р и ч и н д е й с т в и я того или иного процесса. А это описание, в свою очередь, поможет понять, какую роль играет данный фонологический процесс и какое место он занимает в грамматике исследуемого языка. Но нам хотелось бы еще раз подчеркнуть, что фонологический анализ — это не то же самое, что анализ фонетический. Имеются процессы, которые с чисто фонетической точки зрения кажутся проявлением усиления (*fortition*), в то время как в данной фонологической системе они явно действуют как ослабление (*lenition*), и, наоборот, процессы усиления могут внешне выглядеть как ослабление. Имеются, наконец, такие процессы, при которых фонетические изменения просто не позволяют принять решение в пользу истолкования их в качестве усиления или же ослабления.

Так, например, в баскском языке мы обнаруживаем процесс аффрикации двух непалатальных сибилантов /s и \acute{s} ² после звонкого согласного, синтагматически проявляющийся на морфемных границах, ср. [emantsuen] *etan zuen* «он дал» (более подробное обсуждение и дополнительные примеры см. [12, особенно с. 13 и сл.]). Исходный сегмент является фрикативным, а конечный — аффрикатой, что на одну ступень выше по степени «консонантной силы». Данный контекст — начальная позиция в слове — особенно подвержен усилению³. Чисто фонетическое изменение позволило бы предположить в данном случае только проявление усиления. Мы же квалифицируем этот процесс в качестве ослабления [12] на основании того места, которое он занимает в деривации [например, при оценке возможного распределения фонем после устранения подвергшихся ослаблению гласных; ср. *har ezazu* [artsasul], а также по соображениям фоностилистики (этот процесс имеет тенденцию проявляться чаще всего в нейтральных стилях)]. Все эти аргументы, как представляется, противоречат поверхностному фонетическому анализу.

В какчикельских диалектах языка киче [13] обнаруживается процесс палатализации велярных согласных (в том числе и глоттализированных), предшествующих палатальному гласному, который, в свою очередь, должен предшествовать другому велярному (и, возможно, глоттализированному) согласному (например [k'jex] «лошадь»). Если все эти контекстные условия наличествуют, то с чисто фонетической точки зрения мы имеем дело с субституцией, которая в то же время выступает и как ассимиляция палатализированных, и как диссимиляция двух велярных согласных.

Приведенные примеры наглядно демонстрируют, что роль антропофонетики (в смысле функционирования артикуляторного и перцептивного аппарата человека) не следует переоценивать. Мы рассматриваем фонетику в качестве материальной базы для фонологической «надстройки». Связь между базой и надстройкой не является однонаправленной. Хотя фонология и определяется фонетикой, она не представляет собой простое

² В обычной баскологической транскрипции, где /s/ обозначает дорсально-альвеолярный сибилант, а / \acute{s} / — апикально-постальвеолярную фонему. Орфографически это обозначается соответственно <z> и <s>.

³ На внутрислоговых границах этот процесс (с контекстуальными ограничениями) является парадигматическим и, следовательно, способствующим усилению.

ее отражение. Именно возможности человеческой речи определяют форму той или иной звуковой модели, и именно форма определенных звуковых моделей в свою очередь определяет те или иные фонетические возможности языка. Проиллюстрируем то обоюдное влияние, которое оказывают друг на друга фонология и фонетика. Так, именно фонетика обуславливает ассимиляцию по звонкости, к примеру, начальных сочетаний шумных в немецком или итальянском языках, но те специфические (фонетические) трудности, с которыми сталкивается носитель немецкого языка при произнесении итальянских начальных сочетаний шумных как сочетаний звонких (ср. в итальянском [zdra'jarsi] *sdraiarsi*), определяет фонология. Парадигматические каноны данного языка, которые в свою очередь являются фонетически мотивированными, не только определяют специфическую звуковую систему, которая опирается на контекстуально неограниченные или контекстуально ограниченные процессы, но оказывает также сильное влияние на фонемные и аллофонические процессы. Диалектический характер связей между фонетикой и фонологией нуждается в гораздо более детальной аргументации, чем это возможно изложить в данной статье ⁴. В немецкой фонологической системе инъективные согласные, например, в результате парадигматических процессов элиминируются, вследствие чего все ртовые смычные превращаются в простые. Это обстоятельство само по себе определяет те фонетические возможности, которыми обладает носитель немецкого языка в отношении инъективных глоттализированных согласных.

Из сказанного можно заключить, что фонетика является объяснительной не сама по себе, а лишь с учетом специфических языковых ограничений, т. е. парадигматических и синтагматических процессов на уровне фонологии. Таким образом, фонология не является «абстрактной фонетикой», как и фонетика — это не просто «конкретная фонология». Именно на грани между фонетикой и фонологией на различных уровнях образуются звуковые модели. В этом смысле естественная фонология не является бихевиористской теорией, хотя имеются тенденции такого истолкования, реализуемые в так называемой «экспериментальной фонологии» (ср., в частности, работы, опубликованные в первой части [16] и в [17]), а также в исследованиях типа неопубликованного доклада В. Пальюка и Р. Маури «Эволюция артикуляции», прочитанного на VII Международной конференции по исторической лингвистике (Павия, 1985). Последние фонетические очень точно описывают историческое изменение $s > > h > \emptyset$ — от постепенного ослабления мускульной артикуляции до полной утраты звука. Промежуточный [h] (и /h/) представляет собой один конкретный шаг в этом процессе исчезновения звука. В работе Пальюка и Маури мы имеем дело с использованием детального знания фонетики при объяснении диахронически сравнительно нередкого звукового изменения (которое отнюдь не случайно проявляется и в синхронной фонологии). Подобным же образом Охала [18] объясняет исторический процесс типа обобщения палатализации латинского комплекса «начальный смычный + /l/» в генуэзском диалекте итальянского языка (например [çve] *piove* «идет дождь») в терминах акустического, а следовательно, и перцептивного сходства (т. е. этот процесс истолковывается как случай смешения).

В основе обоих этих подходов лежит идея однонаправленной связи между фонетикой и фонологией, при этом считается, что фонетика явля-

⁴ Я хотел бы лишь упомянуть здесь аналогичные проблемы, которые были более исчерпывающе исследованы В. Вурцлем при анализе естественной морфологии [14, 15].

ется областью, способной объяснить фонологию, а последняя полностью зависит от фонетики. Однако здесь не принимается во внимание активная роль человеческого сознания в организации фонологии. Таким образом, оба указанных подхода не учитывают важного элемента лингвистического и грамматического обоснования. Процесс $s > h > \emptyset$ или $s \rightarrow h \rightarrow \emptyset$ часто встречается тогда, когда /s/ не входит в звуковой комплекс на вершине или в финали слога. В древнегреческом и в некоторых кельтских языках, например, можно обнаружить аспирацию начального s, а в севильском диалекте испанского, с другой стороны, регулярную синхронную аспирацию конечного s. Оба этих процесса могут показаться неясными, если мы попытаемся проанализировать их с чисто фонетической точки зрения. С одной стороны, мы имеем дело с начальной стадией процесса ослабления или утраты звука, который ведет к изменению слоговой структуры CVC_0 на VC_0 , что явно означает переход от (фонетически) более естественной структуры слога к менее естественной. В другом случае мы имеем дело, по крайней мере на промежуточной стадии (которая тем не менее также является фонетической реальностью), с поствокальной аспирацией, которая опять-таки является (фонетически) одной из наиболее маркированных позиций аспирации. Теория, построенная на чисто фонетических основаниях, не может справиться с таким аспектом реальности. Наше допущение, что фонетика есть не что иное, как материализованная фонология, что фонологический анализ обнаруживает именно этот процесс материализации, не означает ни того, что фонетика является единственным движущим принципом создания звуковых моделей, ни того, что фонетика более конкретна, чем фонология. Фонология так же реальна, как и фонетика, и фонологическое (как и другое грамматическое) объяснение является необходимым для понимания этого процесса, а следовательно, и формы фонологических и фонетических репрезентаций. Другие виды аргументации, не столь релевантные для дискутируемого здесь вопроса, исходят из внутренней организации фонологии, из вариации (стилистической, диалектальной, социолингвистической и т. п.), из контекста (в широком смысле этого слова), из других компонентов грамматики, из ритма, типологии и т. д.

Следующий пример довольно хорошо известен: слоговые (и морфовые) языки обычно имеют «более естественную» слоговую структуру, чем языки акцентного типа. Одним из наиболее типичных процессов в последних являются редукция и возможное выпадение безударных гласных. Диакронически это приводит к появлению довольно сложных комплексов согласных в исходе слова, как, например, в немецком *Hengst*, где исторически между веллярным и следующим s был утрачен гласный. Тем не менее такое выпадение было естественным, даже если получаемая звуковая цепь с какой-то точки зрения оказалась более сложной, чем исходная. Легко возразить, что новая звуковая цепь состоит только из одного слога, в то время как исходная последовательность состояла из двух слогов. Однако с чисто фонетической точки зрения можно проанализировать лишь то, что происходит на материальном уровне, но нельзя понять типологической разницы в организации конкретных фонологических систем отдельных языков. Как пытаются показать Донеган и Стэмп [19], указанные различия могут зависеть и от ритма.

Чем же фонетика должна/может помочь фонологии? Мы не подвергли сомнению реальность фонетической обусловленности фонологических процессов. И проводя основное различие между усилением и ослаблением, фонолог с необходимостью прибегает к фонетике в процессе своего анализа. В то время как артикуляторная фонетика достаточно хорошо разра-

ботана и легко используется фонологами (даже с применением довольно сложной техники), можно полагать, что еще многое следует сделать в области перцептивной фонетики, четко установив связи между акустикой и перцепцией. И, наконец, совершенно новой областью для фонетики должно стать изучение того воздействия, которое фонология оказывает на фонетику. Здесь я не имею в виду изучение структуры фонологических систем и ее отношение к конкретной фонетике языка (это — хорошо известная область исследования), не имею в виду и такие понятия, как «артикуляторная база» (обсуждение этого понятия см. в [20]), которое, как выяснилось, довольно проблематично, хотя может служить интересной основой для исследования. Я имею в виду более тщательное изучение фонологических процессов. Если исходить из того определения, что фонологический процесс представляет собой умственную операцию, благодаря которой данный сегмент или последовательность, представляющие какую-либо артикуляционную и/или перцептивную трудность, заменяются на другой сегмент или последовательность, которые лишены этой специфической трудности, то нам необходимо установить, что определяет эту трудность. Вернемся к конкретным примерам. Какие последствия обуславливаются переходом продленности (*propensity*) в звонкость с точки зрения синхронных фонетических возможностей носителя языка (к примеру, польского, украинского или русского) или, чтобы быть конкретнее, что определяет фонетическую трудность неиспользования ассимиляции по звонкости? Какими фонетическими отличиями обладает речь носителей немецкого или баскского языков, предпочитающих ассимиляцию по звонкости ассимиляции по глухости в противоположность речи носителей итальянского или испанского языков? Или даже в рамках одного языка: какова фонетическая подоплека южнонемецкого произнесения [si : sɪnt] вместо севернонемецкого [zi : zɪnt] *sie sind* «они суть»? Недостаточно лишь отметить это различие описательно или же аксиоматизировать его и даже включить эту аксиоматизацию в конкретную грамматику, особенно если нам известно, что, например, носители южнонемецкой речи вынуждены делать сознательные усилия для того, чтобы озвончить начальный предвокальный *s*⁵.

Наконец, следует упомянуть субституции или даже типы процессов, реализация которых не зависит в значительной степени ни от фонетики, ни от фонологии (ср. гармонию гласных). Как убедительно показал Дресслер [9], гармония гласных обычно связана с морфологическим типом агглютинации. Она маркирует в соответствующих языках границу слова и таким образом усиливает единство слов, образованных (обычно) посредством прибавления большого числа аффиксов. Однако гармония гласных сама по себе очень легко объяснима в фонетических терминах. И все же гармония гласных — в большинстве языков, где она встречается, — не является всеобщей, поскольку она проявляется регулярно в определенных морфологических категориях или в определенных морфологических классах (например, в существительных в баскском языке)⁶.

Перевел с английского Чурикова В. А.

⁵ Выражаю свою особую благодарность М. Л. Оньедерра (Баскский ун-т) за обсуждение этой статьи на начальном и заключительном этапах ее написания. Благодарю также В. У. Дресслера (Венский ун-т) и П. Шерфера (Бергский ун-т, Вупперталь) за многие ценные замечания и Й. Фоскетта (Бергский ун-т) за исправление английского варианта статьи.

⁶ В той мере, в которой мы имеем дело с гармонией гласных в этом языке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. N. S. Trubetzkoy's letters and notes/Ed. by Jakobson R. B., 1985.
2. Donegan P., Stampe D. The study of natural phonology // Current approaches to phonological theory/Ed. by Dinnsen D. Bloomington, 1979.
3. Lindblom B. Phonetic universals in vowel systems // Experimental phonology / Ed. by Ohala J., Jaeger J. J. Orlando, 1986.
4. Chomsky N. Aspects of the theory of syntax. Cambridge (Mass.), 1965. P. 34.
5. Stampe D. The acquisition of phonetic representation // Papers from the fifth regional meeting [of the] Chicago linguistic society. University of Chicago, 1969.
6. Anderson S. Why phonology isn't natural // Linguistic inquiry. 1981. 12.
7. Derwing B. L. Is the child really a «little linguist»? // Language learning and thought/ Ed. by Macnamara J. N. Y., 1977.
8. Dinnsen D. Phonological rules and phonetic explanation // JL. 1980. 16.
9. Dressler W. U. Morphology. The dynamics of derivation. Ann Arbor, 1985.
10. Churma D. G. On explaining the phoneme: Why (some of) phonology is natural // BLS. 1985. XI.
11. Andersen H. Sandhi and prosody: reconstruction and typology // Sandhi phenomena in languages of Europe / Ed. by Andersen H. B., 1986.
12. Hurch B., Oñederra M. L. Euzkarazko fonologiaren zenbait bilakabidez // Euskal morfo-sintaxia eta fonologia. Donostia, 1987.
13. Campbell L. Historical linguistics and Quichean linguistic prehistory: Ph. D. Diss., UCLA, 1977.
14. Wurzel W. U. Sprachsystem und Dialektik // Zeitschr. für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. 1980. 33. 1.
15. Wurzel W. U. Dialektischer Determinismus // Zeitschr. für Philosophie. 1981. XI.
16. Phonology yearbook. 1986. 3.
17. Experimental phonology / Ed. by Ohala J., Jaeger J. J. Orlando, 1986.
18. Ohala J. The contribution of acoustic phonetics to phonology // Frontiers of speech communication research / Ed. by Lindblom B., Ohman S. L., 1979.
19. Donegan P., Stampe D. Rhythm and holistic organisation of language structure // Papers from the parasession on the interplay of phonology, morphology, and syntax/ Ed. by Richardson J. F. et al. Chicago, 1983.
20. Schourup L. The basis of articulation // Ohio State University working papers in linguistics. 1981. 25.

БОНДАРКО Л. В.

ФОНЕТИЧЕСКИЙ ФОНД СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

В контексте обсуждаемой проблематики фонетический фонд понимается как машинная реализация сведений, касающихся звукового уровня системы русского языка и необходимых для изучения этого уровня с самых разных точек зрения — от анализа вариативности акустических характеристик речевых сигналов и перцептивной оценки этой вариативности до количественной интерпретации функциональной нагрузки фонем при образовании и различении морфем и словоформ или создания модели интонационной организации высказывания или текста.

Машинная реализация фонетического фонда — не дань компьютерной моде, а единственный реальный способ осуществить целенаправленный и систематический поиск в интересующей нас области. Наличие фонетического фонда — одно из необходимых условий для создания Машинного фонда современного русского языка, поскольку именно фонетический фонд может обеспечить «озвучивание» любого из подфондов (словообразовательного, синтаксического и др.) в случае, когда возникнет необходимость выяснения основных тенденций в развитии того или иного уровня языковой системы в связи с реальными факторами, связанными с речевой деятельностью на русском языке.

Фонетический фонд, являясь одним из элементов Машинного фонда русского языка, представляет интерес и как самостоятельная структура, необходимая для решения не только теоретических, но и практических задач — таких, как обучение русскому языку как неродного, социолингвистические исследования на звуковом уровне, проблемы автоматического распознавания и синтеза речи.

По своему содержанию¹ в собственно лингвистическом отношении фонетический фонд может быть охарактеризован следующим образом:

1. Набор фонем и их релевантные признаки известны, как и правила фонемных чередований, аллофонических изменений и основные виды вариативности в пределах нормы [1—3].

2. Фонетический фонд обеспечивает такое представление имеющихся данных, которое необходимо для проверки спорных вопросов на всех уровнях языковой организации — от собственно фонемной системы до реализаций спонтанной речи [4, 5].

3. Фактический материал, являющийся содержанием фонетического фонда, должен быть представительным и лингвистически корректным. Это обеспечивает возможность оценки теоретической интерпретации исходных предпосылок (п. 1) и «конкуренцию» при решении спорных вопросов: только то решение может считаться более адекватным истине, которое объясняет свойства материала, содержащегося в фонетическом фонде.

¹ Примеры и все дальнейшее изложение строится на материале сегментных единиц, однако общая структура предполагает и адекватное включение просодики, и учет взаимодействия сегментных и супraseгментных единиц.

Как любая машинная система, фонетический фонд содержит не только материал, но и программы, обеспечивающие его ввод, хранение, обработку и расширение как за счет увеличения количества звуковых реализаций, так и за счет введения новых сведений, полученных в результате обработки данного материала. В настоящей статье описываются только характеристики материала, составляющего основу фонетического фонда.

Предлагаемая здесь структура фонетического фонда русского языка не претендует на то, чтобы считаться окончательной, тем более, что она вплоть до настоящего времени больше ориентирована на проблемы сегментных единиц. Представляется, однако, что введение дополнительных блоков, необходимых для интонационного уровня, не изменит принципиальным образом общую структуру фонетического фонда.

Фонетический фонд состоит из четырех блоков, связанных между собой и в то же время представляющих самостоятельные «пучки» информации.

Первый блок — акустические характеристики звуковых единиц русского языка. В качестве материала здесь выступает цифровое представление речевых сигналов различной протяженности, различной структуры и функциональной нагруженности. В настоящее время этот материал содержит слоги типа CV, представляющие сочетания всех русских согласных со всеми гласными, около 150 слов, интересных в орфоэпическом плане (т. е. такие, где возможны различные звуковые реализации в пределах нормативного произношения, например, /sv'ičá/ — /s'v'ičá/ и т. д.), а также текст, составленный на основе 200 наиболее частых слогов, характерных для связной речи. Этот материал записан на магнитную ленту в произношении четырех дикторов — двух москвичей и двух ленинградцев (для каждого варианта произносительной нормы записывается произношение диктора-мужчины и диктора-женщины). Осуществляется процедура оцифровки записанного материала и его сегментации, которая необходима для того, чтобы из всего записанного материала можно было выбирать интересующие исследователя звуковые последовательности.

Текст оценен как с точки зрения представительности при анализе аллофонических изменений (т. е. определено число позиций и качество фонетических контекстов для гласных и согласных), так и с точки зрения лексико-морфологической представительности: слова, содержащие частотные слоги, подбирались на основе частотного словаря русского языка В. В. Морковкина с соавторами [6], а морфологические структуры словформ текста сопоставлены с данными типичных морфологических структур в словаре русского языка [7].

Второй блок фонетического фонда — машинная версия словаря морфем современного русского языка. В настоящее время основой являются два словаря — RDD [8] и Грамматический словарь А. А. Зализняка [9]. На материале этих словарей, где каждое слово представлено как последовательность морфем, произведен анализ некоторых существенных фонетических признаков морфем, в первую очередь — корневых. Определены наиболее типичные обобщенные фонетические структуры (в терминах C и V), получены данные об их распределении в таких частях речи, как существительное, прилагательное, глагол, наречие. Получены сведения о статистике корневых морфем с разным числом слогов и разными ударными гласными. Составлены списки корневых морфем с историческими чередованиями и произведена их классификация (с указанием количества корней с чередованием каждого типа). Созданные в ходе исследования программы позволяют получить подобные сведения для

любого вида морфем (частично имеются соответствующие сведения относительно префиксов). Поскольку в настоящее время количество машинных версий словарей морфем значительно увеличилось, окончательное формирование второго блока завершится в результате сопоставления и корректировки как упомянутых двух словарей, так и словаря А. И. Кузнецовой и Т. Б. Ефремовой [10], частотного словаря корневых морфем Л. В. Кулешовой [11] и словаря служебных морфем, необходимость создания которого становится все более очевидной. Заполнение второго блока фонетического фонда позволяет получать практически исчерпывающие сведения о дистрибуции фонем внутри морфемы, об их функциональной активности, о законах оформления краевых позиций морфем и вокалических позиций по отношению к ударению. Такие сведения необходимы для того, чтобы выйти за рамки привычной аксиоматики, основанной на ограниченном круге примеров, кочующих из одного фонологического эссе в другое, и оценить количественно те фонологические процессы, которые характеризуют полный список морфем современного русского языка. Возможность оперировать с полным (или почти полным) перечнем морфем русского языка имеет решающее значение для понимания законов звуковой организации морфемы, с одной стороны, и для понимания собственно фонологических явлений — с другой. Это особенно актуально для отечественной фонологической традиции: представители одного из двух ведущих фонологических направлений — Московской фонологической школы (основной принцип, постулируемый сторонниками этого направления, — неизменность фонемного состава морфем) в последние десятилетия уделяют особое внимание слабым фонемам, хотя и само их определение, и вероятность появления слабых фонем вместо сильных не фундаментальны достаточным языковым материалом (ср. расхождения в понимании сильных и слабых фонем у Р. И. Аванесова и С. Н. Дмитренко, о чем пишет Л. Л. Буланин [12]). Было бы очень интересно на уровне описания фонемного состава морфем дать полное описание фонемных рядов гласных и согласных фонем (по Р. И. Аванесову), определить, сколько из них и каких именно являются наиболее представительными для системы русских морфем и сопоставить эти сведения с позднейшими интерпретациями.

Третий блок фонетического фонда — фонетические структуры русской словоформы. Эти данные могут быть получены в результате соединения наших знаний о правилах организации морфемы (второй блок) со сведениями о сочетаемости и позиционном распределении морфем в пределах словоформы. Указанные сведения, «хранящиеся» в морфемно-словообразовательном фонде, могут быть использованы в фонетическом фонде для получения разнообразных данных, необходимых исследователю: в настоящее время получены матрицы сочетаемости фонем на стыках морфем разных типов (префикс + префикс, префикс + + корень, корень + суффикс, суффикс + суффикс), что дает возможность сравнить сочетаемость фонем внутри морфемы с сочетаемостью на границах морфем. Нет нужды оценивать значение этих данных для описания закономерностей, действующих при формировании фонетической структуры словоформы. Возможность количественной оценки фонологических концепций на примерах, иллюстрирующих функции фонем при образовании звукового облика слова, не менее важна, чем изучение этого вопроса на материале морфем (второй блок).

Одним из интереснейших примеров анализа фонетических характеристик словоформы является анализ заударных морфемных комплексов на материале машинной версии RDD. Из 110 000 слов, содержащихся

в этом словаре, около 74 000 обнаруживают заударные гласные комплексы. Известно, насколько сильна фонетическая редукция в заударной части слова, несущей в русском языке основную грамматическую информацию. Именно поэтому исчерпывающие сведения об организации заударных частей слов необходимы для понимания фонетических процессов. Обработка машинной версии словаря позволила установить как слоговую организацию этих комплексов (односложные встречаются в 42 752 словах, двухсложные — в 25 677 словах, трехсложные — в 5044 словах, четырехсложные — в 1226 словах), так и количество различных по сегментному составу типов (односложных — 392, двухсложных — 747, трехсложных — 283, четырехсложных — 70). При этом наиболее часто встречаются всего 311 морфемных комплексов, которые могут быть описаны 147 обобщенными фонетическими структурами.

Важнейшей задачей является анализ тех изменений фонетического облика слов, которые обусловлены влиянием формообразования. В настоящее время разрабатывается программа, позволяющая включать данные об акцентной парадигме слова и «синтезировать» возможные изменения в ритмической структуре словоформ, приводящие к фонемным чередованиям.

Четвертый блок фонетического фонда должен обеспечить возможность привлечения новых данных, представленных в виде текстов. Они необходимы как для пополнения предшествующих блоков, так и для экспериментальной проверки исследовательских гипотез. Этот блок включает в себя автоматический транскриптор, позволяющий преобразовывать орфографическую запись текста в последовательность фонетических символов — от С и V до детальных транскрипционных знаков комбинаторно-позиционных и «ситуативных» изменений. В настоящее время фонемный автоматический транскриптор практически действует, а фонетический находится в стадии активной разработки; как показал опыт автоматического транскрибирования текстов, возможны различные ситуации, и узкие задачи автоматического транскриптора могут быть существенно разными в зависимости от цели транскрибирования (пополнение первого блока, транскрипция для синтеза, транскрипция для обучения). Как следует из сказанного, все четыре блока тесно связаны между собой и в то же время допускают расширение структуры как за счет усложнения данных внутри каждого (или некоторых) блоков, так и за счет введения новых.

В заключение мне хотелось бы остановиться на некоторых практических аспектах использования теоретической основы и фактических данных фонетического фонда. Тот факт, что в основе фонда лежит информация о фонетически представительном тексте, с одной стороны, и о фонетических характеристиках морфемы и словоформы — с другой, позволяет использовать этот фонд при обучении на разных уровнях — как при обучении основам фонемного анализа русского языка, так и при обучении русской фонетике иноязычных учащихся. Например, введение в качестве самостоятельного фрагмента фонетического фонда частотного словаря В. В. Морковкина позволяет сформировать компактную программу обучения с элементами количественного описания фонологических свойств звуковых единиц (употребительность каждой из фонем в сильной или слабой позиции, реализация различительной функции в разных типах морфем, фонетические характеристики разных типов морфем и т. д.). Сопоставление такой «количественной» фонологии с данными, касающимися фонетически представительного текста, открывает хорошую перспективу для понимания

того, что именно находится в центре фонологической системы, а что — на ее периферии. Использование данных о частотности тех или иных фонетических цепочек при обучении русскому языку как иностранному позволит облегчить речевую коммуникацию как на уровне речепроизводства, так и на уровне восприятия [13].

Создание фонетического фонда современного русского языка требует коллективных усилий. В настоящее время фонетический фонд должен рассматриваться как способ организации и упорядочивания актуальных фонетических исследований, требующих не только отчетливого исследовательского плана, но и соответствующего аппаратурного и программного обеспечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Бондарко Л. В.* Звуковой строй современного русского языка. М., 1977.
2. *Вербицкая Л. А.* Русская орфоэпия. Л., 1976.
3. *Зиндер Л. Р.* Общая фонетика. М., 1979.
4. Проблемы и методы экспериментально-фонетического анализа речи. Л., 1980.
5. *Бондарко Л. В.* Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи. Л., 1984.
6. *Морковкин В. В., Беме Н. О., Дорогонова И. А.* и др. Лексическая основа русского языка. М., 1984.
7. Уровни языка в речевой деятельности. Л., 1986.
8. *Worth D. S., Kozak A. S., Johnson D. B.* Russian derivational dictionary. N. Y., 1970.
9. *Зализняк А. А.* Грамматический словарь русского языка. М., 1977.
10. *Кузнецова А. Н., Ефремова Т. В.* Словарь морфем русского языка. М., 1986.
11. *Кулешова Л. В.* Описание корней русского языка с помощью статистических методов: Автореф. дис. ... канд. филол. наук, М., 1976.
12. *Буланин Л. Л.* // ВЯ. 1987. № 4. Рец. на кн.: Дмитренко С. Н. Фонемы русского языка. Их сочетаемость и функциональная нагрузка. М., 1985.
13. *Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А.* Два аспекта прикладных исследований фонетики. // Структурная и прикладная лингвистика. Вып. 2. Л. 1983.

ТАТАРИНЦЕВ Б. И.

К СОГЛАСОВАНИЮ НОСТРАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИЗУЧЕНИЯ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

В ведущейся на страницах «Вопросов языкознания», а отчасти и других изданий дискуссии по проблемам ностратического языкознания выступают как сторонники, так и противники теории ностратики. Эта теория зависима, естественно, от результатов сравнительно-исторического изучения конкретных языковых семей, включаемых частью исследователей в более общую, ностратическую общность. Противники названной теории считают, что ностратика несовместима с представлениями о первоначальном звуковом облике слов, принадлежащих к определенным семьям, в то время как ее сторонники придерживаются противоположного мнения.

В связи с этим представляет, в частности, интерес полемика между А. М. Щербаком, автором антиностратической по своей направленности статьи [1], и Е. А. Хелимским, ответившим двумя публикациями [2, 3] в защиту ностратики, а также алтаистики. Poleмика велась в значительной мере по вопросу, который считается наиболее спорным и дискуссионным в тюркском и алтайском языкознании [4] и который может быть сформулирован следующим образом: что первично в тюркских соответствиях типа $r \sim z$, $l \sim \check{s}$, плавные или сибиланты. Алтаисты и приверженцы ностратической теории являются сторонниками первичности плавных согласных, а противники этих теорий (хотя и не все) стоят за первичность сибилантов¹.

Однако природа подобных соответствий или параллелей еще далеко не ясна, да и едва ли она одинакова для всех них [7, с. 376—377]. Это могут быть явно фонетические явления: соответствия бугарских плавных r , l сибилантам z , \check{s} в других тюркских языках, а также соответствия небугарских тюркских сибилантов плавным в словах монгольских языков, относимых к числу заимствований из тюркского языка бугарского (чувашского) типа [8, с. 52—54; 9, с. 8]. Применительно к таким случаям правомерно ставить вопрос о том, первично ли здесь r или z , и, соответственно, говорить о переходе $r > z$ или, что более вероятно и что лучше аргументировано, — о превращении $z > r$.

Однако в небугарских тюркских языках также отмечено немало случаев соответствий $r \sim z$, в меньшей степени $l \sim \check{s}$ (речь не идет о возможных бугарских или вторичных монгольских вкраплениях!), но здесь менее всего ясно, какова их природа и является ли она фонетической. В принципе допустима и вариативность морфем, поскольку в тюркских языках имеются, например, именные аффиксы $-(\alpha)r$ (восходящий к аффиксу аориста) и $-(\alpha)z$, образующий отыменные и отглагольные имена [10, с. 340; 11].

Это явно разные аффиксы, которые исследователи друг с другом, как правило, фонетически не сближали, за исключением таких случаев, когда

¹ Из последних публикаций на эту тему см. [5, 6].

налицо соответствие конечных $-z \sim -r$, хотя это может быть параллелизм аффиксов или их консонантных элементов.

В области тюркского глагола отмечены аффиксы каузатива $-(\alpha)r-$ и $-(\alpha)z-$, которые одни исследователи считают фонетическими вариантами, в то время как другие либо никак не связывают эти форманты друг с другом [12, с. 204—205], либо определенно считают их двумя различными аффиксами даже для пратюркского [13].

Ученые неоднократно отмечали также наличие некоторого количества тюркских слов, принадлежащих к именам и глаголам и различающихся по признаку $r \sim z$ (*kör*- «видеть» — *köz* «глаз»; *semir*- «полнеть, жиреть» — *semiz* «полный, жирный»), признавая, в той или иной мере, морфологическую природу этих различий.

Наиболее активно точка зрения, согласно которой r и z , l и \check{s} являются самостоятельными морфемами, проводится А. Г. Бишевым, в работах которого отмечались «заслуживающие внимания моменты», но вместе с тем его взгляды признавались недостаточно убедительными [14].

Причину подобных сомнений можно видеть в неясности этимологии, а следовательно, и структуры слов с соответствиями $r \sim z$, $l \sim \check{s}$, откуда проистекает также возможность самого разноречивого истолкования данного явления, примером чего являются и попытки во что бы то ни стало обосновать первичность r или, соответственно, l .

1

Как полагает Е. А. Хелимский, ему удалось сформулировать «правило нейтрализации противопоставления $z : r$ в пользу r в составе большинства консонантных сочетаний в древнетюркском языке» [2, с. 40], т. е. надежно обосновать первичность r . Согласно его мнению, «наиболее типичными и архаичными являются случаи, когда z представлен в ауслаутной или интервокальной позиции, а чередующийся с ним r (иногда r/z или r/s в качестве вариантов) — в составе консонантных сочетаний» [3, с. 71]. Первоначально это был один согласный, «вibrant, отличный от обычного r например, палатальный \check{r} или ретрофлексный $r\dots$ для звуков такого типа вполне естественны... как сибилантизация в интервокальном положении, так и тенденция к совпадению с обычным r (или, во всяком случае, к отсутствию сибилантизации) в составе консонантных сочетаний...» [2, с. 47].

Допустим, что эти исходные положения в принципе верны. Но возникает вопрос, насколько подобная трактовка применима к конкретному материалу тюркских языков.

Е. А. Хелимский использует материал, собранный его предшественниками, который они, однако, по его мнению, не систематизировали и из которого им выделена «обширная и однородная (разрядка наша.— Т. Б.) группа случаев, в которых z представлен в ауслаутной и интервокальной позициях..., а r — в тех же основах только (разрядка автора.— Т. Б.) в составе консонантного сочетания» [2, с. 41].

Уже сам автор отмечает в используемых им материалах (в частности, в тех, что содержатся в публикациях Т. Текина) факты «неточной или ошибочной этимологизации» [2, с. 49]. Другие исследователи также приводят многочисленные примеры сомнительных или просто случайных «зетацирующе-ротацирующих параллелей» в этих работах [9, с. 5—6]; отмечается их тенденциозность: доказывая первичность r (или l), Текин приводит и «искусственно подобранные примеры» [8, с. 54].

Так или иначе, материал, на который опирается Е. А. Хелимский, отнюдь не бесспорен, и, скажем сразу, ему явно не удалось отобрать действительно однородные и не вызывающие сомнения языковые факты для обоснования своих воззрений, а его априорная уверенность в том, что «перед нами не результат дублетного словообразования и не спорадическое вкрапление болгарских языковых особенностей... а явление, которое имеет... чисто фонетическую природу» [2, с. 41], лишено достаточных оснований. Этимология сопоставляемых слов, содержащих согласные *r* и *z*, и реальное соотношение этих слов друг с другом в целом неизвестны, их структура в лучшем случае восстанавливается предположительно. Можно быть относительно уверенным только в том, что перед нами в основном тюркские по происхождению слова (хотя и не во всех случаях), но гарантировать, что среди них нет болгарских вкраплений, нельзя. Тем более, что, вопреки мнению Е. А. Хелимского [2, с. 42], таковые отмечаются не только в отдельных тюркских языках Поволжья и Северного Кавказа (см. [15, 16]).

Вывод о первичности *r* основывается на 27 сопоставлениях, 24 из которых извлечены автором из источников, о которых уже в определенной мере говорилось выше, а три привлечены самим Е. А. Хелимским. Эти материалы разделены им на две группы, соответственно, под номерами (1)—(12), которые считаются, по-видимому, наиболее достоверными, и (13)—(27), отобранные из числа «многих десятков случаев», но их «показательность... отчасти снижается или из-за отсутствия архаических тюркских данных, или из-за принципиальной допустимости иных... этимологических решений» [2, с. 43], т. е. эти данные в той или иной мере ненадежны. Анализ, однако, показывает, что по степени надежности и достоверности эти две группы не имеют заметных отличий друг от друга.

Независимо от принадлежности материалов к той или иной группе, мы далеко не всегда можем быть уверены в том, что имеем дело действительно однородными, а не гетерогенными и лишь сходно звучащими и семантически близкими словами.

1. Это можно сказать о сопоставлении (11) [2, с. 42]: *tiz-* «ставить в ряд, нанизывать» ~ *tirkış* (в составе древнетюркского парного слова *arqış tirkış* «караван», причем второй компонент читается и как *terkiş*), туркм. *tirkış* «вереница, цепь, ряд». *Tirkış* ~ *terkiş* может быть сближено с др.-тюрк. *terkäs-* «следовать друг за другом, выстраиваться в цепочку; собираться, объединяться» и *terkäš* «давка; место слияния рукавов (~притоков) реки» [17, с. 554] (ср. *tirke-* «прицеплять, присоединять друг к другу» [9, с. 6]), что, вероятно, связано с общетюркским глаголом *der-* (*ter-*) ~ *tir-* «собирать, расставлять», имеющим и именное соответствие *ter* [18, с. 204—205]. Структурно глагол *terkäs-* может быть представлен как производное от *ter-* или *ter:* *-kä-* — аффикс интенсива или, соответственно, глаголообразующий [ср. тув. *dirge-* «собирать, объединять в большом количестве» < **tirke-*], *-š-* — аффикс совместно-взаимного залога. Имена *terkiş* (*tirkış*), *terkaš* могут быть возведены либо непосредственно к глаголу типа *terkäš-* (**terkiš-*) (проявление конверсии), либо представлять собой производные от глагола **ter-ka-* образования на *-š*.

Что же касается глагольных основ *tiz-* «нанизывать, ставить в ряд» и *ter-* (*tir-*) «собирать», то они хотя и сходны, но едва ли однородны.

2. Достаточно коварен случай (9) [2, с. 42] с сопоставлением *süz-* «очищать, процеживать», *süzük* «чистый, прозрачный» ~ др.-тюрк. *sürmä* «вино» и, наряду с ним, др.-тюрк. *süzmä* «вид творога», чаг. *süzme* «прозрачное чистое вино». Слово *süzmä* «прозрачное чистое вино», бесспорно,

производно от *süz-* с указанным значением, но означает ли это, что *süz-* < < **sür-* (с подобной же семантикой) и что *sürmä* гомогенно с *süzmä*?

Нам думается, что неслучайно в научных комментариях к одному из памятников (легенде об Огузе, список XV в.), в тексте которого встречается слово *sürmä* «вино», а также «пшеничная водка», соответствия последнего приводятся в одном ряду с глаголом *sürmäk* (*sür-*) «гнать водку» [19], скорее всего, идентичным с общетюрк. *sür-* «гнать(ся); тянуть, тащить», который не имеет генетической связи с вышеприведенным *süz-*.

Далее, по-видимому, неслучайно *sürmä*, как это отмечено и Е. А. Хелимским, не рассматривается в словаре Дж. Клосона: оно, вероятно, все-таки относительно позднего происхождения. Так, в «Древнетюркском словаре» слово приводится по указанному источнику XV в. [17, с. XXVIII, 518]. В труде Клосона дается другое, очень сходное с *sürmä* слово *sorma* «вино, пиво», которое, возможно, является более древним и которое считается производным от глагольной основы *so:r-* («сосать, всасывать» [20, с. 852]).

Не совсем ясно, как с *sorma* связано *sürmä*, но производящие основы слов *sürmä* и *süzmä* явно разного происхождения.

3. Вызывает сомнение сближение *iz* «след» и *irtü-* «искать», *irdä-* «искать, стремиться» наряду с *izdä-* «идти по следу» и т. п. [2, с. 41]. Здесь палицо явное несоответствие тем требованиям, которые Е. А. Хелимский предъявляет к фактическому материалу (наличие *z* в интервокальном положении и ауслауте при *r* в консонантном комплексе), о чем свидетельствуют, в частности, азерб. диал. *iriz* «след» [21, с. 646], др.-тюрк. *er-* ~ *ir-* «следовать, преследовать», казах. *er-* «следовать за кем-либо; следовать примеру».

Структура слова *iriz* допускает двойное истолкование. Это могло быть, в частности, производное от глагола *er-* ~ *ir-*. Наличие глагольной основы *irtä-* ~ *irdä-* свидетельствует также о существовании именной основы **er(ir)* «след(ование)», исходя из чего азерб. *iriz* могло бы быть сочтено результатом словосложения: *ir* + *iz*. Что касается его второго компонента — имени *iz* (или *iz̄*) «след», то у него нет варианта с широким переднерядным гласным. Применительно к нему отмечается либо первичность ненёбной формы *iz̄* или *iz̄̄*, либо «древнейший параллелизм» *iz* (~ *iz̄*)/*ыз* (~ *ыз̄*) [21, с. 646]. Гомогенность сопоставляемых слов, таким образом, весьма проблематична.

4. Несмотря на распространенность представления об общем происхождении слов типа *q̄i:z* «девушка, дочь», *q̄irq̄in* «невольница, наложница», *q̄irnaq* «невольница, молодая рабыня, наложница» [2, с. 42], оно далеко не аксиоматично. Согласно Е. А. Хелимскому, «предложенное Т. Текином объяснение *q̄irq̄in* и *q̄irnaq* как нормальных дериватов от *q̄i:z...* устраняет существовавшие этимологические неясности» [2, с. 42], но это не соответствует действительности. Членение Т. Текином слова *q̄irq̄in* (с выделением аффикса коллективности-собирательности) не выглядит убедительным: само существование подобных формантов вызывает скептическое отношение [22], и, во всяком случае, более реалистично отглагольный, чем отыменный формант *-q̄in* [10, с. 325 и сл.]. Произвольным выглядит и вычленение Т. Текином уменьшительного афф. *-naq* в *q̄irnaq* [23, с. 62]. Таким образом, никакие неясности (в частности, структурно-семантического плана) здесь не устранены. *Q̄i:z*, с одной стороны, и *q̄irnaq* с *q̄irq̄in* — с другой, вполне могут быть гетерогенны, и не зря Дж. Клосон, как отмечает Е. А. Хелимский, проявлял определенные колебания в этом вопросе.

Qırnaq «невольница, наложница», возможно, следует связать с турецк. *kirik* «любовник, возлюбленный», *kirim kirim* «очень, беспрестанно (кокетничать)», *kiril-* «кокетничать», *kirin-* и *kirit-* «ломаться, жеманничать, кокетничать», *kirış-* «кокетничать, заигрывать (друг с другом)». Вероятно, сюда же можно отнести и др.-тюрк. *qırī* «увеселение».

Таким образом, *qırnaq* (ср. также турецк. *kirnak* устар. «рабыня, невольница») могло быть производным от *qırin-* «кокетничать» (см. турецк. *kirin-* тж.). Родственным *qırnaq* могло быть и *qırqin-* в приведенных выше словах возможно выделение исходной глагольной основы **qır-* «быть игривым» (?), к которой может быть возведено *qırqin-*.

Сложнее обстоит дело со словом *qız* (*qī:z*) «девушка», относительно которого существует несколько этимологических версий [24, с. 234], ни одна из которых не является общепризнанной. На наш взгляд, *qız* может быть отглагольным именем той же структуры, что и тюрк. *uz* «мастер» (< *u-z*), где *u-* — глагольная основа со значением «мочь, уметь». Глагольная основа **qī-* могла означать что-то вроде «сужать(ся), сжимать(ся), стеснять(ся)» и т. д.² Не исключено, что родственным *qız* «девушка» могло быть др.-тюрк. *qiz* «скупой». Указанную основу мы видим в сарыг-уйг. *qīp* (< *qī-p*) «крепкий; крепко» (< ? «крепко сжатый»); ср. также якут. *qīpčij-* «сжимать(ся); сжимать ноги»; *qīmīs* «скупая женщина», *qīmīs-* «беречься, бояться», *qībīsīn-* «стесняться, конфузиться», *qībīj-* «сжимать ноги».

Логично и сближение *qız* «девушка» с тюрк. *qīsīr* «яловая; еще не приносящая приплода» [24, с. 234—235], которое, в свою очередь, согласно обоснованному предположению Дж. Клосона, является производным от *qīs-* [20, с. 668], означающего, в частности, «сжимать, стискивать, сдерживать».

По своему семантическому развитию с этими именами сходно распространённое в тюркских языках слово *tup* «яловая; еще не рожавшая; первородящая (о женщине); первенец» (ср. также якут. *tuqij* «первородящая; чистый, невинный»), которое можно связать с глаголом *tu-* «закрывать, преграждать», производным от которого было и имя типа *tuγ* «яловая» (казах. *tuw* «яловая; нетронутый, девственный» [26, с. 287]). Последнее едва ли можно впрямую связать с *tuγ* ~ *toγ* «родить(ся)» [24, с. 237; 31, стлб. 1421, 1430].

Во второй группе слов (13)—(27) также встречаются сопоставления гетерогенных слов. К ним относятся *āzā* «прежде» ~ **erki* «старый», что частично отражено и в соответствующем разделе (15), *tāqiz* «море» ~ *tāqri* «небо, бог» (23). Последнее, несмотря на его внешнюю эффектность, малоубедительно по существу, ибо то, что нам известно об этимологии *tāqri* и явно родственных с ним слов [27], с одной стороны, и *tāqiz* ~ *dāqiz* — с другой [18, с. 194—195], дает мало оснований для того, чтобы считать их едиными по происхождению. «Фонетическим обоснованием» для их сближения никак не может служить «формулируемое в данной статье правило чередования *r* ~ *z*» [2, с. 44], поскольку, напротив, как раз примеры должны служить для обоснования соответствующего правила.

Автор указывает на «важную семантическую аналогию», которую «дают монгольские языки, ср. п.-монг. *dalai* „море“ и „великий, вселенский, верховный“» [2, с. 44], а в другой своей статье говорит об этой «семантической параллели» как о такой, на которую он опирается в первую очередь

² Ср. также соображения А. Г. Бишшева о наличии в *qız* подобных же элементов, но без указания на категориальную принадлежность и семантику компонента *qī* [25].

[3, с. 71]. Но подобные параллели и аналогии еще ничего не говорят об общем происхождении слов, поскольку вполне естественно, что и небо, и море вполне могут ассоциироваться с чем-то значительным. Кроме того, монг. *dalai* «великий...» (например, в составе титула типа *dalai lama*), вероятно, является отражением иноязычного (тибетского, в частности) влияния [28].

Думается также, что и в той, и в другой группе сопоставлений есть не очень ясные случаи, единое происхождение которых все же нуждается в дополнительном обосновании. Это сопоставления *tüz-* «бежать, убежать» ~ *türk* «быстро, скоро» (10), *qadiz* «кора дерева» ~ *qadiryaq* «мозоль, волдырь» (17), *oғuz* ~ *oғraq* — названия племен (20), *tiz* «колени» ~ *tir-säk* «локоть» (24) и др.

Часть из них, впрочем, отмечалась уже в качестве сомнительных или случайных параллелей в работах Т. Текина, откуда они и перешли в статью Е. А. Хелимского, в том числе и такая, казалось бы, очевидная, как *toғuz* «девять» ~ ст.-осм., турецк. диал. *tokurçın, dokurcun* «игра типа шахмат с семью пашками» (26). А. М. Щербак сравнивает *dokurcun* «игра с семью камешками» с турецк. же *dokuztaş* тж. (букв. «девять камней»), указывая, что собственное значение *dokurcun* — «скирда, копна, куча» [9, с. 6]³. В первой группе имеются и примеры соответствий слов, встречающихся только в древнетюркских памятниках арабского письма, где, как вскользь отмечал сам Е. А. Хелимский, соответствующие графемы («ра» и «зейн») максимально сходны [2, с. 41]; это создает возможность описок и, далее, неверного прочтения слов, примером чего вполне могло быть др.-тюрк. *tuvuz* «крупный» ~ *tuvra-* «увеличиваться в размерах» (12), современных соответствий к которым не найдено.

Е. А. Хелимский отвергает в подобных случаях предлагаемые Дж. Клосоном, а также М. Рясянею конъектуры, что не оправдано.

В примерах, на которые ссылается Е. А. Хелимский, помимо гетерогенных слов и вероятных древних ошибочных написаний (своего рода «мнимых слов»), есть случаи (и их немало), когда в *z* и *g* можно видеть морфемы, о которых уже упоминалось, или их элементы.

1. В случае (1) *boғuz...* «горло, глотка» ~ *boғurdaq* «горло, глотка», др.-тюрк. *boғrul* «(животное) с белой шеей» (последнее в [17, с. 109] дается только в сочетании *boғrul qoj* и с переводом «овца с белым ошейником»). Вопреки сомнениям Е. А. Хелимского, *boғuz* вполне может быть связано с *boғ-*, обозначающим не только «душить», но и «сдавливать, сжимать» и, по-видимому, «сильно сужать» [29, с. 72]. Формы же типа *boғurdaq, boғrul* восходят, вероятно, как на то и указывал Дж. Клосон, к каузативу от *boғ-* (**boғir-* или **boғur-*), о котором неверно говорить как о «незасвидетельствованном каузативе»: о его реальности свидетельствует, например, сагайское (хакасское) *poғir-* «душить» [30, стлб. 1266].

2. В отношении пары *semiz* «жирный» ~ *semri-* «жиреть, полнеть» (8) тюркские языки можно разделить на две части: при идентичности именного коррелята (*sämiz* ~ *semis*) глагольный в одних тюркских языках имеет форму *semir-* (о чем уже упоминалось ранее), а в других — *semri-* с вариантами огласовки типа туркм. *semre-*. По мнению Т. Текина, исходной является глагольная форма **sämri-*, а *sämir-* представляет собой результат метатезы; к **sämri-* возводится и туркм. *semre-*. По своей структуре *sämri-* относится к отыменным глаголам, образованным с помощью афф.

³ В. В. Радлов в качестве первого значения турецкого слова *dokurcun* называл «сноп» [31, стлб. 1703].

-i-, поскольку считается, что в тюркских языках отсутствует глаголообразующий афф. -ri-. Производящая именная основа, являющаяся, по Текину, прототипом прилагательного *sämiz*, реконструируется в виде **sämir*/**sämür* [23, с. 54, 57].

Эти утверждения не бесспорны. В частности, не следует столь категорично отрицать наличие афф. -ri-. В тюркских языках имеется достаточно распространенный глаголообразующий афф. -ra- (-rā-), у которого отдельными исследователями отмечен также и вариант с узким гласным -rī- (а значит, и -ri-) [32, с. 323; 33]. По-видимому, с той же ситуацией мы имеем дело и в данном конкретном случае, а потому едва ли туркм. *semre*- бесспорно возводимо к *semri*-. И, наконец, в случае *sämri*-/sämir- мы не обязательно имеем дело с метатезой *ri* > *ir*: в тюркских языках метатезам обычно подвергаются комплексы из двух (и более) согласных, в том числе и включающие *r*, а не комплексы типа «согласный + гласный» [7, с. 368].

Думается, что вполне реально говорить об именной или образной основе **säm* со значением утолщения, каковая, возможно, также прослеживается в гагауз. *semer* «выюк, вьючное седло», турецк. *semer* «вьючное седло; геол. антиклиналь (= складка горных пород, обращенная выпуклостью вверх); арго задница». якут. *emehe* «задница» (при якут. *emis* «жирный»). К этой основе могут быть возведены глаголы *sämri*- и *sämir*- < **säm*-(α)r-, а также (через посредство утраченного глагола **säm-i*?) — прилагательное *sämiz*.

3. По-видимому, одноструктурны с только что рассмотренным и некоторые другие сопоставления, приводимые Е. А. Хелимским, в частности, *javiz* «плохой, слабый» ~ *javri*- «ослабеть, обессилить» (ср. др.-тюрк. *javla*- «доставлять неприятности, причинять вред» < *jav* ~ *jaw* «враг» [10, с. 219, 221], кирг. *žapir*- «валить; склонять, пригибать к земле»), *tüviz* «крепкий, плотный» ~ *tüvra*- «становиться сильным, крепким» (25) (при наличии параллельной др.-тюрк. формы *tüvda*- тж. ⁴), а возможно, и др.-тюрк. *tuvuz* ~ *tuvra*- (если здесь нет описки, как отмечалось выше).

Глагольная основа на -ra- прослеживается в *kökrek* «грудь», обычно и вполне законно сопоставляемому многими исследователями, в том числе и Е. А. Хелимским, с *köküz* (5) ⁵.

4. В структурном плане достаточно элементарным представляется случай *julduz* «звезда» ~ др.-тюрк. *juldrug*, *joldrug*, *jaldrug* «блестящий, сверкающий» (16). Эти слова так или иначе восходят к образным основам. Структуру *julduz* «звезда» Э. В. Севортян представляет в виде *jult-u-z*, где, в частности, *jult* «звукотписует блеск, сверкание, мерцание звезд», -u- — очевидно, глаголообразующий аффикс, а -z — аффикс именного словообразования [10, с. 179—180]. Прилагательное *juldrug* и подобное ему сопоставимы, например, с кирг. *žaltir* ~ *žiltir* «блестящий (также имеющим образный характер)». В киргизском языке есть и производные от них глаголы *žaltira*- ~ *žiltira*- «блестеть, сверкать». Нечто подобное наблюдалось и в древнетюркском, только глаголы в нем образованы с помощью глаголообразующего аффикса в узкорядном варианте (ср., впрочем, др.-тюрк. *jaldra*-, *jaltiri*-, *jiltiri*- «блестеть, сверкать»).

⁴ Эти глагольные формы указывают на производную основу **tüv*, видимо, гомогенную с глаголом *tüq*- «совать, засовывать», от которого образовано, в частности, *tüvüz* [18, с. 339], приводимое выше.

⁵ Структура этих слов частично рассматривалась в наших публикациях [29, с. 74—75; 34].

Среди примеров, которыми оперирует Хелимский, имеются и такие, которые вызывают сомнение в плане своей принадлежности к исконной тюркской лексике. Это монголизмы, в свою очередь восходящие, вероятно, к тюркским словам, где произошло изменение $z > r$, т. е. к возможным болгаризмам. В этом плане показательно сопоставление др.-тюрк. *sez* «чувствовать, замечать» ~ куман. *sergek* «бдительный», узб. *sergak*, татар. *sirgäk*, чаг. *sezgek* «умный, понятливый» (21). Хотя автору «представляется необязательной трактовка *sergek* как монголизма» (принятая другими исследователями) [2, с. 44], однако практически ничто не препятствует именно такой трактовке.

Сложнее случай (13): др.-тюрк. *boz* «серый» ~ кирг. *borbaš* «большой серый сорокопуд», *borčun* «серая утка (дикая)», чаг. *borčün* «серая утка», турецк. диал. *bortak* «вид дикой утки» (при казах. *bozdaq tüö* «серый верблюд»). При этом Е. А. Хелимский принимает не все параллели, приводимые Т. Текином. В их число не включено турецк. диал. *boran* «дикий голубь» (хотя и неясны причины этого), но и то, что им включено в это сопоставление, не выглядит достаточно убедительным. Так, в основе турецк. диал. *bortak*, возможно, не обозначение серого цвета, а звукоподражание. В турецком, судя по словарю В. В. Радлова, отмечено также *bordayan* «клуша, наседка» (*die Gluckhenne*) [30, стлб. 1666]; ср., например, кирг. *bort* — звукоподражание отрывистому треску, казах. *bort bort* «звук дыхания скоро бежащих лошадей» (Радлов), *bortul* — треск и т. п. А казах. *bozdaq [tüö]* не связано ли с казахским же *bozda* «кричать (о верблюде)»? В кирг. *borbaš*, похоже, четко выделяется компонент *-baš < baš* «голова», а *borbaš* восходит к сочетанию, где *bor* не обязательно гомогенно с *boz* «серый»; *bor* могло обозначать не цвет, а величину: в киргизском языке фиксируется связанная основа *boro* (ср. *borodoj* «громадный, большой») и *borbaš* могло означать не «серая», а «большая голова».

Более обоснованы в рассматриваемом сопоставлении кирг. *borčun*, чаг. *borčün*, хотя последнее, по В. В. Радлову, означает не «серая утка», а «утка (самка)» и «самка оленя» [30, стлб. 1666]. Но не монголизмы ли это, связанные, например, с калм. *boržn* «самка дикой серой утки», бурят. *boržon* «утка (самка)», совр. монг. *boržin nuγas* «гусыня»?

2

Появление в материалах Е. А. Хелимского вышеназванных монголизмов представляется неслучайным, поскольку, согласно его, а также исследователей-алтаистов мнению, данные монгольских (и сходных с ними тунгусо-маньчжурских) языков являются более древними, чем тюркских, и именно среди монгольских лексических параллелей надо искать исходные формы тюркских слов. Однако в последние годы подобная точка зрения достаточно доказательно опровергается [8, 35, 36].

Не подтверждается мнение о большей древности монгольских слов по сравнению с их тюркскими параллелями и материалами публикаций Е. А. Хелимского, в частности, теми их разделами, где монгольские материалы привлечены специально. Это относится к чередованию *l ~ š*. В статье, опубликованной в «Советской тюркологии», автор ограничился предварительными замечаниями по данному вопросу, которому большее внимание уделено в другой его публикации, где, правда, в основном говорится о чередовании (монг.) *lž ~ (тюрк.) š*. Е. А. Хелимский, в частности, пишет: «...тюрк. *ešäk*, *ešgäk*, *ešjäk* „осел“ невозможно рассматривать в отрыве от п.-монг. *elžigen* „осел“ (к фонетике ср. др.-тюрк. *qorγašun* „свиноец“ при

п.-монг. *qoryolžin* и под.)». По его мнению, «древнетюркский язык, до того как он стал таковым» (? — Т. Б.), мог претерпеть такие историко-фонетические изменения, как переход **lž* > *š* [3, с. 74—75].

Однако реальность подобного перехода не доказана, и приводимые примеры не свидетельствуют в пользу его. Начнем с сопоставления *ešak*... ~ *elžigen*. Логично, что автор возражает против имевшей определенное хождение этимологии Х. Педерсена, возводящего тюркское слово к арм. *ēš* «осел», хотя не наличие монг. *elžigen* этому препятствует, а, скорее, причины экстралингвистического плана, связанные с необходимостью объяснить факт заимствования из армянского общетюркского слова.

Есть значительная смысловая натяжка и в версии В. Банга, связывавшего последнее с тюрк. *äš* «товарищ» + уменьшительный аффикс. *-aqi-yaq*, хотя и она получила некоторое распространение [21, с. 317—318].

Сам Е. А. Хелимский пишет: «Нельзя исключить, что в конечном счете монг. *elž-*, тюрк. *eš-* и разрозненные, не сводимые к общей праформе п.-е. названия осла (арм. *ēš*, лат. *asinus*...) опосредованно взаимосвязаны — например, через шумер. *anšu*» [3, с. 74, примеч. 14].

Заметим, что даже подобные гипотезы вовсе не свидетельствуют в пользу первичности *l* (*ž*) по отношению к *š* (скорее, наоборот) ⁶. Однако неслучайно имеющиеся этимологии исходят фактически из первичности тюркской формы, хотя, как мы полагаем, при этом нет особой нужды погружаться в подобные языковые глубины. Вполне достаточно данных тюркских языков, где имеется, например, довольно распространенная глагольная основа *eš-(äš)-* «идти, ехать иноходью; быстро ехать на коне; скакать: идти медленными шагами» и т. д. [21, с. 316]. Следует также учесть, что аффикс (или аффиксы) *-(aq, -yaq* — не только уменьшительные: в тюркских языках имеются подобные же, широко распространенные форманты, образующие отглагольные имена.

Таким образом, на материале тюркских языков структура и семантика названия осла раскрываются вполне удовлетворительно, чего не скажешь о монгольской форме, считаемой исходной и возводимой к **elžiken*, где можно наблюдать лишь попытку гипотетического членения: **el-ži-* + **ken* [37], в котором и выделяемые компоненты, и само целое совершенно неясны и, вероятно, с наименьшим основанием могли бы выглядеть и по-другому ⁷.

Е. А. Хелимский сопоставляет в том же плане, что и *äšäk* ~ *elžigen*, еще тюрк. (но не др.-тюрк.!) *qoryaşun* и монг. *qoryolžin* «свинец», однако и этот пример нельзя считать бесспорным свидетельством перехода *lž* > *š*, на котором он настаивает. Правда, монгольская форма считается алтаистами исходной для тюркских, и последние даже считаются вообще монголизмами, что верно только для части тюркских языков, в частности сибирских; ср., например, тув. *qoryulčun* [qoryulžun], но это мнение не бесспорное, в основе его убеждение, что *lž* древнее *š*.

В тюркских языках, кроме явных монгольских заимствований, интересующее нас название свинца существует в двух основных вариантах: 1) «кыпчакском», включающем в свой состав компонент *-ya-* (*-yu-*) типа куманского (половецкого) *qoryaşin*, кирг. *qoryoşun* ~ *qoryoşum*, бараб.-

⁶ Ср. также версию, сближающую тюрко-монгольское название осла с египетским *šk* «ослик» и предполагающую миграцию соответствующего термина вместе с обозначаемым им животным из древнего ближневосточного ареала в районы Центральной и Восточной Азии [38].

⁷ Ср., в частности, небезосновательное мнение, согласно которому монг. *elžigen* есть заимствование бугаро-тюркского происхождения, в котором *š* > *lž* [39].

татар. *qorçaş*, башк., татар. *qurçaş* и т. п., и 2) «огузском» (без указанного компонента), в том числе турецк. *kurşun*, туркм. *qurşun*, азерб., др.-тюрк. *qoşun* (последние с элизией *r*, что достаточно распространено). В древнетюркских памятниках помимо *qoşun* отмечено также *qoruçūñ* (с метатезой *ç* и его ассимилирующим влиянием на последующий шипящий) [23, с. 80].

Недавняя и, кажется, пока единственная этимология слова также исходит из монгольских данных. Согласно ей, «исходная форма... тождественна письменно-монгольской, и морфологический состав ее имеет вполне монголообразный вид, напоминая прежде всего существительные типа *гурбалжин* / *yurbałžin* „треугольник“ (*гурбан* „три“ + *лжин*)» [40]. Исходя из этого, предлагаются две этимологические версии: а) п.-монг. *qorçalžin* < **корган* / *korγan* «расплавленное сало, жир» + афф. -*лжин*, т. е. букв. «плавленный»; б) п.-монг. *qorçalžin* < **коргал* / *korγal* «помёт (овец, верблюдов)» + афф. -*лжин* / -*лžin*, т. е. букв. «катышкообразный».

Оба эти варианта в общем представляются вероятными, хотя первый предпочтительнее в содержательно-логическом плане. Вместе с тем первая версия может исходить и из данных тюркских языков: в некоторых из них встречается основа, восстанавливаемая в виде **qor-* «плавить, переплавлять; переваривать» (на наш взгляд, более логична здесь семантика типа «плавиться, переплавляться» и т. п.) и реализуемая, к примеру, в казах. *qorıt-* «плавить (о металлах); переваривать (о пище в желудке)», *qorıq* «расплавленный металл» [26, с. 248]. Структура тюркских слов может быть представлена, соответственно вышеприведенным вариантам, в виде **qor-γa-š-(α)n* и **qor-š-(α)n*, где -*γa-(γi-)* — аффикс с учащательно-интенсивным значением, а -*š-* — в настоящее время показатель совместно-взаимного залога, ранее выражающий семантику учащательного, многократного действия [32, с. 238—244; 12, с. 202—203]. Таким образом, в одних тюркских языках наблюдается сосуществование двух сходных по значению формантов -*γa-*, -*š-*, а в других имеется только последний (-*š-*). Конечный (α)*n* — обычный словообразовательный аффикс тюркских языков.

Что касается форм типа *qorçaş*, то, если это не вторичные, гиперкоррективные формы, в них мы имеем либо результат конверсии глагольной основы **qorçaş-* в именную, либо производное от глагола **qorγa-*, образованное с помощью распространенного афф. -*š-*. В целом рассматриваемое производное обозначало, вероятно, нечто плавкое, интенсивно плавящееся.

Следовательно, и в этом случае первичность *lž* по сравнению с *š* не выглядит достаточно убедительной.

Чтобы закончить дискуссию о том, что здесь первично, приведем еще одно сопоставление того же плана, но более свежее и, как нам думается, — рельефное, хотя и менее распространенное. Сравним, в частности, совр. монг. *erwēlž*, калм. *erwalžin* «детское седло с подпорками» ~ тоф., тув. (тоджинский диалект) *ērmeš*, *erimeš* «детское оленье седло» (сопоставление подсказано В. И. Рассадным).

Не должны ли мы и здесь сделать вывод о первичности монгольского и вторичности тюркского слова и о том, что последнее является монголизмом? Последнее, однако, невозможно, поскольку в явных монголизмах (ср. тув. *qorγulžin*) такой переход отсутствует. Первичность же монгольского слова здесь вообще исключена, поскольку закономерным соответствием тувинскому и тофаларскому словам вполне правомерно называется кирг. *ajırmač* «детское вьючное седло» [41], имеющее также значение «развилка» (ср. еще кирг. *ajırmač* с теми же значениями, те-

леут. *ajırmaş*, куманд. *ajırmaş* «вилы»). Кирг. *aiırmač* ~ *ajırmač* представляют практически исходную форму слова, структура которого достаточно прозрачна: это отглагольное существительное на *-mač* (см. об этом форманте [10, с. 358 и сл.]), производящая основа которого — *aiır-(ajır-)* «раздваиваться, разделяться» и т. п. (что вполне соответствует форме обозначаемого объекта, в том числе и седла с перекрещивающимися луками [42]); ср. также тув. *aiır* «вилы».

Изменение рядности в тув. и тоф. *erměš*, а также, отчасти, и появление долготы вызвано воздействием *i*-умлаута, вида ассимиляции, проявляющегося в некоторых тюркских языках, в том числе в тофаларском языке и тоджинском диалекте тувинского⁸. Для этих же языков закономерен и переход конечного *č* > *š*.

Монгольские соответствия связаны с явно вторичной тюркской формой (с переднерядным вокализмом, долготой, конечным *š*) и, вероятнее всего, могут рассматриваться как заимствование из языка тувинско-тофаларского типа. При этом *š* (< *č*) определенно является первичным по отношению к монг. *l̥*, который может восходить только к *š*, но никак не к предшествующему ему *č*⁹.

Как указывают монголисты, согласный *š* отсутствовал в монгольских языках (за исключением, может быть, анлаута образных слов) [43] и в заимствованиях мог заменяться различными звуками, в том числе *l* или комплексом, в который входил этот сонант.

В заключение своей публикации о происхождении чередования *r* ~ *z* Е. А. Хелимский пишет, что «в литературе неоднократно и вполне справедливо отмечалось, что решения дилемм „ротацизма—зетацизма“ и „ламбдаизма—сигматизма“ неотделимы друг от друга, поэтому... первичность вибранта **r*₂ по отношению к тюрк. *z* предполагает первичность латерального **l*₂ по отношению к тюрк. *š*» [2, с. 49].

Мнение о неотделимости одного от другого решений названных дилемм не вызывает у нас особых возражений, однако анализ показывает, что ни о каком реальном правиле, или законе, который, как считает Е. А. Хелимский, ему удалось сформулировать и согласно которому *r* первично, а *z* вторично, всерьез говорить не приходится. Материалы, на которых основываются заключения Е. А. Хелимского, весьма разнородны по происхождению, недостаточно достоверны и не дают надежной основы для таких заключений. А поскольку первичность *r* не доказана, нет достаточных оснований говорить и о первичности *l* по отношению к *š*.

Наконец, подобные материалы не подтверждают и мнение о «совместимости» ностратической теории (а также и алтаистики) с представлениями о первоначальном облике целого ряда слов тюркских языков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шербак А. М. О ностратических исследованиях с позиций тюрколога // ВЯ. 1984. № 6.
2. Хелимский Е. А. Происхождение древнетюркского чередования *r* ~ *z* и дилемма «ротацизма-зетацизма» // СТ. 1986. № 2.
3. Хелимский Е. А. Решение дилемм пратюркской реконструкции и ностратика // ВЯ. 1986. № 5.

⁸ Не исключено, что на внешний облик *erměš* могло повлиять и сближение с общетюркским названием седла, в частности в вариантах типа *igār* ~ *egār*.

⁹ В явных тюркских заимствованиях монгольских языков конечный *č* сохраняется, но к нему присоединяется дополнительный гласный или комплекс «гласный + *n*» [36, с. 53, 54; 44].

4. *Tekin T.* Once more zetacism and sigmatism // САЖ. 1979. XXIII. № 1—2. P. 118—119.
5. *Абдуллаев А. З.* К вопросу $r \sim z$ в тюркских языках // СТ. 1984. № 2.
6. *Серебрянников Б. А.* О несостоятельности аргументов, применяемых для доказательства звукоперехода R в Z // СТ. 1986. № 4.
7. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика. М., 1984.
8. *Серебрянников Б. А., Харьковская С. С.* О некоторых эффективных методах исследования проблемы родства тюркских и монгольских языков // СТ. 1983. № 5.
9. *Щербак А. М.* Проблема ротацизма и перспективы дальнейшего изучения тюркско-монгольских языковых связей // СТ. 1987. № 3.
10. *Севертян Э. В.* Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке. М., 1966.
11. *Севертян Э. В.* Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на букву «Б». М., 1978. С. 168.
12. *Серебрянников Б. А., Гаджиева Н. З.* Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. М., 1986.
13. *Кормушин И. В.* Каузативные формы глагола в алтайских языках // Очерки сравнительной морфологии алтайских языков. Л., 1978. С. 36.
14. *Щербак А. М.* Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970. С. 85 (примеч. 231).
15. *Корнилов Г. Е.* К вопросу о сибирской прародине чувашского языка // Сибирский тюркологический сборник. Новосибирск, 1976.
16. *Муратов С. Н.* О некоторых особенностях чувашского и якутского языков, имеющих маргинальный характер в тюркском языковом ареале // Народы и языки Сибири. Ареальные исследования. М., 1978.
17. Древнетюркский словарь. Л., 1969.
18. *Севертян Э. В.* Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на буквы «В», «Г», и «Д». М., 1980.
19. *Щербак А. М.* Огуз-наме. Мухаббат-наме. М., 1959. С. 66.
20. *Clauson G.* An etymological dictionary of pre-thirteenth century Turkish. Oxford, 1972.
21. *Севертян Э. В.* Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на гласные. М., 1974.
22. *Щербак А. М.* Очерки сравнительной грамматики тюркских языков. Имя. Л., 1977. С. 88—89.
23. *Tekin T.* Zetacism and sigmatism in Proto-Turkic // АОН. 1969. XXII. 1.
24. *Кажибеков Е. З.* Глагольно-именная корреляция гомогенных корней в тюркских языках. Алма-Ата, 1986.
25. *Бишиев А.* Соответствие $-p$ // $-z$ в алтайских языках // Исследования по уйгурскому языку. Алма-Ата. 1965. С. 199.
26. *Кайдаров А. Т.* Структура односложных корней и основ в казахском языке. Алма-Ата, 1986.
27. *Татаринцев Б. И.* О происхождении тюркского названия неба (*tayri* и его соответствия) // СТ. 1984. № 4.
28. *Цыбилов Г. Ц.* Буддист-паломник у святынь Тибета. Пг., 1919. С. 257.
29. *Татаринцев Б. И.* Семантическая проблема этимологизации названий частей тела в тюркских языках // Проблемы составления этимологического словаря отдельного языка. Чебоксары. 1986.
30. *Радлов В. В.* Опыт словаря тюркских наречий. Т. IV. СПб., 1911.
31. *Радлов В. В.* Опыт словаря тюркских наречий. Т. III. СПб., 1905.
32. *Севертян Э. В.* Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. М., 1962.
33. *Кононов А. Н.* Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX вв. Л., 1980. С. 117.
34. *Татаринцев Б. И.* О реконструкции мотивирующего семантического признака в процессе этимологизации // Теория и практика этимологических исследований. М., 1985. С. 40—42.
35. *Серебрянников Б. А.* Являются ли тюркско-монгольские параллели средством проникновения в глубины истории тюркских языков? // СТ. 1980. № 6.
36. *Щербак А. М.* Тюркско-монгольские языковые связи // ВЯ. 1986. № 4.
37. *Новикова К. А.* Иноязычные элементы в тунгусо-маньчжурской лексике, относящейся к животному миру // Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. Л., 1972. С. 111.
38. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. II. Тбилиси. 1984. С. 564.
39. *Rédei K., Róna-Tas A.* Early Bulgarian loanwords in the Permian languages // АОН. 1969. XXXIII. 1—3. P. 349.

40. Цинциус В. И., Бугаева Т. Г. К этимологии названий металлов и их сплавов в алтайских языках // Исследования в области этимологии алтайских языков. Л., 1979. С. 33.
41. Рассадин В. И. Фонетика и лексика тофаларского языка. Улан-Удэ, 1971. С. 182.
42. Вайнштейн С. И. Историческая этнография тувинцев. М., 1972. С. 110—111
43. Рассадин В. И. Очерки по исторической фонетике бурятского языка. М., 1982. С. 85—87.
44. Щербак А. М. О причинах структурно-фонетических расхождений в тюрко-монгольских лексических параллелях // Исследования по восточной филологии. К 70-летию проф. Г. Д. Савжеева. М., 1974.

БОМХАРД А. Р.

**ОЧЕРК СРАВНИТЕЛЬНОЙ ФОНОЛОГИИ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ
«НОСТРАТИЧЕСКИХ» ЯЗЫКОВ**

1. Введение. Данная статья основывается на анализе лексического материала, собранного мной для планируемого словаря так называемых «ностратических» языков. Основной корпус моего словаря будет состоять из критически пересмотренного и значительно расширенного набора соотносимых корней, предложенного в моей книге [1], где я ограничился сравнением и.-е. языков с афразийскими. К этому теперь добавился картвельский, урало-юкагирский, эламо-дравидийский, алтайский и шумерский материал. [В дальнейшем я собираюсь предпринять поиски параллелей с названными языками в чукотско-камчатском (палеосибирском), эскимосо-алеутском, этрусском и нивхском.] В результате рассмотрения этих новых данных становятся более убедительными многие этимологии, предложенные мною ранее только на материале и.-е. и афразийских языков [2]. К настоящему времени я разработал около 500 возможных ностратических этимологий.

На основе лексических параллелей, обнаруженных мною к настоящему времени, а также важных результатов, полученных другими учеными, в первую очередь В. М. Иллич-Свитычем, А. Б. Долгопольским и Дж. Г. Гринбергом (хотя и не со всеми их утверждениями можно согласиться (см. раздел 3)), я пришел к выводу о существовании достаточных (как в качественном, так и в количественном отношении) доказательств генетического родства индоевропейской, картвельской, афразийской, урало-юкагирской, эламо-дравидийской и алтайской языковых семей, а также, возможно, шумерского.

В настоящей работе основное внимание будет уделено сравнительной фонологии тех ностратических языков, которые я изучил к настоящему времени.

2. Методология. Принципы сравнения языков, которым я следовал при установлении соответствий между различными ностратическими языками, восходят к постулатам, обоснованным Дж. Г. Гринбергом в его книге [3] (гл. «Генетическое родство языков»). Постулаты Гринберга заслуживают того, чтобы их напомним.

Гринберг отмечает, что единственный путь проверки гипотез генетического родства — сравнение языков. Проблема, однако, заключается в том, чтобы понять, какие языки следует сравнивать и что именно сравнивать, поскольку не все аспекты языка в равной степени релевантны для сравнения. Говоря конкретнее, при сравнении необходимо удалить из рассмотрения случайные сходства и отделить заимствования от исконных элементов. Зачастую легче это сказать, чем осуществить; тем не менее Гринберг предлагает два основных критерия выделения заимствованных лексических единиц. Во-первых, он отмечает, что заимствования не выходят обычно за пределы определенных семантических полей (ср.,

например, лексику, относящуюся к сфере культуры) и определенных грамматических классов (имена заимствуются гораздо чаще, чем глаголы). Во-вторых, заимствованные слова могут быть ограничены от исконных путем привлечения к сравнению новых языков.

Простейший путь установления генетического родства — выделение достаточного количества сходных морфов (или алломорфов) — в особенности нерегулярных, — встречающихся в сходных окружениях в сравниваемых языках. Другой важный аргумент в пользу возможного существования генетического родства — наличие сходных правил комбинирования. К сожалению, процессы, происходящие с течением времени, приводят к постепенной трансформации и к исчезновению таких подобий. Чем больше времени прошло с момента разделения языков, тем меньше шансов, что сходство морфологических форм и правил комбинирования будет обнаружено.

К счастью, существуют и другие факторы, которыми можно воспользоваться при установлении генетического родства. Один из них — семантическое сходство лексических единиц. Здесь важно установить регулярные фонетико-семантические (т. е. затрагивающие как означаемое, так и означающее) соответствия на достаточно большом лексическом материале. Наиболее важны лексические единицы с одинаковыми или сходными значениями. Следующее по значимости место занимают формы, которые — хотя они и различаются значением — можно возвести с учетом типичных семантических сдвигов к более ранним формам с одинаковым или сходным значением. Вероятность того, что лексическое сходство свидетельствует о генетическом родстве, резко возрастает, если к сравнению привлекаются новые языки, в которых также обнаруживается целый ряд регулярных фонетико-семантических соответствий. Гринберг назвал этот метод «массовым сравнением». Он считает сравнение базисной лексики большого числа языков определенного, достаточно обширного ареала самым быстрым и самым надежным способом установления генетического родства. По мнению Гринберга, лексический материал имеет первостепенное значение при решении этой задачи, особенно на начальной стадии сравнения. Превосходный очерк методологии Гринберга содержится в недавно появившейся работе М. Рулена [4] и в новой книге Гринберга [5].

Чтобы определить, возможно ли общее происхождение определенных лексических единиц языков различных семей, я обычно опирался на словарь К. Д. Бака [6], используя его при проверке допустимости тех или иных семантических сдвигов. Дело в том, что при исследовании картвельской, афразийской, урало-юкагирской, эламо-дравидийской, алтайской и шумерской лексики я заметил, что семантические сдвиги, аналогичные тем, которые зафиксированы Баком для и.-е. языков, сплошь и рядом встречаются и в языках названных семей.

3. К анализу советских ностратических реконструкций. Начну с того, что я с искренним восхищением отношусь к достижениям советских ученых (в первую очередь, В. М. Иллич-Свитыча [7]) и А. Б. Долгопольского [8] в области ностратической реконструкции. Их работы открыли новые перспективы и повысили авторитет ностратических исследований. Это, однако, не означает, что я разделяю все их положения. Я считаю, что их концепция носит пионерский характер и, следовательно, должна быть модифицирована в свете достижений лингвистической теории, новых данных о ностратических языках и последних результатов типологических исследований, которые позволяют лучше понять виды струк-

турации, типичные для естественных языков, а также характерные черты языка в целом, в том числе и в плане диахронии. Я согласен с В. М. Иллич-Свитычем в том, что к ностратическим относятся, по крайней мере, следующие языковые семьи: картвельская, афразийская, индоевропейская, урало-юкагирская, эламо-дравидийская и алтайская.

Обратимся теперь к фонологии. В 1972—1973 гг. советские ученые Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов предложили радикальный пересмотр праиндоевропейской системы смычных [9]. В соответствии с их реконструкцией, праиндоевропейская система смычных характеризовалась трехчленным противопоставлением «глоттализированные — глухие (придыхательные) — звонкие (придыхательные)». В новой реконструкции придыхание рассматривается как недифференциальный признак и соответствующие фонемы могут реализоваться в виде непридыхательных аллофонов. Аналогичную гипотезу выдвинул примерно в то же время П. Хоппер.

Эта реконструкция открывает новые возможности для сравнения праиндоевропейского с другими ностратическими языками, в особенности с пракартвельским и праафразийским, каждый из которых характеризуется аналогичным трехчленным противопоставлением. Естественнее всего было бы предположить, что глоттализированные смычные, постулируемые Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым для праиндоевропейского, соответствуют глоттализированным смычным в пракартвельском и праафразийском, в то время как глухие смычные соответствуют глухим смычным, а звонкие — звонким. Это, однако, противоречит соответствиям, предложенным В. М. Иллич-Свитычем, который считал, что глоттализированные смычные пракартвельского и праафразийского соотносятся с глухими смычными (в традиционной реконструкции) праиндоевропейского, глухие смычные указанных двух семей — со звонкими смычными праиндоевропейского и, наконец, звонкие смычные — со звонкими придыхательными. Таким образом, В. М. Иллич-Свитыч реконструировал праностратический по модели картвельского и афразийского с их трехчленным противопоставлением «глоттализированные — глухие — звонкие».

Ошибка, допущенная В. М. Иллич-Свитычем, заключается в том, что он попытался отождествить глоттализированные смычные пракартвельского и праафразийского с простыми глухими праиндоевропейского. В его реконструкции глоттализированные смычные становятся наименее маркированным элементом праностратической системы смычных. Реконструкция В. М. Иллич-Свитыча противоречит, таким образом, типологическим данным, в соответствии с которыми глоттализированные смычные всегда являются наиболее маркированными членами иерархии.

В результате ошибочного отождествления пракартвельских и праафразийских глоттализированных смычных с глухими смычными праиндоевропейского В. М. Иллич-Свитыч был вынужден реконструировать праностратические формы на основании теоретических посылок, совершенно не подтверждаемых материалом отдельных ностратических языков. А как же быть с теми, приводимыми В. М. Иллич-Свитычем примерами, которые, на первый взгляд, служат доказательством предложенных им соответствий? Некоторые из них допускают альтернативные объяснения, другие — сомнительны с семантической точки зрения и должны быть отвергнуты. За вычетом такого рода примеров остается чрезвычайно мало параллелей, подтверждающих его теорию. Если же сопоставить эти оставшиеся примеры В. М. Иллич-Свитыча с м а с с о в ы м и к о н т р

примерами, доказывающими соответствие глоттализированных смычных в картвельском и афразийском аналогичным звукам (звонким смычным в традиционной реконструкции) в индоевропейском, то и эти немногочисленные параллели окажутся сомнительными.

4. Достижения в области изучения индоевропейской фонологии. Младограмматическая реконструкция праиндоевропейской фонологической системы, построенная в строгом соответствии с постулатом о том, что фонетические законы не знают исключений, характеризовалась большим числом смычных и крайне скудным инвентарем фрикативных. Реконструкция системы смычных ориентировалась на древнеиндоарийский: постулировалось четырехчленное противопоставление (1) глухих, (2) глухих придыхательных, (3) звонких и (4) звонких придыхательных [10]:

	1	2	3	4
Лабialsные:	p	ph	b	bh
Дентальные:	t	th	d	dh
Палатальные:	k̂	kĥ	ĝ	gĥ
Велярные:	q	qh	g	gh
Лабиевелярные:	q ^u	q ^u h	g ^u	g ^u h

Кроме того, младограмматики реконструировали пять кратких и пять долгих гласных, а также редуцированную гласную, так называемую «schwa рrimum», чередовавшуюся с так называемыми «исконными» долгими гласными. Постулировался также целый набор дифтонгов. Наконец, система содержала полугласные *y и *w, ряд носовых и плавные *l и *r. Носовые и плавные могли функционировать и как слогаобразующие, и как неслогаобразующие в зависимости от окружения.

Праиндоевропейские гласные подвергались различным чередованиям, частично обусловленным местом ударения в слове. Эти чередования гласных служили показателями разного рода грамматических процессов. Наиболее распространенным было чередование *e и *o в данном слого. Постулировалось также чередование гласных продленной ступени, нормальной ступени и редуцированной и/или нулевой ступени.

Младограмматики реконструировали в праиндоевропейском глухие придыхательные на основании чрезвычайно немногочисленных и отчасти противоречивых лексических соответствий между индоиранским, армянским и греческим. В других и.-е. языках глухие придыхательные и простые глухие смычные получили аналогичную трактовку, за исключением славянского, где *kh > x. В нынешнем столетии большинство лингвистов пришло к выводу о том, что глухие придыхательные не могут быть реконструированы для и.-е. праязыка и являются вторичными образованиями в отдельных языках. В частности, было показано, что во многих случаях глухие придыхательные могут быть убедительно возведены к сочетанию глухого смычного с последующим ларингалом. Устранение из реконструкции глухих придыхательных привело к построению системы смычных, характеризующейся трехчленным противопоставлением (1) глухих смычных, (2) звонких смычных и (3) звонких придыхательных. Такая реконструкция ставит проблему типологического характера, поскольку при исследованиях огромного количества языков мира не обнаружилось систем, в которых звонкие придыхательные противопоставлялись бы парам вида «непридыхательный глухой смычный/непридыхательный звонкий смычный» при отсутствии в системе соответствующих глухих придыхательных.

С традиционной реконструкцией связан еще целый ряд серьезных

проблем. Во-первых, большинство стандартных руководств по индоевропеистике отмечает тот факт, что существует крайне мало (или вообще ни одного) бесспорных примеров звонкой билабиальной смычной *b, реконструируемой для праиндоевропейского. Низкая частотность (или, возможно, полное отсутствие) этой фонемы не может получить удовлетворительного объяснения в рамках традиционной концепции. Другая проблема связана с тем обстоятельством, что традиционные звонкие смычные редко встречаются в словоизменительных аффиксах или в местоимениях. Наконец, еще одна проблема связана с необъясненным запретом на совместную встречаемость двух звонких смычных в пределах корня.

Именно в поисках решения указанных проблем Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов и П. Дж. Хоппер пришли в начале 70-х годов к выводу о том, что звонкие смычные традиционной реконструкции в действительности могли быть глоттализированными. Опираясь на типологические наблюдения, они заметили, что серия звонких смычных обнуляется целый ряд признаков, характерных для глоттализированных. Кроме того, Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов предположили, что традиционные глухие смычные могут быть переинтерпретированы как глухие придыхательные; однако серия звонких придыхательных была сохранена в прежнем виде. В новой реконструкции придыхание рассматривается как недифференциальный признак и соответствующие фонемы могут реализоваться в виде непридыхательных аллофонов. Эти модификации позволяют предложить типологически достоверные решения упомянутых выше проблем, а именно: (А) при переинтерпретации традиционных глухих смычных как глухих придыхательных не возникает противоречия с данными типологии; (В) переинтерпретация традиционных звонких смычных как глоттализированных легко объясняет низкую частотность звонкого билабиального смычного (в традиционной реконструкции; в новой реконструкции ему соответствует билабиальный эктивный), т. к. билабиальный член системы всегда характеризуется низкой частотностью (нередко соответствующая фонема вообще отсутствует) в засвидетельствованных языках с эктивными; (С) в таких языках эктивные обычно не встречаются в словоизменительных аффиксах и местоимениях; (D) многие языки с эктивными характеризуются запретом на совместную встречаемость двух эктивных в пределах корня. Кроме того, модификации, предложенные Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Ивановым и П. Дж. Хоппером, позволяют выявить общие принципы, лежащие в основе закона Грассмана и закона Бартоломея. Следует отметить, что гипотеза Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванова и П. Дж. Хоппера нашла широкую поддержку среди индоевропеистов.

В 1878 г. юный Ф. де Соссюр попытался показать, что так называемые «исконные» долгие гласные следует возводить к сочетанию кратких гласных с последующими «сонантическими коэффициентами». В 1927 г. Е. Курилович и А. Кюни независимо друг от друга доказали, что рефлекссы соссюрских «сонантических коэффициентов» сохранились в хеттском. На основании этого для праиндоевропейского был реконструирован ряд согласных фонем, обычно называемых «ларингалами». Е. Курилович, в частности, реконструировал четыре ларингала, и именно его концепции «ларингальной теории» следует настоящая работа. Ларингалам могут быть приписаны следующие фонетические значения:

H_1 = глоттальный смычный

H_2 = глухой и звонкий разноразноартикулируемые фарингальные/ларингальные фрикативные

H_3 = глухой и звонкий велярные фрикативные

H_4 = глухой глоттальный фрикативный

На основе сказанного, праиндоевропейскую фонологическую систему можно реконструировать следующим образом:

Шумные:						
	p^h/p	t^h/t	k^h/k	K^{wh}/k^w		
	b^h/b	d^h/d	g^h/g	g^{wh}/g^w		
	(p')	t'	k'	k'w		
		s				
Ларингалы:		H_1	H_2	H_3	H_4	
Носовые и плавные:		m/ṃ	n/ṅ	l/ḷ	r/ṛ	
Глайды:				y	w	
Гласные:	e	o	a	i	u	
	ē	ō	ā	i	ū	

5. Пракартвельская фонологическая система. Пракартвельский имел богатую систему смычных, аффрикат и фрикативных. Каждая серия смычных и аффрикат характеризовалась трехчленным противопоставлением (1) глухих придыхательных, (2) звонких и (3) глоттализированных. Т. В. Гамкрелидзе и Г. Мачавариани [11] реконструируют три серии аффрикат и фрикативных: переднюю, среднюю и заднюю; однако К. Х. Шмидт [12] реконструирует только две. Данная статья, как и работа Г. А. Климова [13], следует реконструкции Т. В. Гамкрелидзе и Г. Мачавариани.

Пракартвельский имел также ряд сонантов, которые могли функционировать и как слогаобразующие, и как неслогаобразующие в зависимости от окружения. Система отличается разительным сходством с праиндоевропейской реконструкцией.

Для пракартвельского обычно реконструируются три кратких и три долгих гласных. Как и в праиндоевропейском, гласные подверглись различным аблаутным изменениям. Эти чередования служили показателями разного рода грамматических процессов. Наиболее распространенным было чередование *e и *a в данном слоге. Существовало также чередование гласных продленной ступени, нормальной ступени и редуцированной и/или нулевой ступени.

Пракартвельская фонологическая система может быть реконструирована следующим образом:

Шумные:						
p^h	t^h	c^h	c^h_1	\check{c}^h	k^h	q^h
b	d	ḡ	ḡ ₁	š	g	G
p'	t'	c'	c' ₁	č'	k'	q'
		s	s ₁	š	x	h
		z	z ₁	(z)	γ	
Сонанты:						
m/ṃ	n/ṅ	l/ḷ	r/ṛ	y/i	w/u	
Гласные:		e, ē	o, ō	a, ā		

6. Праафразийская фонологическая система. Существует еще много неясностей в реконструкции праафразийской фонологической системы. В целом я следовал концепции Мартине [14], Коэна [15] и Дьяконова [16], хотя и внес небольшие поправки, исходя из результатов своих собственных исследований.

Одна из наиболее примечательных особенностей афразийского консонантизма — система триад смычных и фрикативных: каждая серия (за исключением латеральных аффрикат) характеризуется трехчленным противопоставлением (1) глухих придыхательных, (2) звонких и (3) глоттализированных (т. е. экзистивных). В серии латеральных аффрикат звонкий член, видимо, отсутствовал. Другой важной особенностью является наличие глоттального смычного, глухого глоттального фрикативного и звонкого и глухого фарингальных фрикативных. Возможно, в праафразийском существовала также серия поствелярных.

По мнению Дьяконова [17], праафразийский имел линейную вокалическую систему *ə и *a, а также серию слоговых сонантов. Я склонен считать, что данные несемитских афразийских языков не подтверждают реконструкцию слоговых сонантов в праафразийском. Долгих гласных в праафразийском, по-видимому, не было.

Праафразийская фонологическая система может быть реконструирована приблизительно следующим образом:

Шумные:									
p ^h	t ^h	c ^h	tʰ ^y	tʰ	kʰ ^y	k ^h	k ^{wh}		
b	d	ʒ	d ^y		g ^y	g	g ^w		
pʻ	tʻ	cʻ	tʻ ^y	tʻ	kʻ ^y	kʻ	kʻ ^w	ʔ	
f		s	ʃ				h	h	
							ç		
Глайды, носовые и плавные:									
w	y	m	n	ŋ				l	
Гласные:									
					ə	a			

7. Структура корня в афразийском. Необходимо сделать некоторые разъяснения по поводу принимаемых мною исходных посылок относительно структуры корня в праафразийском ввиду решающего значения этого вопроса для обоснования лексических соответствий между афразийским и другими языковыми семьями, анализируемыми в данной работе.

Прежде всего процитирую полностью комментарии И. М. Дьяконова по поводу структуры афразийского корня в его письме к Третьему международному семито-хамитскому конгрессу, опубликованном в материалах конгресса [16, с. 1—2]: «Последний выдвинутый недавно аргумент в пользу сохранения термина „хамитский“ — это гипотеза, по которой хамитские корни главным образом двухконсонантны, а семитские — трехконсонантны. Наша работа над „Сравнительно-историческим словарем афразийских языков“ (СИСА) не оставила и тени сомнения в ошибочности этой гипотезы. Общеафразийские корни в принципе двухконсонантны; большинство из них стали трехконсонантными либо за счет редупликации второго согласного корня, либо за счет добавления реального или фиктивного „слабого“ согласного (образующего корни *mediae infirmae* или *tertiaae infirmae*); выбор между образованием вторичной основы типа *secundae geminatae*, *mediae infirmae* или *tertiaae infirmae* носит, по-видимому, непредсказуемый характер (т. е. эти разновидности корня являлись алломорфами на праафразийском уровне). Еще один способ образования вторичных корней хорошо известен из праиндоевропейского — это добавление к корню суффиксального (очень редко префиксального) „дополнительного“ согласного. Примерно в 90% случаев (по крайней мере, в обработанной нами части словаря) так называемые „трехконсонантные корни“ с большой степенью достоверности могут быть возведены к сочетаниям хорошо засвидетельствованных двухкон-

сонантных корней с расширителями, использовавшимися для модификации основного значения двухконсонантного корня. Следует отметить, что биконсонантные корни с расширителями хорошо засвидетельствованы не только в семитском, но и в кушитском, берберском и египетском, хотя и несколько более редки в чадском и некоторых кушитских языках. Причины этого явления следующие: (1) утрата внешней флексии, обусловившая позднее утрату конечных согласных основы, и (2) утрата некоторых прасемитских фонем в более поздних языках». Я полностью согласен с комментариями Дьяконова.

Таким образом, в настоящее время нет никаких оснований сомневаться в том, что третий консонантный элемент прасемитского корня, будь то инфикс или суффикс, в подавляющем большинстве случаев просто не являлся частью корня на праафразийском уровне и исходная структура корня не отличалась сколько-нибудь существенным образом от праиндоевропейской.

8. Прауральская фонологическая система. В отношении прауральского консонантизма ученые к настоящему времени пришли к единому мнению. В начале слова прауральский допускал следующие звуки: *p-, *t-, *k-, *č-, *c^y-, *s-, *s^y-, *š-, *š^y-, *δ^y-, *y-, *w-, *l-, *l^y-, *r-, *n^y-, *i^y-, *m-. В середине слова в интервокальной позиции встречались *p-, *-t-, *-k-, *-č-, *-c^y-, *-s-, *-s^y-, *-š-, *-γ-, *-δ-, *-δ^y-, *-y-, *-w-, *-l-, *-l^y-, *-r-, *-η-, *-nk-, *-ηt-, *-n-, *-nt-, *-n^y-, *-m-, *-mt-, *-mp-. Ср. [18].

Есть еще много неясностей в реконструкции прауральского вокализма. Настоящая работа следует реконструкции, предложенной К. Редеем в новом этимологическом словаре уральских языков [19], который в настоящее время выходит отдельными выпусками.

Прауральский консонантизм может быть реконструирован следующим образом:

p	t		č	c ^y	k
			δ	δ ^y	γ
		s	s ^y	š	š ^y
m	n			n ^y	ŋ
	r	l		l ^y	
w				y	

9. Прадравидийская фонологическая система. В начале слова в прадравидийском встречались только глухие смычные; такова до сих пор ситуация в тамильском. На основании рефлексов в южнодравидийских языках и телугу для прадравидийского реконструируется ряд альвеолярных, отличных от дентальных и ретрофлексных. Характерный признак прадравидийского консонантизма — отсутствие сибилантов. В середине слова в прадравидийском противопоставлялись геминаты (в том числе сочетания типа «носовой + смычный») и негеминированные согласные. В начале и в середине слова в сочетании с другими смычными *p-, *t-, *k- и *c- были глухими; в интервокальной позиции и перед носовыми они озвончались. Геминаты были глухими.

В прадравидийском имелось пять кратких и пять долгих гласных, а также сочетания *au и *av.

Приводимая ниже реконструкция близка к предложенной К. Звелебилем [20]; я, однако, следовал Т. Бэрроу и М. Б. Эмено [21] в реконструкции альвеолярного в виде *t, а не *t̥, даже вопреки данным отдельных дравидийских языков, свидетельствующих о прадравидийском /t/.

Причиной тому является тот факт, что фонема *t соответствует /r/ в близкородственном эламском (хотя здесь остается некоторая свобода интерпретации), равно как и в других ностратических языках:

p-	t-			c-	k-
-p-	-t-	-r-	-t-	-c-	-k-
-pp-	-tt-	-rr-	-tt-	-cc-	-kk-
-mp-	-nt-	-nr-	-nt-	-nc-	-nk-
-p(u)	-t(u)	-r(u)	-t(u)	-c(u)	-k(u)
m	n		ŋ	ñ	
-mm-	-nn-	-n n-	-ññ-		
v-	-r	-l	-r	y	
-v-	-r-	-l	-r-	-y-	
			-l		
			-l-		
-vv-	-ll-	-ll-	-yy-		
(-v)					
	e	o	a	i	u
	e	ō	ā	ī	ū

10. Праалтайская фонологическая система. Как отмечал М. Рулен [4, с. 128], «изучение алтайской языковой семьи имело долгую и бурную историю, и даже сегодня среди специалистов существуют значительные разногласия по вопросу о том, какие языки к ней принадлежат». Я буду включать в алтайскую языковую семью следующие группы: тюркскую, монгольскую и тунгусо-маньчжурскую (но не корейскую, айскую и японско-рюкюскую, которые, с моей точки зрения, следует рассматривать отдельно).

Что касается праалтайской фонологии, то я следую реконструкциям, предложенным Н. Поппе [22]. Предполагается, что в праалтайском смычные и аффрикаты были противопоставлены по звонкости, но, как отмечал Н. Поппе [22, с. 9—10], в действительности, возможно, существовало противопоставление между глухими придыхательными и глухими непридыхательными смычными и аффрикатами. Совершенно другая реконструкция предложена В. М. Иллич-Свитычем [7, т. I, с. 147—156], который предполагал существование трехчленного противопоставления (1) глухих придыхательных, (2) глухих и (3) звонких. В начале слова не встречались ни плавные, ни веллярные носовые. Праалтайский имел богатую систему долгих и кратких гласных.

Праалтайская фонологическая система может быть реконструирована следующим образом:

	p	t	č	k					
	b	d	ž	g					
		s							
	m	n	n ^y	-ŋ-					
		-l-	-r-						
		-l ^y	-r ^y -						
			y						
a	o	u	i	e	é	ö	ü	ĩ	
ā	ō	ū	ī	ē	ē	ō	ū	ī	

11. Шумерская фонология. В серии недавних работ, оставшихся в рукописи, К. Буассон исследовал лексические соответствия между шумерским и другими языками, главным образом, нило-сахарскими и так называемыми «ностратическими». Буассон тщательно избегал скоропалительных выводов о возможном родстве шумерского с другими языка-

ми или языковыми семьями на основании собранных им данных. Однако обнаруженные им лексические параллели между шумерским и ностратическими языками, в особенности дравидийскими, хотя и немногочисленны, выглядят весьма многообещающе и позволяют установить предположительные фонетические соответствия между шумерским и другими ностратическими языками.

Шумерский клинописный силлабарий различал гласные *a, e, i, u* и согласные *b, d, dr, g, ġ* (вероятно, велярный носовой), *h, k, l, m, n, p, r, s, š, t, z*. Возможно, существовали также соответствующие долгие гласные. В начале слова не встречались сочетания согласных, а конечные согласные, в особенности *t, d, k, g, m, n, r*, часто опускались на письме, а это создает проблемы при установлении формы слова. В середине слова согласные обычно подвергались ассимиляции. Наконец, традиционная транслитерация отражает противопоставление смычных по звонкости. Однако в действительности противопоставление могло существовать между глухими придыхательными и глухими непридыхательными смычными.

Шумерский корень был обычно односложным; CV, VC и, чаще всего, SVC. Не существовало различия между глагольными и именными корнями; так, *duġ* могло означать и «хороший», и «быть хорошим».

12. Праностратическая фонологическая система. Праностратический имел богатую систему смычных и аффрикат. Каждая серия смычных и аффрикат характеризовалась трехчленным противопоставлением между (1) глухими придыхательными, (2) звонкими и (3) глоттализированными.

Для праностратического может быть реконструировано три кратких гласных: **i, *a, *u*, если добавить *e*, то получим систему шумерского, который наиболее консервативен в отношении вокализма. Эти гласные подвергались, вероятно, значительному аллофонному варьированию в праностратическом. Передние и задние гласные верхнего подъема, видимо, имели варианты более низкого подъема, в то время как средние гласные нижнего подъема могли иметь варианты более высокого подъема. В результате перестройки системы, фонологизации и развития этих аллофонных вариантов в большинстве ностратических языков возникли явления аблаута и гармония гласных. С другой стороны, в афразийском аллофоны верхнего подъема совпали в **a*, а аллофоны нижнего подъема — в **a*. Остается неясным, существовали ли в праностратическом фонологически долгие гласные, хотя материал, похоже, свидетельствует против такого предположения.

Праностратическая фонологическая система может быть предположительно реконструирована в следующем виде:

Шумные:

p ^h	t ^h	c ^h	t ^{yh}	tl ^h	k ^{yh}	k ^h	k ^{wh}	q ^h
b	d	z	d ^y		g ^y	g	g ^w	G
p'	t'	c'	t' ^y	tl'	k' ^y	k'	k' ^w	q' q' ^w
		s	s ^y				h	ʔ
							ç	h

Глайды, носовые и шлавные:

w	y	m	n	r	l
			n ^y	r ^y	l ^y

Гласные: i/e a/e u/o

Палатализованные велярные реконструируются только на основании рефлексов в афразийском, и их реконструкция на праностратическом

уровне вызывает поэтому серьезные сомнения. Я был бы склонен предположить, что афразийские рефлексы — инновация, связанная с палатализацией простых велярных перед передними гласными, однако собранный мною к настоящему времени материал слишком противоречив, чтобы считать это предположение сколько-нибудь достоверным.

13. Некоторые примеры. Ниже используются следующие сокращения: ПН — праностратический, ПК — пракартвельский, ПАА — праафразийский, ПИЕ — праиндоевропейский, ПУ — прауральский, ПФУ — прафинно-угорский, ПД — прадравидийский, ПЭД — праэламо-дравидийский, ПА — праалтайский, Ш — шумерский.

1. ПН **bur-/*bor-* «бурить, пронзать»: ПАА **b̄ar-/*bar-* «бурить, пронзать»; ПИЕ **b^hor-/*b^hr̄-* «бурить, пронзать»; ПУ **pura* «бур, сверло»; ПД **pur-* «бурав, бур; бурить, сверлить»; ПА **bur-* «бурить отверстие»; Ш *būr* «пронзить, вламываться в (дом)».
2. ПН **biw-/*bow-* «становиться; подниматься, возникать, расти»: ПАА **b̄aw-/*baw-* «расти»; ПИЕ **b^hewH-/*b^howH-/*b^huH-* «становиться; подниматься, возникать, расти»; ПУ **riwe* «дереву»; ПД **r̄ū-* «расцветать, цвести».
3. ПН **p^hil̄-/*p^hel̄-* «расщеплять, раскалывать»: ПАА **p^həl-/*p^hal-* «расщеплять, раскалывать»; ПИЕ **(s)p^hel-* «расщеплять, раскалывать»; ПУ **pil̄^{va}-* «расщеплять, раскалывать», ПД **p̄il̄-* «расщеплять, раскалывать, лопнуть».
4. ПН **p^har-/*p^her-* «лететь, бежать»: ПК **p^hr-in-* «лететь»; ПАА **p^har-/*p^har-* «лететь, бежать»; ПИЕ **p^her-/*p^hor-/*p^hr̄-* «лететь, бежать»; ПД **par-* «лететь, бежать».
5. ПН **dan-/*den-* «бежать, течь»: ПК **den-/*din-* «бежать, течь», **d̄n-* «растапливать»; ПИЕ **d^hen-/*d^hon-* «бежать, течь».
6. ПН **dun̄-/*don̄-* «резать, отрезать, раскалывать, расщеплять»: ПАА **d̄an-/*dan-* «резать, отрезать, раскалывать»; ПИЕ **d^hen-/*d^hon-/*d^hn̄-* «резать, отрезать, раскалывать»; ПД **tun̄-* «резать, разъединять, разлучать; быть разрезанным, разъединенным, разлученным»; Ш *dun* «копать (мотыгой)».
7. ПН **t^har̄-/*t^her̄-* «тереть, стирать; стертый, слабый, хрупкий»: ПАА **t^har-/*t^har-* «слабый, хрупкий, тонкий»; ПИЕ **t^her-/*t^hor-/*t^hr̄-* «тереть, стирать; слабый, хрупкий, тонкий»; ПД **tar-* «быть вытертым, стертым; стирать, молот, вытирать».
8. ПН **t^hi-/*t^he-* «ты, тебя»: ПАА **t^hə-/*t^ha* «ты, тебя»; ПИЕ **t^hī,* **t^he-* «ты, тебя»; ПУ **tinä/*tūna* «ты, тебя»; Ш *za. e* «ты»; нивх. *t^hi* «ты».
9. ПН **t^hak'-/*t^hek'-* «трогать, толкать, ударять»: ПАА **t^hək'-/*t^hak'-* «трогать, толкать, ударять»; ПИЕ **t^hak'-* «трогать, ударять, толкать, гладить»; ПД **tak-* «трогать, соприкасаться, бить»; Ш *tag* «трогать».
10. ПН **t'ar-/*t'er-* «рвать, раздирать, резать, разъединять»: ПИЕ **t'er-/*t'or-/*t'r̄-* «рвать, раздирать, сдирать»; ПД **tar-* «резать, отрезать, обрубить, сдирать», **ter-* «разбивать на куски, расщеплять, резать, отрезать»; Ш *dar* «расщеплять».
11. ПН **t'añ-/*t'eñ-* «расщеплять»: ПК **t'er-* «ломать»; ПАА **t'əñ-/*t'añ-* «ломать, разбивать»; ПИЕ **t'eA-* «раскалывать на куски, разделять».
12. ПН **t'ay-/*t'ey-* «светить, сверкать, быть ярким, блестеть, пылать»: ПАА **t'əy-/*t'ay-* «быть хорошим, милым, приятным, радостным, счастливым, желанным»; ПИЕ **t'ey-/*t'oy-/*t'i-* «светить, быть ярким»: ПД **tī(y)-* «быть сгоревшим, обугленным, спаленным».
13. ПН **d^yar-/*d^yer-* «крепко держать»: ПАА **d^yar-/*d^yar-* «крепко дер-

- жать; рука»; ПИЕ **d^her-*/**d^hor-*/**d^hg-* «крепко держат в руке, под-
держивать».
14. ПН **d^yi-*/**d^ye-* — основа указательного местоимения: ПАА **d^yə-*/**d^ya-* —
основа указательного местоимения; ПИЕ **-d^he* — суффицируемая час-
тица; ПУ **c^ye*, **c^yi* — основа указательного местоимения.
 15. ПН **t^yum-*/**t^yom-* «ударять, бить, ошеломлять»: ПАА **t^yəm-*
/**t^yam-* «ударять, бить, ошеломлять»; ПИЕ **t^hem-*/**t^hom-* «ударять,
бить, ошеломлять»; ПД **cōm-* «вянуть; блекнуть; опьяняться; сму-
щаться, приходить в изумление»; (?) Ш *šum* «убивать».
 16. ПН **t^yar-*/**t^yer-* «резать, расщеплять»: ПК **č^{er-}*/**č^{ar-}*/**c^{r-}* «резать»;
ПАА **t^yar-*/**t^yar-* «резать, расщеплять»; ПФУ **c^yärke-* «раскалывать,
разъединять»; ПД **car-* «раздирать, рвать, расщеплять».
 17. ПН **t^yul-*/**t^yol-* «затмевать, покрывать, затемнять»: ПАА **t^yəl-*
/**t^yal-* «затмевать, покрывать, затемнять»; ПИЕ **t^{el-}*/**t^{ol-}* «покры-
вать, натягивать»; Ш *dul* «покрывать».
 18. ПН **zam-*/**zem-* «дуть, играть (на духовом инструменте)»: ПАА
**zəm-* **zam-* «дуть, играть (на духовом инструменте)»; ПИЕ **d^hem*
/**d^hom-* **d^hm-* «дуть, играть (на духовом инструменте)».
 19. ПН **zim-*/**zem-* «быть кислым, горьким, едким, острым»: ПК **zim-*
«соль», **zim-ar-* «уксус»; ПФУ **čemz* «кислый; скисать».
 20. ПН **c^huk^{h-}*/**c^hok^{h-}* «сгибать, поворачивать, вертеть, крутить; за-
крывать; покрывать; ПАА **c^hək^{h-}*/**c^hak^{h-}* «сгибать, поворачивать,
вертеть, крутить; закрывать; покрывать»; ПИЕ **t^hok^{h-}* «сгибать,
поворачивать, вертеть, крутить»; ПУ **čukka-* «сгибать, крутить, по-
ворачивать; закрывать».
 21. ПН **cⁱil-*/**c^{el-}* «растягиваться, распространяться, превосходить; быть
богатым, процветать»: ПАА **cⁱəl-*/**cⁱal-* «растягиваться, распростра-
няться, превосходить; быть богатым, процветать»; ПД **cel-* «богатст-
во, процветание».
 22. ПН **t^lunk^{h-}*/**t^lonk^{h-}* «цеплять, вешать; висящий, качающийся;
крюк, вешалка»: ПАА **t^lənk^{h-}*/**t^lank^{h-}* «цеплять, вешать; крюк,
вешалка»; ПИЕ **k^homk^{h-}* «цеплять, вешать; крюк, вешалка»; ПД
**cuñk-* «свисающий или качающийся предмет».
 23. ПН **t^lil^{y-}*/**t^lel^{y-}* «видеть»: ПК **xel-*/**xil-* «открывать глаза, видеть»;
ПУ **šyl^ymä* «глаз».
 24. ПН **t^lim-*/**t^lem-* «соединять, связывать, объединять вместе»: ПАА
t^ləm-*/t^lam-* «соединять вместе»; ПИЕ **k^hem-*/**k^hom-*/**k^hm-* «соеди-
нить вместе, объединять»; ПУ **šymä* (**š^yümä*) «клей».
 25. ПН **gub-*/**gob-* «высшая точка, верх, вершина»: ПАА **gəb-*/**gab-*
«высшая точка, вершина»; ПИЕ **g^heb^{h-}* «вершина, верх»; ПД **kor-*
«верх, вершина, гребень»; (?) Ш *gub* «ставить, воздвигать».
 26. ПН **gat^{h-}*/**get^{h-}* «брать (рукой), хватать»: ПАА **gət^{h-}*/**gat^{h-}* «брать»;
ПИЕ **g^het^{h-}*/**g^hot^{h-}*, (с носовым инфиксом) **g^he-n-t^{h-}* «брать (рукой)»;
ПФУ **käte* «рука»; ПД **kat-* «хватать», **ketkä* **kau* «рука».
 27. ПН **k^hap^{h-}* «брать, хватать; рука»: ПАА **k^həp^{h-}* **k^hap^{h-}* «брать, хва-
тать; рука»; ПИЕ **k^hap^{h-}* «брать, хватать»; ПФУ **karрз* «хватать,
сжимать»; ПД **kar-* «ощущать, трогать»; ПА **кана-* «хватать».
 28. ПН **k^hul-*/**k^hol-* «слышать»: ПИЕ **k^hl-ew* **k^hl-ow-*/**k^hl-u-* «слышать»;
ПУ **kule-* «слышать»; ПД **kēl-* «слышать, слушать».
 29. ПН **k^hur-*/**k^hor-* «кровь»: ПИЕ **k^hr-ew-N*/**k^hr-u-N-* «кровавый, сы-
рой»; ПД **kuruti* «кровь»; Ш *gurun*, *kurun* «кровь».
 30. ПН **k'an-*/**k'en-* «получать, приобретать, обладать, создавать»: ПАА
k'an-*/k'an-* «получать, приобретать, обладать, создавать»; ПИЕ

- *k'en-/*k'on-/*k'ŋ- «производить»; ПД *kanr «производить, рождасть; ребенок, детеныш».
31. ПН *k'alw-/*k'elw- «родственница со стороны мужа или жены»: ПИЕ *k'(e)lowV-/*k'(e)lōC- «сестра мужа»; ПФУ *käle-wz «жена брата, сестра мужа, сестра жены»; ПД *kal- «родственница со стороны мужа или жены»; ПА *kūlin «родственница со стороны мужа или жены».
32. ПН *k'il-/*k'el- «уменьшать»: ПК *k'el-/*k'l- «уменьшать»; ПАА *k'əl-/*k'al- «уменьшать; быть или становиться маленьким»; ПД *kil- «маленький».
33. ПН *g^yil-/*g^yel- «скользить, катиться»: ПАА *g'əl-/*g'al- «скользить, катиться»; ПИЕ *g^hl-ey-/*g^hl-oy-/*g^hl-i- «скользить, катиться»; ПФУ *kilz (*kūlz) «гладкий, скользкий».
34. ПН *wig^y-/*weg^y- «переносить, перевозить»: ПАА *wəg^y-/*wag^y- «переносить, взвешивать»; ПИЕ *weg^h-/*wog^h- «переносить, перевозить; взвешивать»; ПФУ *weye- или *wiye- «нести, переносить, перевозить».
35. ПН *k^{yh}il^y-/*k^{yh}el^y- «вставать, подниматься, всходить»: ПАА *k^{yh}əl-/*k^{yh}al- «поднимать»; ПИЕ *k^hel-/*k^hol-/*k^hl- «поднимать, возвышать»; ПД *kilar «вставать, подниматься».
36. ПН *k^yal- «лысый; голова»: ПАА *k^yal- «быть лысым; лысый; голова»; ПИЕ *k'al- «лысый; голова».
37. ПН *g^wan-/*g^wen- «вредить, портить»: ПАА *g^wən-/*g^wan- «вредить, портить»; ПИЕ *g^{wh}on-/*g^{wh}on-/*g^{wh}ŋ- «бить, убивать, ранить, повредить».
38. ПН *k^{wh}a-/*k^{wh}e- — основа вопросительного местоимения, *k^{wh}i-/*k^{wh}e- — основа относительного местоимения: ПАА *k^{wh}ə-/*k^{wh}a- — основа вопросительного местоимения; ПИЕ *k^{wh}e-/*k^{wh}o *k^{wh}i- — основа вопросительного и относительного местоимения; ПУ *ke-/*ki- — основа относительного местоимения; *ku-/*ko- — основа вопросительного местоимения; ПА *ka-, *ki- — основа вопросительного местоимения.
39. ПН *k^wir-/*k^wer- «высшая точка, вершина, пик»: ПАА *k^war-/*k^wor-/*k^wr- «холм, гора, пик»; ПА *kira «гребень холма».
40. ПН *k^wat'-/*k^wet'- «резать»: ПК (*k^wet'y-/*k^wat'y->) *k^wet'y-/*k^wat'y- «резать, отрезать, срезать»; ПАА *k^wət'-/*k^wat'- «резать»; ПИЕ (*k^wet'-/*k^wot'-> [регрессивная деглоттализация]) *k^{wh}et'-/*k^{wh}ot'- «точить, заострять»; ПД *katti «нож, режущий инструмент, бритва, меч», *kathk- «резать».
41. ПН *Gul-/*Gol- «сгиб, угол, край, долина, ущелье, овраг»: ПК *Gele «ущелье, овраг»; ПИЕ *g^hel-/*g^hol-/*g^hl- «край, долина»; ПФУ *kolz «полость, дыра; трещина, щель, скважина»; ПД *kolli «сгиб, долина, угол».
42. ПН *q'al-/*q'el- «шея, горло»: ПК *q'eli «шея, горло»; ПИЕ *k'el-/*k'ol-/*k'l- «шея, горло; глотать».
43. ПН *q^wul-/*q^wol- «ударять, вредить, ранить, убивать»: ПК *q^wel-/*q^wal-/*q^wl- «убивать»; ПАА *q^wəl-/*q^wal- «убивать, резать»; ПИЕ *k^wel-/*k^wol-/*k^wl- «ударять, убивать»; ПУ *kole- «умирать»; ПЭД *kol- «убивать».
44. ПН *q^wur-/*q^wor- «глотать; шея, горло»: ПК *q^war- «горло, глотка»; ПИЕ *k^wer-/*k^wor-/*k^wr- «глотать; шея, горло»; ПД *kural «шея, горло, дыхательное горло».
45. ПН *sam-/*sem- «быть похожим»: ПАА *səm-/*sam- «быть похожим»; ПИЕ *sem-/*som-/*smŋ- «похожий, подобный, тот же самый».

46. ПН **sun-/son-* «сухожилие, мускул»: ПИЕ **senHw-/sneHw/u-* «сухожилие, мускул»; ПУ **sone* «сухожилие, мускул».
47. ПН **nas^y-/nes^y-* «дышать, дуть»: ПАА **naš-/naš-* «дышать, дуть»; ПИЕ **nas-* «нос».
48. ПН **ʒal-/ʒel-* «быть высоким, возвышенным; подниматься вверх, всходить; на, сверху, на вершине, над, за»: ПАА **ʒal-/ʒal-* «быть высоким, возвышенным; подниматься вверх, всходить; на, сверху, на вершине, над, за»; ПИЕ **H₂el-* «над, выше, за»; ПУ **älz-* «поднимать».
49. ПН **ʒanĥ-/ʒenĥ-* «дышать, вдыхать, жить». ПАА **ʒanĥ-/ʒanĥ-* «дышать, вдыхать, жить»; ПИЕ **H₂enH₂-* «дышать, вдыхать, жить».
50. ПН **hang-/heng-* «сдавливать или сжимать; делать узким или ограниченным; душить; узкий, ограниченный; горло»: ПАА **həng-/hang-* «быть узким, ограниченным; горло»; ПИЕ **H₂eng^h-* «быть узким, душить»; ПД **anaĥk-, anaĥk-* «причинять боль, страдание; сжимать до малого объема, смирять», **aĥka-* «небо».
51. ПН **hant^h-/hent^h-* «перёд, передняя часть»: ПАА **hant^h-/hant^h-* «перёд, передняя часть»; ПИЕ **H₂ent^h-s* «перёд, передняя часть», **H₂ent^h-i* «перед (чем-л.), впереди».
52. ПН **har-/her-* «сокол, орел, ястреб»: ПАА **hər-/har-* «сокол, ястреб»; ПИЕ *H₃er-/H₃or-* «орел»; ПД **eruva* «орел, коршун».
53. ПН **ʔam(m)-/ʔem(m)-* «мать»: ПАА **ʔəm(m)-/ʔam(m)-* «мать»; ПИЕ **H₁am(m)-* «мать»; ПУ **emä* «мать»; ПД **am(m)a* «мать»; Ш *ama* «мать».
54. ПН **ʔarg-/ʔerg* «влезать, подниматься»: ПАА **ʔarg-/ʔarg-* «влезать, подниматься; поднимающийся»; ПИЕ **H₁erg^h-/H₁org^h-/H₁rg^h-* «влезать, подниматься»; ПД **ark-* «влезать, подниматься».
55. ПН **haw-/hew-* «стремиться, желать»: ПАА **həw-/haw-* «стремиться, желать»; ПИЕ **H₄ew-* «стремиться, желать»; ПД **āv-* «стремиться, желать».
56. ПН **ʔay-, ʔya-* — основа вопросительного или относительного местоимения: ПАА **ʔay(y)-* — основа вопросительного местоимения; ПИЕ **H₁yo-* — основа относительного местоимения; ПФУ **yo-* «кто, который»; ПД **yā-* — основа вопросительного местоимения; ПА **yā-* «кто, который».
57. ПН **wad-/wed-* «резать, ударять, убивать»: ПА **wəd-/wad-* «убивать, разрушать»; ПИЕ **wed^h-/wod^h-* «резать, ударять; убивать»; ПД **vejt-* «рассекать (мечом или топором), вредить, разрушать; ударять, бить, разрезать, ранить».
58. ПН **wat^h-/wet^h-* «увлажнять, мочить; вода»: ПИЕ **wet^h-/wot^h-/ut^h-* «увлажнять, мочить; вода»; ПУ **wete* «вода».
59. ПН **wal^y-/wel^y-* «поворачиваться, вращаться»: ПАА **wəl-/wal-* «поворачиваться, вращаться, кружиться»; ПИЕ **wel-/wol-/wl-* «поворачиваться, вращаться»; ПД **val-* «вращаться вокруг».
60. ПН **man-/men-* «оставаться»: ПАА **mən-/man-* «оставаться»; ПИЕ **men-/mon-* «оставаться»; ПД **man-* «оставаться».
61. ПН **mi-/me-* — основа вопросительного местоимения: ПК **ma* — основа вопросительного местоимения; ПАА **mə-/ma-* — основа вопросительного местоимения; ПИЕ **me-, mo-* — основа вопросительного местоимения; ПУ **mi* — основа вопросительного и относительного местоимения; ПА **mi* — основа вопросительного местоимения; Ш *me-* — основа вопросительного местоимения.
62. ПН **mal-/mel-* «наполняться, быть полным, возрастать»: ПАА **məl-/mal-* «наполняться, быть полным»; ПИЕ **mel-/mol-/ml-* «много»;

ПД *mal- «изобиловать, быть полным, набухать, расширяться, воз-
растать».

63. ПН *mi-/*me- «я, меня»: ПК *me «я»; ПАА *mә-/*ma- (только в чад-
ском) — основа личного местоимения 1 л.; ПИЕ *me- — основа лич-
ного местоимения 1 л.; ПУ *minä/mäna «я, меня», *me «мы, нас»; ПА
*mi-, *ma- — основа личного местоимения 1 л.; Ш (эмесальский) me- —
основа личного местоимения 1 л.
64. ПН *mad-/*med- «мед»: ПИЕ *med^hw/u- «мед»; ПФУ *mete «мед»; ПД
*maṭtu «мед, сладкое питье».
65. ПН *nik^h-/*nek^h- «причинять ущерб, вредить, портить»: ПАА *nәk^h-/
*nak^h- «причинять ущерб, вредить, портить»; ПИЕ *nek^h-/*nok^h-
«причинять ущерб, вредить, портить»; ПФУ *nikkä- «толкать; ударять
о что-л.»; ПД *nek- «страдать».
66. ПН *na-/*ne- —основа личного местоимения 1 л.: ПАА *nә-/*na- —
основа личного местоимения 1 л.; ПИЕ *ne-/*no-/*n- — основа личного
местоимения 1 л. (двойственное и множественное число); ПД *nām(m)- —
основа личного местоимения 1 л.
67. ПН *na-/*ne-, *ni-/*ne-, *ni-/*no- — отрицательная частица: ПК
*ni — отрицательная частица; ПИЕ *ne, *n-, *ney — отрицательная
частица; ПУ *ne — отрицательная частица; Ш ni — отрицательный
префикс.
68. ПН *luk'-/*lok'- «собирать»: ПАА *lәk'-/*lak'- «собирать»; ПИЕ
*lek'-/*lok'- «срывать, собирать»; ПФУ *luke- «читать, считать».
69. ПИ *lag-/*leg- «класть, помещать»: ПК *lag- «класть, помещать»;
ПИЕ *leg^h-/*log^h- «класть, помещать, укладывать, ставить; лежать».
70. ПН *hur^y-/*hor^y- «царапать, скрести»: ПАА *hәr-/*hār- «царапать,
скрести, пахать»; ПИЕ *H₂er- «пахать»; ПД *ur- «царапать, вскапы-
вать, пахать».

14. Соответствия

ПН	ПК	ПАА	ПИЕ	ПУ	ПД	ПА	Ш
b-	b-	b-	b ^h /b-	p-	p-	b-	b-
-b-	-b-	-b-	b ^h /b-	-w-	-pp-/-vv-	-b-	-b-
p ^h -	p ^h -	p ^h -	p ^h /p-	p-	p-	p-	p-
-p ^h -	-p ^h -	-p ^h -	-p ^h /p-	-p-	-pp-/-v-	-p-/- b-	-p-
p'-	p'-	p'-	(p'-)	p-	p-	p-	b-
-p'-	-p'-	-p'-	(-p'-)	-p-	-p(p)-	-b-	-b-
d-	d-	d-	d ^h /d-	t-	t-	d-	d-
-d-	-d-	-d-	-d ^h /d-	-δ-	-t(+)	-d-	-d-
t ^h -	t ^h -	t ^h -	t ^h /t-	t-	t-	t-	t-
-t ^h -	-t ^h -	-t ^h -	-t ^h /t-	-t(t)-	-t(t)-	-t-	-t-
t'-	t'-	t'-	t'-	t-	t-	t-	d-
-t'-	-t'-	-t'-	-t'-	-t-	-t(t)-	-d-	-d-
d ^y -	ž-	d ^y -	d ^h /d-	c ^y -	c-	ž-	d-
-d ^y -	-ž-	-d ^y -	-d ^h /d-	-c ^y -	-c(c)-	-ž-/ d-	-d-
t ^y _h -	č ^h -	t ^y _h -	t ^h t-	c ^y -	c-	č-	š-
-t ^y _h -	-č ^h -	-t ^y _h -	-t ^h /t-	-c ^y -	-c(c)-	-č-	-š-
t ^y -	č'-	t ^y -	t'-	c ^y -	c-	č-	d-
-t ^y -	-č'-	-t ^y -	-t'-	-c ^y c ^y -	-c(c)-	-č-	-d-
s ^y -	š-	š-	s-	s ^y -	c-	s-	š-

ПН	ПК	ПАА	ПИЕ	ПУ	ПД	ПА	П
-s ^y -	-š-	-š-	-s-	-s ^y -	-c(c)-	-s-	-š-
ž-	ž1-	ž-	d ^h /d-	č-	c-	ž-	
-ž-	-ž1-	-ž-	-d ^h /d-	-č-	-c(c)-	-ž-/-	
c ^h -	c ^h 1-	c ^h -	t ^h /t-	č-	c-	č-	
-c ^h -	-c ^h 1-	-c ^h -	-t ^h /t-	-č-	-c(c)-	-č-	
c'-	c'1-	c'-	t'	č-	c-	č-	
-c'-	-c'1-	-c'-	-t'-	-č-	-c(c)-	-č-	
s-	s-	s-	s-	s-	c-	s-	s-
-s-	-s-	-s-	-s-	-s-	-c(c)-	-s-	-s-
tl ^h -	x-	-tl ^h -	k ^h /k-	š ^y -	c-		
-tl ^h -	-x-	-tl ^h -	-k ^h /k-	-š ^y -	-c-		
tl'-		tl'-	k'-	δ ^y -	t-	d-	
-tl'-		-tl'-	-k'-	-δ ^y -	-t(t)-	-d-	
g-	g-	g-	g ^h /g-	k-	k-	g-	g-
-g-	-g-	-g-	-g ^h /g-	-γ-	-k-	-g-	-g-
k ^h -	k ^h -	k ^h -	k ^h /k-	k-	k-	k-	k-
-k ^h -	-k ^h -	-k ^h -	-k ^h /k-	-k(k)-	-k(k)-	-k/-	-k-
						-g-	
k'-	k'-	k'-	k'-	k-	k-		g-
-k'-	-k'-	-k'-	-k'-	-k-	-k(k)-	-g-	-g-
g ^y -	g-	g ^y -	g ^h /g	k-	k-	g-	
-g ^y -	-g-	-g ^y -	-g ^h /g-	-γ-	-k-	-g-	
k ^{yh} -	k ^h -	k ^{yh} -	k ^h /k-	k-	k-	k-	
-k ^{yh} -	-k ^h -	-k ^{yh} -	-k ^h /k-	-k(k)-	-k(k)-	-k/-	
						-g-	
k' ^y -	k'-	k' ^y -	k'-	k-	k-	k-	
-k' ^y -	-k'-	-k' ^y -	-k'-	-k-	-k(k)-	-g-	
g ^w -	g ^w /u-	g ^w -	g ^{wh} /g ^w -	k-	k-	g-	gu-
-g ^w -	-g ^w /u-	-g ^w -	-g ^{wh} /	-γ-	-k-	-g-	-gu-
			g ^{wh} /				
k ^{wh} -	k ^h W/	k ^{wh} -	-k ^{wh} /k ^w -	k-	k-	k-	ku-
-k ^{wh} -	-k ^h W/-	-k ^{wh} -	k ^{wh} /	-k(k)-	-k(k)-	-k/-	-ku-
	u-		g ^w -			-g-	
k' ^w -	k' ^w /u-	k' ^w -	k' ^w	k-	k-	k-	gu-
-k' ^w -	-k' ^w /h-/ u-	-k' ^w -	-k' ^w -	-k-	-k(k)-	-g-	-gu-
G-	G-	G-	g ^h /g-	k-	k-		g-
-G-	-G-	-G-	-g ^h /g-	-γ-	-k-		-g-
q ^h -	q ^h -	q ^h -	k ^h /k-	k-	k-	k-	k-
-q ^h -	-q ^h -	-q ^h -	-k ^h /k-	-k(k)-	-k(k)-	-k/-	-k-
						-g-	
q'-	q'-	q'-	k'-	k-	k-	k-	g-
-q'-	-q'-	-q'-	-k'-	-k(k)-	-k(k)-	-g-	-g-
q' ^w -	q' ^w /u-	q' ^w -	k' ^w -	k-	k-	k-	gu-
-q' ^w -	-q' ^w /	-q' ^w -	-k' ^w -	-k-	-k(k)-	-g-	-gu-
	u-						
l-	l-	l-	l-	l-	l-		l-
-l-	-l-	-l-	-l-	-l-	-l-	-l-	-l-
-l ^y -	-l-	-l-	-l-	-l ^y -	-j-	-l ^y -	-l-
r-	r-	r-	r-	r-			r-

ПН	ПК	ПАА	ПИЕ	ПУ	ПД	ПА	Ш
-r-	-r-	-r-	-r-	-r-	-r-/r-	-r-	-r-
-r ^y -	-r-	-r-	-r-	-r-	-r ^y -	-r ^y -	
y-	y-/O-	y-	y-	y-	y-/O-	y-	
-y-		-y-	-y-	-y-	-y-	-y-	
w-	-w-	w-	w-	w-	v-/O-		
-w-	-w-	-w-	-w-	-w-	-v-	m-	m-
m-	m-	m-	m-	m-	m-	-m-	-m-
-m-	-m-	-m-	-m-	-m-	-m-		
n-		n-	n-	n-	n-		n-
-n-	-n-	-n-	-n-	-n-	-n-/n-	-n-	-n-
n ^y -		n-	n-	n ^y -		n ^y -	
-n ^y -		-n-	-n-	-n ^y -		-n ^y -	
?-	O-	-?-	H ₁ -	O-	O-	O-	
-?-	-O-	-?-	-H ₁ -	-O-	-O-	-O-	
h-	O-	h-	H ₄ -	O-	O-	O-	
-h-	-O-	-h-	-H ₄ -	-O-	-O-	-O-	
h̄-	x-	h̄-	H ₂ /H ₃ -	O-	O-	O-	h-
-h̄-	-x-	-h̄-	-H ₂ -/ -H ₃ -	-O-	-O-	-O-	-h-
c-	O-	c-	H ₂ /H ₃ -	O-	O-	O-	
-c-	-O-	-c-	-H ₂ -/ -H ₃ -	-O-	-O-	-O-	

ПН	ПК	ПАА	ПИЕ
i	i	ə	i, e
e (< a)	e, i	ə	e, a, e
u	u	ə	u, o
e (< i)	e	a	e
a	a, i	a	a, o, e
o (< u)	o	a	o
iy	iy	əy	iy, ī
ey (< ay)	ey, i	əy	ey, ay, i
uy	uy	əy	uy, ū
ey (< iy)	ey	ay	ey, ē
ay	ay, i	ay	ay, oy, i
oy (< uy)	oy	ay	oy, ō
iw	iw	əw	iw, i
ew (< aw)	ew, u	əw	ew, aw, u
uw	uw	əw	uw, ū
ew (< iw)	ew	aw	ew, ē
aw	aw, u	aw	aw, ow, u
ow (< uw)	ow	aw	ow, ō

ПН	ПУ	ПД	ПА	Ш
i	i, ü	i	i, ī	i
e (< a)	e	e	e	e
u	u	u	u, ū	u
e (< i)	e	e	e	e
a	a, ä	a	a	a
o (< u)	o	o, a	o, ö	u
iy	iy, üy	iy, ī	i, ī	i
ey (< ay)	ey, ē	ey, ī	ē; i, ī	i
uy	uy	uy, ī		
ey (< iy)	ey	ey, ē	ey; ē	
ay	ay, äy	ay, a	a; i, ī	a
oy (< uy)	oy	oy, ō		

ПН	ПУ	ПД	ПА	ПШ
iw	iw, üw	iv, ü		
ew(<aw)	ew	ev, ü		
uw	uw	uv, ü	u, ü	u
ew(<iw)	ew	ev		u
aw	aw, äw	av, ā	ō, ȝ	
ow(<uw)	ow, ȝ	ov, ȝ	ō, ȝ	

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Bomhard A. R.* Toward Proto-Nostratic: A new approach to the comparison of Proto-Indo-European and Proto-Afroasiatic. Amsterdam, 1984.
2. *Bomhard A. R.* Common Indo-European / Afroasiatic roots: Suppl. 1 // General linguistics. 1986. V. 26. N 4.
3. *Greenberg J. H.* Essays in linguistics. Chicago, 1957.
4. *Ruhlen M.* A guide to the world's languages. Stanford, 1987.
5. *Greenberg J. H.* Language in the Americas. Stanford, 1987.
6. *Buck C. D.* A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. Chicago, 1949.
7. *Иллич-Свитыч В. М.* Опыт сравнения ностратических языков (семито-хамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). М., 1971—1984.
8. *Dolgopolsky A.* On personal pronouns in the Nostratic languages // *Linguistica et Philologica. Gedenkschrift für Björn Collinder (1894—1983)* / Ed. by Gschwantler, O., Rédei K., Reichert H. Vienna, 1984.
9. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Ч. 1—2. Тбилиси, 1984.
10. *Brugmann K.* Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. B., 1904. S. 52.
11. *Gamkrelidze T. V., Mačavariani G.* Sonantensystem und Ablaut in den Kartwelsprachen. Eine Typologie der Struktur des Gemeinkartwelischen. Tübingen, 1982.
12. *Schmidt K. H.* Studien zur Rekonstruktion des Lautstandes der südkaukasischen Grundsprachen. Wiesbaden, 1962.
13. *Климов Г. А.* Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964.
14. *Martinet A.* Remarques sur le consonantisme sémitique // *Martinet A. Evolution des langues et reconstruction.* Vendôme, 1975.
15. *Cohen D.* Langues chamito-sémitiques // *Le langage* / Éd. par Martinet A. Bruges, 1968.
16. *Diakonoff I. M.* Letter to the conference regarding recent work in the USSR on the comparative historical vocabulary of Afroasiatic // *Current progress in Afro-Asiatic linguistics: Papers from the Third International Hamito-Semitic congress* / Ed. by Bynon J. Amsterdam, 1984. P. 1—10.
17. *Diakonoff I. M.* On root structure in Proto-Semitic // *Hamito-Semitic* / Ed. by Bynon J., Bynon T. The Hague, 1975.
18. *Austerlitz R.* L'ouralien // *Le langage* / Éd. par Martinet A. Bruges, 1968.
19. *Rédei K.* Uralisches etymologisches Wörterbuch. Wiesbaden, 1986.
20. *Zvelebil K.* Comparative Dravidian phonology. The Hague, 1970. P. 77.
21. *Burrow T., Emeneau M. B.* Dravidian etymological dictionary. Oxford, 1984. P. XII—XIII.
22. *Poppe N.* Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen. Tl. 1: Vergleichende Lautlehre. Wiesbaden, 1960.

БУЛЫГИНА Т. В., ШМЕЛЕВ А. Д.

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ
КАК СУПЕРКАТЕГОРИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Исследования последних лет в области семантики предложения показали, что языковая единица, неоднозначная сама по себе, может получить однозначную интерпретацию в контексте предложения в результате семантического взаимодействия с другими языковыми выражениями, входящими в то же предложение [1—4]. Данная статья посвящена проблеме взаимной связи видо-временного значения предиката и референциальных характеристик его актанта; мы постараемся выяснить также, каким образом эта связь может быть отражена в лингвистическом описании¹.

Источники референциальных противопоставлений могут быть различны: при анализе референциальных характеристик именной группы (далее — ИГ) следует учитывать, в каком денотативном пространстве фиксируется референт ИГ; как референт ИГ соотносится с ее экстенсионалом в данном денотативном пространстве; каковы референциальные намерения говорящего. Остановимся на референциальных различиях, связанных с типом обозначаемого объекта, т. е. на когнитивных различиях, практически не связанных с коммуникативной ситуацией.

Существует три типа внеязыковых сущностей, к которым может производиться референция: 1) абстрактные классы (открытые множества) объектов; 2) индивидные объекты, взятые в отвлечении от конкретных пространственно-временных манифестаций; 3) конкретные пространственно-временные «срезы» объектов. Будем называть сущности первого типа классами, сущности второго типа — (абстрактными) индивидами, объекты третьего типа — «инстанциями» (под «инстанцией» понимается индивид, взятый в конкретной пространственно-временной реализации). Следует отличать классы как открытые множества объектов от множественных индивидов (т. е. закрытых множеств объектов). Так, в предложении *Дети любопытны* в наиболее естественном понимании ИГ *дети* соотносится с открытым классом детей, который не мог бы быть задан списком. В предложении *Дети сыты* или *Дети спят* ИГ *дети* соотносится с закрытым, перечислимым множеством детей, с множественным индивидом, взятым в данном случае в его конкретной пространственно-временной реализации (т. е. с «инстанцией»). В предложении *Дети у нее плохо воспитаны* ИГ *дети* соотносится с множественным индивидом, взятым в отвлечении от конкретных пространственно-временных реализаций. Противопоставление классов и индивидов (в том числе множественных) соответствует принятому в теории референции различению генерализованных и конкретно-референтных ИГ.

¹ В основу настоящей статьи положен доклад одного из авторов, прочитанный на школе-семинаре «Семиотические аспекты формализации интеллектуальной деятельности» в г. Телави в 1983 г. (см. [5]). Мы пользуемся случаем выразить признательность всем принявшим участие в обсуждении названного доклада.

Противопоставление «инстанций» и абстрактных индивидов связано с признаваемым³ логикой онтологическим и эпистемологическим различием между подлинно единичными объектами, к которым «... с определенностью можно отнести только объекты, в принципе доступные непосредственному восприятию, т. е. вещи в пространстве — времени» [6, с. 5], и абстрактными объектами, с которыми, например, имеет дело экспериментатор, «отождествляющий свою аппаратуру и сотрудников в разные моменты времени» [6, с. 3]. Тот факт, что ИГ, соотносимые с абстрактными индивидами, в том числе имена собственные, а также существительные с так называемой «уникальной референцией» (*солнце, луна*) содержат в себе элемент обобщения, был замечен и лингвистами. Так, С. Д. Кацнельсон справедливо отметил, что «выделяя какое-либо лицо, собственное имя объединяет различные состояния и аспекты его деятельности, различные периоды (а мы бы добавили: различные моменты. — *Б. Т., Ш. А.*) его физического и духовного развития» [7]. Можно упомянуть также замечание А. Вежбицкой, что в таких предложениях, как *Я хорошо знаю Яну; Ян добрый, умный, спокойный, смелый*, «предсказуемый признак приписывается, строго говоря, не Яну, а множеству событий, которые тем или иным образом связаны с Яном (множество, которое нельзя просто перечислить, т. к. его нельзя приравнять ни к какому закрытому списку)» [8, с. 255].

Важно отметить, что в русском языке нет специальных средств выражения противопоставления между абстрактными индивидами и «инстанциями»: одна и та же ИГ может соотноситься как с индивидуальным объектом, так и с какой-либо его «инстанцией». Например, в предложении *Солнце излучает свет и тепло* ИГ *солнце* соотносится с абстрактным индивидом, и истинность соответствующего высказывания не зависит от конкретных событий, происходящих в пространстве и времени (так, оно не перестает быть истинным, будучи произнесенным, скажем, зимней ночью). Напротив, в таких предложениях, как, например, *Солнце греет до седьмого пота и бушует, одурев, овраг* или *Солнце грустно сегодня, как ты, солнце нынче, как ты, северянка* ИГ *солнце* соотносится с отдельными «инстанциями» солнца («греть до седьмого пота» или «испытывать грусть», «выглядеть грустным» не входят в число свойств солнца как абстрактного индивида).

Подчеркнем, что когнитивный статус ИГ связан с особенностями ее референции, а не с выбранным способом номинации. Так, *пьяница* в предложении *Пьяница упал* соотносится с инстанцией, поскольку высказывание касается только одного «временного среза» обозначаемого лица. В то же время номинация выбирается на основе нелокализованных во времени свойств лица (свойство «быть пьяницей» присуще обозначаемому лицу независимо от конкретного момента, о котором идет речь).

Выделенные три когнитивных статуса (классы, индивиды, «инстанции») присущи только предметным ИГ. Что же касается сентенциальных ИГ, то они могут соотноситься лишь с двумя из названных типов внеязыковых объектов: с классом или с «инстанцией»; ср.: *Он боится грозы* (класс) — *Он испугался грозы* («инстанция»); *Но поражение от победы ты сам не должен отличать* (класс) — *Я был свидетелем поражения «Спартака»* («инстанция»). Другими словами, любое обобщение на множестве ситуаций ведет к противопоставлению обо всем классе ситуаций; операция отождествления «инстанций», манифестирующих один и тот же индивид, на множестве ситуаций не задается. Мы можем говорить о заходах солнца вообще или о данном, конкретном заходе солнца, но не можем отождествить два наблюдавшихся в различное время захода солнца в качестве представителей одного аб-

страктного индивида (некоторого индивидуального захода солнца, способного к различным манифестациям).

Что касается номинализаций, обозначающих факты, то для них исключается и генерализованная интерпретация. Это связано с тем, что факты всегда конкретны и не образуют открытых множеств. Правда, иногда используются выражения *факты такого рода, подобные факты* — т. е. генерализованные ИГ, соотносящиеся с открытыми множествами, несмотря на то что их вершиной является существительное *факт*. Но эти выражения не являются «фактуальными» в собственном смысле слова — здесь не осуществляется референция к фактам (поэтому возможными оказываются такие фразы, как *Если факты такого рода будут иметь место...*, где существительное *факты* апеллирует никак не к фактам, а к гипотетической ситуации). Дело в том, что, как справедливо заметила Н. Д. Арутюнова, «семантика имени *факт*, как и многих других абстрактных имен, распатана... небрежным обращением говорящих и пишущих» [9, с. 325]. Другими словами, само существительное *факт* не во всех своих употреблениях соотносится с фактами. Невозможность генерализованного прочтения характерна не для слова *факт*, а для фактуальных номинализаций.

Таким образом, по своему когнитивному статусу фактуальные номинализации всегда соотносятся с индивидами (и сверх того, всегда характеризуются определенностью); при этом нельзя сказать, представляет ли собой референт фактуальной ИГ абстрактный индивид или «кинстанцию»: для фактов данное противопоставление лишено смысла, поскольку фактуальные номинализации не являются непосредственными обозначениями событий, происходящих или происходивших в мире; факты — это отражение соответствующих событий в сознании, объект знания, размышления, объект, вызывающий те или иные эмоции, так что вопроса о пространственно-временной локализации фактов не возникает.

Из сказанного вытекает, что при генерализованном прочтении номинализованной пропозиции она не может восприниматься как фактуальная (обладающая «презумптивной модальностью», по Е. В. Падучевой [10]). Проиллюстрируем это на примере предложения *Милиция штрафует пешеходов за нарушения правил*. Это предложение имеет два прочтения [то ли «Милиция штрафует пешеходов всякий раз, когда они нарушают правила», то ли «Милиция штрафует (конкретных) пешеходов за то, что они неоднократно нарушили правила»].

При первом прочтении речь, скорее всего, идет о пешеходах вообще, любых пешеходах; ИГ *нарушения правил* является генерализованной и не имеет статуса факта. Предложение при таком прочтении совсем не предполагает, что нарушения правил действительно имели место, указывается только, что если это произойдет, нарушители должны быть оштрафованы. Генерализованное понимание номинализованной пропозиции влечет ее гипотетический («нейтральный», по Е. В. Падучевой) статус.

При втором прочтении речь может идти только о конкретных пешеходах; ИГ *нарушения правил* соотносится с конкретным фактом (с тем фактом, что пешеходы нарушали правила), а генерализованное прочтение исключается. Разумеется, из несовместимости фактуальности и генерализованности не следует, что гипотетический («нейтральный») статус всегда влечет генерализованность. Например, в предложении *Я оштрафую тебя за первое же нарушение правил* ИГ *первое нарушение правил* имеет гипотетический статус (не является фактуальной), хотя соотносится не с классом событий, а с конкретным (хотя и предполагаемым) событием. Поэтому противопоставление фактуального и гипотетического статуса нельзя рас-

сма́тривать как противопоставление «индивидуальность — генерализованность» на множестве пропозициональных имен.

Отметим, что при неполной номинализации (т. е. в случаях, когда сентенциальный актант выражен придаточным предложением) семантическое различие между «фактуальностью» и «нефактуальностью» (и, соответственно, возможностью и невозможностью генерализованной интерпретации) имеет внешнее выражение в русском языке: фактуальные сентенциальные актанты в контексте оценочных (и некоторых других) предикатов присоединяются союзом *что* (*Хорошо / Я рад / Мне нравится, что вы поете*), нефактуальные (т. е. имеющие гипотетический статус) — союзами *когда*, *чтобы* и т. п. (*Я радуюсь / Мне нравится, когда вы поете; Лучше, чтобы вы спели нам*); союз *как* присоединяет сентенциальные актанты, соотносящиеся не с пропозициями, а с процессами или событиями. Что же касается случаев полной номинализации, то в русском языке различие между фактуальностью и гипотетичностью у таких ИГ внешне не выражается.

Отсутствие последовательного внешнего выражения когнитивного статуса ИГ (как предметных, так и сентенциальных) приводит к тому, что разрешение возможной неоднозначной интерпретации ИГ во многих случаях опирается только на семантическое взаимодействие с предикатными выражениями (ПВ), с которыми сочетается данная ИГ в конкретном предложении, ср. предложения: *Собака — млекопитающее* (где *собака* — генерализованная ИГ); *Собака любит Ивана* (*собака* соотносится с абстрактным индивидом); *Собака залаяла* (*собака* обозначает «инстанцию»).

В этой связи можно упомянуть различные сочетаемостные возможности предикатов *нравиться*, *любить* и *любителю*. Предикат *нравиться* допускает в качестве объекта все когнитивные типы ИГ, ср.: *Мне нравится красивые женщины* (генерализованный объект); *Ты мне всегда нравишься* (абстрактный индивид); *Ты мне что-то сегодня не нравишься* («инстанция»); предикат *любить* — только ИГ, соотносенные с классом или с абстрактным индивидом, ср.: *Я люблю детей* (генерализованный объект); *Я люблю своих детей* (абстрактный индивид); предикат *любителю* может подчинять только генерализованный объект, ср.: *Он любителю красивых женщин*, но не **Он любителю Маши*². Этому никак не противоречат такие высказывания, как *Он любителю Блока*, т. к. имя собственное употреблено здесь метонимически (по отношению ко всей поэзии Блока, т. е. не к индивиду, а к целому классу). Отметим, что при переходе на морфемный уровень возможность метонимического генерализованного прочтения индивидного имени может теряться: слова типа **блоколюб* существовать не могут (возможны только *женолюб*, *человеколюбец*, т. е. слова, у которых первая часть имеет «прямое» генерализованное понимание).

Разумеется, полное описание взаимодействия когнитивных свойств ИГ с характеристиками ПВ предполагает наличие предварительной классификации предикатов. Наиболее существенными представляются характеристики ПВ с точки зрения локализованности во времени³. Четко различиваются два типа употреблений ПВ: эпизодические и качественные. При эпизодическом употреблении ПВ представляют процессы или события как конкретные, реально происходящие (или произошедшие) в некоторый

² Указанные особенности предикатов *любителю*, *любить* и *нравиться* уже рассматривались в [11, с. 29]; здесь мы уточняем приведенные там формулировки. Различию лексем *любить* и *нравиться* вполне аналогично отмеченному А. Вежбицкой различию польских лексем *lubić* и *podobać się* [8, с. 254—255].

³ Роль, которую признак локализованности во времени играет в построении общей классификации ПВ, подробно рассмотрена в [11, 12].

момент или период времени, или же описывают ситуации или состояния, приуроченные к конкретному временному отрезку. При качественном употреблении ПВ описывают признаки, не связанные с конкретным моментом времени. Существуют ПВ, для которых соответствующая характеристика оказывается фиксированной; тем самым выделяются предикаты *episodica tantum* (например, *быть пьяным, безмолвствовать, быть при смерти*) и предикаты *qualitativa tantum* (*быть пьяницей, быть молчаливым, быть смертным*).

Для других ПВ данная характеристика является «флективной» (в смысле [4]), и вне контекста такие ПВ оказываются неоднозначными (так, *Он курит* может означать как то, что он курит в данный момент, так и то, что он курящий). Эпизодические ПВ (в том числе *episodica tantum*) могут «повышаться в ранге» с помощью «гномического оператора» (*бывает, всегда, иногда*). Более того, способность сочетаться с гномическим оператором может рассматриваться как характеристическое свойство эпизодических ПВ: в сочетании с качественными ПВ такие слова, как *бывает, всегда, иногда*, не имеют значения гномического оператора, а прочитываются как квантор при генерализованном субъекте, как, например, в предложениях *Голубоглазые кошки бывают глухими; Математики иногда разбираются в лингвистике*; а в предложениях с качественным предикатом и единичным субъектом такие слова вообще невозможны: **Он бывает пьяницей* (подробнее см. [4, 11, 12]).

«Повышенные в ранге» эпизодические ПВ можно назвать узуальными. Узуальные ПВ образуют вместе с качественными ПВ единый класс гномических ПВ. Однако определенные различия между узуальными и качественными ПВ сохраняются: если качественное ПВ обозначает нелокализованное во времени свойство, то узуальное ПВ соотносится с рядом явлений, имеющих пространственно-временную локализацию (хотя и неопределенную). Впрочем, разграничение качественных и узуальных ПВ не всегда оказывается достаточно простым.

Не относятся к гномическим ПВ, обозначающие серию упорядоченных во времени действий (даже в тех случаях, когда речь идет о повторяющихся действиях). К таким ПВ можно причислить, в частности, «итеративные» употребления однонаправленных глаголов движения и некоторых глаголов НСВ, возникших в результате вторичной имперфективации, — таких, как *выкуривать, прочитывать, выпивать (чашку молока)*. Эти глаголы не могут употребляться в «гномическом» значении, обозначая неупорядоченные во времени события, — в отличие от таких ПВ, как, скажем, *пить вино, курить трубку, ходить за грибами, читать детективы*. Ср. гномическое употребление ПВ *пить вино*:

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Пил вино, катался по траве...

и невозможность такого употребления для ПВ *выпивать вино* (*Счастлив тем, что целовал я женщин, *выпивал вино, катался по траве*). Прибавление к таким ПВ слов типа *бывало, всегда, иногда* не превращает эти ПВ в гномические, характеризующиеся неопределенной временной локализацией. Можно говорить, что и обозначая повторяющиеся действия, они сохраняют конкретную временную локализацию, а их сочинение указывает на следующие друг за другом по времени действия (ср.: *Каждый вечер он ужинал, выпивал чашку кофе, выкуривал сигарету и шел гулять*). Подобные употребления — в тех случаях, когда охватываются значительные по объему отрывки текста, — представляют собою разновидность наглядно-

примерного изображения действительности. В этом плане показательно употребление партиципального родительного при глаголе несовершенного вида у Ю. Казакова: *На другой день Василий Панков выпивает коньяку на какой-то станции и возвращается в вагон веселый, беспрестанно улыбаясь и играя глазами*. Таким образом, правило несочетаемости несовершенного вида с родителем объекта нуждается в уточнении.

Разграничение эпизодических и качественных употреблений ПВ позволяет сформулировать закономерности, касающиеся связей между типом ПВ и референциальными характеристиками подчиненных ему ИГ. Гномические предикаты (качественные и узуальные) приписываются классам или абстрактным индивидам, эпизодические предикаты — конкретным сущностям, локализованным в пространстве и времени, т. е. «инстанциям». Другими словами, в контексте гномических предикатов ИГ всегда понимаются обобщенно (т. е. как соотносящиеся с классом или абстрактным индивидом, но не с «инстанцией»). Именно с гномическими предикатами чаще всего сочетаются «слабо индивидуализирующие» ИГ, например, ИГ с предикатной семантикой (такие ИГ склонны к генерализованному употреблению). Однако в силу того же правила даже «слабо индивидуализирующие» ИГ в контексте «только эпизодических» предикатов понимаются как соотносящиеся с «инстанциями». Так, в примерах, приведенных в [11, с. 35], в предложениях с гномическими предикатами (*Старики не терпят возражений; Молодые люди умеют веселиться; Дети любознательны; Лен-тяй — обуза для коллектива*) ИГ-подлежащие воспринимаются как генерализованные; однако в контексте эпизодических предикатов те же самые ИГ могут быть поняты только как соотносящиеся с конкретными объектами (точнее, с «инстанциями»): *Старики в раздражении; Молодые люди пьяны; Дети голодны; Лен-тяй утомлен*.

Если обобщенная интерпретация для ИГ в силу каких-то причин оказывается невозможной, эта ИГ не может сочетаться с гномическими предикатами. А. Вежбицкая отметила, что аномальность предложения *Lubię to ciastko* «Я люблю что пирожное» объясняется тем, что невозможно представить себе, чтобы человек «обычно охотно ел» одно и то же пирожное [8, с. 255]. Действительно, если можно любить пирожные вообще, то существование конкретного пирожного достаточно эфемерно: как только «любовь» к пирожному (в одной из его пространственно-временных реализаций) будет проявлена, пирожное прекратит свое существование и невозможным окажется проявление любви к другим его «инстанциям». Этим же объясняется тот факт, что в предложении *Мне нравится это пирожное* предикат *нравится* (который, вообще говоря, может функционировать и как эпизодический, и как гномический) получает «эпизодическое» прочтение.

«Фактуальные» ИГ с точки зрения сочетаемости с предикатами сходны с ИГ, которые соотносятся с «инстанциями». Другими словами, фактуальные актанты не сочетаются с качественными ПВ (поэтому аномально **Я люблю, что в комнате порядок*; ср. сочетание того же ПВ с нефактуальным актантом: *Я люблю, когда в комнате порядок / чтобы в комнате был порядок*). Потенциально неоднозначные ПВ получают в контексте «фактуальных» ИГ однозначно эпизодическую интерпретацию: предложение *Я радуюсь, что в комнате порядок* указывает на конкретно переживаемую эмоцию; в то же время *Я радуюсь, когда в комнате порядок* предполагает постоянное отношение к рассматриваемому положению дел.

Полностью номинализованные сентенциальные ИГ могут функционировать и как фактуальные, и как нефактуальные. В контексте «только эпизодических» ПВ они получают фактуальную интерпретацию (ср.: *Я рад*

порядку в комнате), в контексте «только качественных» ПВ — нефактуальную интерпретацию (ср.: *Я люблю порядок в комнате*). Если ПВ может пониматься и как эпизодическое, и как качественное, сентенциальная ИГ в контексте такого ПВ неоднозначна с точки зрения фактуальности нефактуальности. Так, взятый в отрыве от более широкого контекста фрагмент из «Евгения Онегина» двусмыслен в силу двойственности (точнее — «тройственности») свойств предиката *нравиться*:

Ей нравится порядок стройный
Олигархических бесед,
И холод гордости спокойной,
И эта смесь чинов и лет.

Он может пониматься и в качественном (диспозиционном) смысле — как сообщение о положительном отношении пушкинской Музы к «порядку олигархических бесед», и в «эпизодическом» смысле — как сообщение о конкретно переживаемой положительной эмоции, которая вызывается непосредственно воспринимаемыми «беседами». Именно эта последняя интерпретация оказывается единственно возможной из-за соседства с «только эпизодическим» предикатом *безмолвный*, встречающимся в конце цитированной строфы:

Но кто это в толпе избранной
Стоит безмолвный и туманный?

Необходимо «актуальная» интерпретация этого текста индуцирует соответствующее понимание непосредственно предшествующего текста.

Тем не менее фактуальные актаны нельзя безоговорочно причислить к ИГ, соотношенным с «инстанциями». Дело в том, что установленные закономерности позволяют сформулировать следующее правило: если в предложении хотя бы одна ИГ соотносится с «инстанцией», то все остальные ИГ в этом предложении, подчиненные тому же ПВ, также соотносятся с «инстанциями». Действительно, наличие хотя бы одной такой ИГ предопределяет эпизодический характер предиката, что, в свою очередь, детерминирует соотношенность с «инстанциями» всех подчиненных ему ИГ. В то же время существуют ПВ, которые в качестве одного из актантов могут иметь фактуальную ИГ, а в качестве другого — обобщенную ИГ. Сюда относятся такие фактивные предикаты, как *быть виноватым в*, *знать о* и т. п. В качестве объекта они имеют «фактуальные» ИГ, а в качестве субъекта — индивидуальные или даже генерические ИГ (ср.: *Всякий знает о том, что...*). Рассматриваемые ПВ объединяет то, что все они обозначают локализованные во времени свойства, которые возникают в результате локализованных во времени событий и навсегда остаются связанными с субъектом. Так, если воспользоваться определением факта как «тени, отброшенной событием на экран знания» [9, с. 355], то можно сказать, что тень инкриминируемого события неразрывно связывается с виновным. Провинившись в чем-либо, он останется виноват в этом навсегда.

В целом можно видеть, что обе разновидности гномических ИГ — качественные и узуальные — ведут себя сходным образом в отношении взаимодействия с референциальными характеристиками ИГ (а именно — и те, и другие сочетаются с обобщенными ИГ, соотносимыми с классом или абстрактным индивидуом); в то же время они резко противопоставлены эпизодическим ИГ. Это проявляется, в частности, в возможности сочинения качественных и узуальных ПВ (например, *Он заботился о своем здоровье и ходил на работу пешком*) и в аномальности сочинения гномического ПВ

любого типа и эпизодического ПВ: *Он заботился о своем здоровье и шел на работу пешком (как уже говорилось, однонаправленные глаголы движения даже в итеративном значении остаются эпизодическими); *Он болен и любит чай с лимоном. Отмеченная Ю. Д. Апресяном аномальность предложений типа Он высок и болен также может быть объяснена невозможностью сочинения квалитативного предиката высок с эпизодическим болен.

Из трех выделенных когнитивных разновидностей ИГ (ИГ, соотносимые с классами, с абстрактными индивидами и с «инстанциями») с точки зрения сочетаемости с ПВ сходство обнаруживается у ИГ, соотносимых с классами и абстрактными индивидами (в частности, они могут быть подчинены одному и тому же ПВ: Я больше всех удач и бед за тебя любил...). Любопытно, что если до последнего времени различный статус генерализованных ИГ и ИГ, соотносимых с абстрактными индивидами, не вызывал сомнений, то сейчас, когда замечено сходство между ними, наблюдается тенденция стожествлять (в явном виде или, чаще, имплицитно) генерализованные и «абстрактно-индивидуные» ИГ именно на основании их совместимости с предикатами одних и тех же типов. Ср. приведенное выше замечание А. Вежбицкой о том, что в таких предложениях, как Я люблю / знаю Яна; Ян добрый, умный, спокойный, смелый, ИГ Ян соотносится не с самим Яном, а с открытым множеством событий, так или иначе связанных с Яном. Такие утверждения, как «нравиться допускает объект в референтном ДС, а любить — только в „родовом“» [13], в неявном виде опираются на отождествление «абстрактно-индивидуных» ИГ с родовыми (ср.: Я люблю отца).

Однако несмотря на несомненное сходство генерических и индивидуальных ИГ, они все же должны быть отнесены к разным типам, в частности потому, что существуют предикаты, сочетающиеся только с первыми, но не со вторыми. К таким предикатам относится уже упоминавшееся выше ПВ быть любителем (аномально *любитель Маши, хотя вполне возможно любитель красивых женщин). Другой пример ПВ, требующего генерической референции объекта, — знаток. Можно сказать: Ты большой знаток женщин. Ты, наверное, можешь предугадать, как на это посмотрит Мария, — но аномально высказывание *Ты большой знаток Марии. Как она будет на это реагировать? (следует: Ты хорошо знаешь Марию. Как она на это посмотрит?). Сочетание знаток Пушкина, как и любитель Пушкина, возможно потому, что имя Пушкин здесь имеет возникшее на основе метонимии генерализованное значение и обозначает творчество Пушкина и все то, что с ним связано, — все то, что составляет объект пушкинистики. Сочетание знаток «Евгения Онегина» более естественно, чем знаток стихотворения «Я помню чудное мгновенье...», в силу того, что «Евгений Онегин» гораздо легче подвергается метонимическому переносу, при котором приобретает генерализованное значение. Ср. также охотник до (Их и по сегодня много ходит, всяческих охотников до наших жен при аномальности *Он большой охотник до моей жены).

Упомянем еще один тип ПВ, сочетающихся только с генерализованными, но не с индивидуальными ИГ. Это такие предикаты, как быть в дефиците, быть редкостью, вымереть, подорожать, получить большое распространение, иметься в продаже⁴ и т. п. (некоторые из таких ПВ упоминаются в [11, с. 291]). Не являются контрпримерами предложения типа Эта книга сей-

⁴ Указанное свойство (сочетаемость только с генерализованными ИГ) отличает ПВ иметься в продаже от сходного ПВ продаваться, сочетающегося как с генерализованными (Продается мороженое), так и с индивидуальными (Продается почти новый финский шкаф) ИГ.

час в продаже, т. к. несмотря на наличие указательного местоимения, ИГ эта книга соотносится не с отдельным объектом, а с классом (ср. [14]).

ПВ рассматриваемого типа представляют собой видимое исключение из сформулированного правила, в соответствии с которым генерализованные ИГ не сочетаются с эпизодическими ПВ. Ведь эти ПВ описывают конкретные («случайные») состояния мира, и в этом смысле они должны быть причислены к эпизодическим. С эпизодическими предикатами их сближают и собственно языковые свойства: сочетаемость с гномическими операторами (ср.: *Всегда в продаже мороженое*) или с показателями временной локализации (*Вчера в продаже были тренировочные костюмы; Такие шляпки в этом году в моде; Весь год этот товар в дефиците*). Такие предикаты описывают не существенные свойства субъекта, а его преходящие состояния. Можно было бы сказать, что субъекты в предложениях с такими ПВ так относятся к генерализованным субъектам в подлинно гномических предложениях, как «инстанции» относятся к абстрактным индивидам. Наличие среди рассматриваемых ПВ глаголов совершенного вида позволяет уточнить формулировку о несовместимости совершенного вида с генерализованным статусом субъекта [11, с. 38—39] (ср.: *Динозавры вымерли; Мини-юбки вошли в моду*).

Нагляднее всего обнаруженные закономерности можно представить на языке семантических признаков. Конечно, есть основания сомневаться в том, что постулированные ad hoc признаки представляют собой самый адекватный способ экспликации семантических закономерностей. Однако в настоящее время не существует общепринятого семантического метаязыка, пригодного для описания когнитивных различий; и в этой ситуации возрастает эвристическая роль постулируемых признаков, позволяющих в обозримом виде представить закономерности семантического взаимодействия компонентов предложения. Разумеется, следует стремиться к тому, чтобы постулированные признаки соответствовали семантической реальности и в принципе допускали переформулировку в терминах универсального семантического метаязыка. Необходимо только учитывать, что выбранные названия семантических признаков представляют собой лишь условные обозначения и не претендуют на выражение сущности эксплицируемых семантических различий⁵.

Мы будем использовать два бинарных семантических признака: «±актуализованность» и «±локализуемость». Укажем, каким образом могут быть представлены при помощи этих признаков когнитивные статусы ИГ. Абстрактно-индивидуальные ИГ и ИГ, соотносенные с «инстанциями», различаются «актуализованностью»: абстрактно-индивидуальным ИГ может быть приписан признак [—актуализ], а ИГ, соотносенным с «инстанциями», — [+актуализ] (поскольку «инстанция» фактически и представляет собою «актуализованный» индивид). В то же время референты обоих этих типов ИГ представляют собою индивиды, которые могут быть тем или иным способом «локализованы»; поэтому припишем рассматриваемым ИГ признак [+локализ] — в отличие от генерализованных ИГ, референты которых представляют собою открытые классы объектов (генерализованным ИГ приписываем признак [—локализ]). При этом генерализованные ИГ, фигурирующие в общих суждениях, получают признак [—актуализ],

⁵ Так, в работах логического направления принято представлять генерализованные ИГ при помощи кванторов: общеродовые ИГ — при помощи квантора общности, а общеэкзистенциальные ИГ — при помощи квантора существования; однако этот способ представления вызывает существенные возражения.

а ИГ, сочетающиеся с предикатами «состояния класса» (типа *быть в дефиците*), — признак [+актуализ].

Те же самые два бинарных признака могут быть использованы и для классификации ПВ. Гномические предикаты получают признак [—актуализ], эпизодические — признак [+актуализ]. При этом качественные предикаты и предикаты «состояния класса» могут быть охарактеризованы при помощи признака [—локализ], узуальные предикаты и эпизодические предикаты, относящиеся к конкретным объектам, — при помощи признака [+локализ].

Закономерности взаимодействия когнитивных характеристик ИГ и ПВ сводятся к следующему. Если описываемое в предложении положение дел не является актуализованным, то как предикат, так и подчиненные ему ИГ получают признак [—актуализ]. Другими словами, мы имеем дело с гномическим предикатом и обобщенными ИГ. Выбор значения признака [\pm локализ] при этом не predetermined. Как отмечалось выше, одному и тому же гномическому предикату могут быть подчинены одновременно генерализованные и абстрактно-индивидуальные ИГ, к одной и той же ИГ могут одновременно относиться сочиненные качественные и узуальные ПВ. Ограничения на значения признака [\pm локализ] в таком предложении могут определяться лишь словарными характеристиками входящих в предложение языковых единиц.

Если в предложении описывается актуализованное положение дел (событие, процесс, состояние), то и предикат, и все ИГ получают признак [+актуализ]. При этом существенно, локализуемые или нелокализуемые сущности участвуют в описываемом положении дел. Между входящими в предложение ИГ и ПВ должно быть согласование по признаку [\pm локализ]. Единицам, входящим в предложение, которое описывает состояния класса или события, происшедшие с целым классом (типа *Такие шляпки вышли из моды*), приписывается признак [—локализ]; в предложении, описывающем состояния индивидов или происшедшие с индивидами события, как ИГ, так и ПВ получают признак [+локализ].

Приведенные правила несколько схематично описывают семантическое взаимодействие когнитивных характеристик ИГ и подчиняющего ПВ. Более исчерпывающее описание требует ряда уточнений. Однако и указанные закономерности, по-видимому, могут служить достаточным основанием для того, чтобы утверждать, что как когнитивные характеристики ИГ, так и видо-временные свойства ПВ представляют собою проявления единой категории пространственно-временной локализации, включающей в свою сферу действия все предложение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян Ю. Д. Об одном правиле сложения лексических значений // Проблемы структурной лингвистики. 1971. М., 1972.
2. Гак В. Г. К проблеме семантической синтагматики // Проблемы структурной лингвистики. 1971. М., 1972.
3. Арутюнова Н. Д. Семантическое согласование слов и интерпретация предложения // Грамматическое описание славянских языков. М., 1974.
4. Бульгина Т. В. Грамматические и семантические категории и их связи // Аспекты семантических исследований. М., 1980.
5. Бульгина Т. В. К проблеме моделирования способности говорящих к контекстному разрешению неоднозначности // Семиотические аспекты формализации интеллектуальной деятельности. М., 1983.
6. Рвачев Л. А. Математика и семантика. Киев, 1966.
7. Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.

8. *Вежбицкая А.* Описание или цитация // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. М., 1982.
9. *Арутюнова Н. Д.* Сокровенная связка // ИАН СЛЯ. 1980. № 4.
10. *Падучева Е. В.* О семантике синтаксиса. М., 1973. С. 197.
11. *Булыгина Т. В.* К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982.
12. *Булыгина Т. В.* Классы предикатов и аспектуальная характеристика высказывания // Аспектуальные и темпоральные значения в славянских языках. М., 1983.
13. *Падучева Е. В.* Референциальные аспекты семантики предложения // Семiotические аспекты формализации интеллектуальной деятельности. М., 1983. С. 231.
14. *Арутюнова Н. Д.* Предложение и его смысл. М., 1976. С. 211.

ЛИ ТОАН ТХАНГ

**К ВОПРОСУ О ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ВО ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ В СВЯЗИ С КАРТИНОЙ МИРА**

(Этнопсихолингвистические проблемы)

В последние годы появился ряд интересных лингвистических и психологических исследований по восприятию пространства и по пространственным представлениям (например, работы Ю. Д. Апресяна [1, 2], Б. М. Величковского [3], В. Г. Гака [4], А. Е. Кибрика [5], Ф. Н. Шемякина [6, 7], Г. Кларка [8], Ч. Филлмора [9, 10], Дж. Лича [11], Л. Тэлми [12, 13] и др.), что дало основу для наших дальнейших поисков в области пространственной ориентации в связи с картиной мира.

Согласно мнению ряда исследователей, в естественном языке отражается определенный способ осмысления человеком мира (эта идея восходит, как известно, к учению В. Гумбольдта о «внутренней форме» и «национальном духе» языка). В связи с этим встает вопрос, как и е ф а к т о р ы в л я ю т н а э т о т с п о с о б « в и д е н и я м и р а » у к а ж д о г о н а р о д а.

В общем плане эта проблема не нова, она ставилась, например, А. А. Леонычевым [14], который рассматривал роль факторов, обуславливающих национально-культурную специфику речевого поведения, и дал их классификацию. Важность поставленной проблемы бесспорна: она позволяет нам глубже проникнуть в понимание общности и национального своеобразия релятивизированной человеком отражаемой в языке картины мира. Целью данной работы является рассмотрение факторов, от которых зависит способ ориентации человека в пространстве.

В исследованиях по пространственной ориентации упоминаются некоторые факторы, например, строение предмета, его положение и направление привычного перемещения, а также размеры предметов и их расстояние [1]. В связи с этим непосредственной задачей данной статьи будет уточнение и выявление некоторых малоизученных факторов (в основном на материале вьетнамского языка). Мы стремились показать, что без обращения к материалу «экзотических» восточных языков (обычно остающихся вне поля зрения исследователей) нельзя претендовать на построение универсальной теории.

Прежде всего во избежание недоразумения следует сделать терминологическое уточнение. Нам представляется целесообразным различать три понятия пространства: объективное, воспринимаемое и языковое (ср. «perceptual space» и «language space» у Г. Кларка [8]). Под объективным пространством понимается реальное пространство окружающего человека мира, под воспринимаемым — субъективные представления человека об объективном пространстве и под языковым — относительное отражение когнитивного пространства в естественном языке. В дальнейшем изложении мы будем описывать только пространство последнего типа (естественно, в тесной связи со вторым).

1. «Ненормальное» положение человека в пространственной ориентации

Нормальное положение человека в пространстве (т. е. его вертикальная поза) является «началом координат, куда человек ставит себя, воспринимая и представляя пространство» [7, с. 40]. В частности, представление о направлении «вверх—вниз» дается различием между верхней и нижней частями тела человека соответственно по отношению к голове и к ногам; оно объективируется в отражении направления земного тяготения [6—8].

Во вьетнамском языке ¹ представления об абсолютных «верхе» и «низ» также связаны с представлениями о голове и ногах, что находит свое выражение в постоянном использовании глаголов и модификаторов направления движения *lên*¹ «подняться» — *xuông*⁵ «спуститься», а также соотносительных слов *trên*¹ «верх; наверху» — *du'oi*⁵ «низ; внизу» при пространственной ориентации относительно головы и ног человека. Ср. следующие пары примеров:

(1а) *Vong*² *hoa*¹ *o'*⁴ *trên*¹ *đâu*² *cô*¹ *be*⁵ (букв. «веночек цветы находится наверху голова девочка») «Веночек из цветов находится на голове девочки».

(1б) *Vong*² *hoa*¹ *o'*⁴ *du'oi*⁵ *chân*¹ *cô*¹ *be*⁵ (букв. «веночек цветы находится внизу нога девочка») «Веночек из цветов лежит у ног девочки».

(2а) *Tôi*¹ *đặt*⁶ *vong*² *hoa*¹ *lên*¹ *trên*¹ *đâu*² *cô*¹ *be*⁵ (букв. «я положить веночек цветы подниматься наверху голова девочка») «Я положил веночек из цветов на голову девочки».

(2б) *Tôi*¹ *đặt*⁶ *vong*² *hoa*¹ *xuông*⁵ *du'oi*⁵ *chân*¹ *cô*¹ *be*⁵ (букв. «я положить веночек цветы спускаться внизу нога девочка») «Я положил веночек из цветов у ног девочки».

Однако такого рода «абсолютизация» соблюдается и в случае «ненормального» положения человека, когда, например, он лежит на кровати:

(3а) *Bao*⁵ *o'*⁴ *du'oi*⁵ *chân*¹ *anh*¹ *ây*⁵ (букв. «газета находится внизу нога я») «Газета лежит в моих ногах».

(3б) *Em*¹ *đề*⁴ *xuông*⁵ *du'oi*⁵ *chân*¹ *anh*¹ *ây*⁵ (букв. «ты положить спускаться внизу нога я») «Положи в моих ногах».

Есть даже случаи подобной абсолютизации при относительной ориентации антропоморфического типа *đâu*²-*chân*¹ (*giu'oi'ng*²) букв. «изголовье — ноги (кровать)». Ср.: *ngồi*² *lên*¹ *đâu*² *giu'oi'ng*² (букв. «сесть подниматься голова кровать») «Сядь в изголовье кровати»; *đứng*⁵ *xuông*⁵ *phia*⁵ *du'oi*⁵ *chân*¹ *giu'oi'ng*² (букв. «стоять спускаться нижняя сторона нога кровать») «Стой (там) у кровати в ногах».

Отсюда следует вывод, что здесь имеется поворот на 90° измерения по вертикальной оси на горизонтальную плоскость². Данное явление мы условно называем (хотя и может быть не очень удачно) «воображаемым (мыслимым) повернутым измерением». В результате этого мы имеем дело с двумя способами пространственной ориентации на горизонтальной плоскости: способ реальной ориентации по «перед — зад» и способ мыслимой ориентации по «верх—низ». Иллюстрацией могут служить следующие высказывания, описывающие одинаковое местоположение человека в очереди:

¹ В статье принята следующая нумерация вьетнамских тонов: 1 — верхний ровный; 2 — верхний нисходящий (∖); 3 — нисходяще-восходящий прерывистый (∩); 4 — вопросительный (?); 5 — восходящий напряженный (/); 6 — тяжелый (·).

² Интересны психологические исследования влияния изменения положения тела человека на изменение его пространственного представления [15].

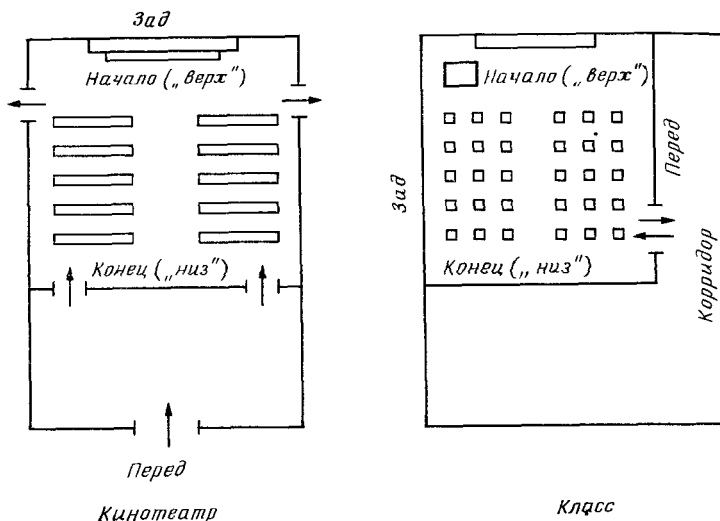


Рис. 1

(4а) *Tôi¹ đứng⁵ tru'oi'c⁵ anh¹* «Я стою перед вами».

(4б) *Tôi¹ đứng⁵ trên¹ anh¹* (букв. «я стоять наверху, над вы») «Я стою перед вами».

Во втором примере *trên¹ anh¹* значит «стоять ближе к голове (началу) колонны людей». На этом основании горизонтально расчлененным предметам (поезд, колонна демонстрантов, аудитория, кинотеатр и т. п.) приписываются «воображаемый» верх (ближе к голове, началу) и «воображаемый» низ (дальше от головы, начала; или ближе к хвосту, концу). Примеры: *toa¹ trên¹* (букв. «верхние вагоны») «передние вагоны» и соответственно *lên¹ toa¹ trên¹* (букв. «подняться верхние вагоны») «идти к передним вагонам»; *hang² trên¹* (букв. «верхние ряды») «передние ряды» (например, в классе, театре) и соответственно *lên¹ hang² trên¹* (букв. «подняться верхние ряды») «идти к передним рядам». Очевиден анализ примеров *lên¹ đầu² tàu²* (букв. «подняться голова поезд») «идти к голове поезда», *lên¹ đầu² rạp⁶* (букв. «подняться голова театр») «идти к экрану (сцене)». Любопытно, что воображаемая горизонтальная ориентация по верху и низу вынуждена уступить реальной вертикальной ориентации подобного рода, если между ними возникает конфликт. Так, например, в современной аудитории МГУ находятся два человека А и В, причем А сидит наверху, а В — внизу, в первом ряду. Тогда В может произносить только фразу *Hướng⁵ đâu¹!* «Спускайся сюда!» (а не *Lên¹ đâu¹* «Поднимайся сюда!»).

Были хорошо изучены абсолютная и относительная ориентация пространственных противопоставлений «перед—зад», «переднее—заднее» у стационарных и движущихся предметов (машина, самолет; дом, крыльцо и т. п.) [1, 2, 9]. Легко заметить, что в случае движущегося предмета имеется совпадение как внутри группы представлений «голова»/«начало»/«переднее»/«воображаемый верх», так и внутри группы представлений «хвост»/«конец»/«заднее»/«воображаемый низ». Сложнее обстоит дело в случае стационарного предмета. С одной стороны, мы также обнаруживаем, что представление о реальных горизонтальных «передних—задних рядах» совпадает с представлением о воображаемых горизонтальных «верх-

них—нижних рядах». С другой стороны, мы находим расхождение между представлением о «переде—заде» и представлением о «начале—конце» (и соответственно о воображаемых «верхе—ниже»). Это показано в виде ориентировочной схемы (или когнитивной карты; см. рис. 1).

2. Реальный и мысленный типы пространственной ориентации

Во вьетнамском языке есть данные, позволяющие различать два типа пространственной ориентации — реальную и мысленную. Их можно продемонстрировать на примере глаголов направления движения *xiông*⁵ «спуститься», *lên*¹ «подняться», а также соотносительных пространственных слов *du'o'i*⁵ «низ; внизу», *trên*¹ «верх; наверху».

Рассмотрим два высказывания:

(5) *No*⁵ *lên*¹ *núi*⁵ «Он поднялся (на) гору».

(6) *No*⁵ *lên*¹ *Bô*⁶ (букв. «он подняться министерство») «Он ушел (в) министерство».

В первом примере пространственная ориентация относительно горы задается тем, что гора находится выше (от земли), чем местонахождение субъекта перемещения. Употребление глагола направления движения *lên*¹ «подняться» зависит только от топографических факторов. Во втором примере пространственная ориентация относительно министерства задана факторами другого порядка. Данное высказывание может быть сделано только человеком, который работает в подчиненном министерству учреждении. Использование глагола *lên*¹ «подняться» определяется социальным статусом субъекта движения. И наоборот, если субъект перемещения работает в вышестоящем органе (скажем, в министерстве) и едет, например, в какое-нибудь подведомственное учреждение, то он должен употреблять глагол *xiông*⁵ «спуститься»:

(7) *No*⁵ *xiông*⁵ *tru'o'ng*² (букв. «он спуститься институт») «Он едет (в) институт».

Аналогичен анализ употребления пространственных слов *trên*¹ «верх; наверху», *du'o'i*⁵ «низ; внизу» в следующих примерах:

(8) *Anh*¹ *ây*⁵ *lam*² *o'*⁴ *trên*¹ *thị*⁴ (букв. «он работать находится; у верх; наверху город») «Он работает (наверху) в Исполкоме города».

(9) *Chi*⁶ *ây*⁵ *lam*² *o'*⁴ *du'o'i*⁵ *huyên*⁶ (букв. «она работать находится; у низ; внизу уезд») «Она работает (внизу) в Исполкоме уезда».

Можно представить следующим образом некоторые типы иерархии во вьетнамском обществе, в рамках которой определяется социальное положение субъекта высказывания:

Столица > город > провинция > деревня; Город, провинция > уезд > община > деревня; Министерство просвещения > институт > факультет > кафедра.

При первой иерархии, например, некий крестьянин, приехав в город, описывает свое прибытие следующим высказыванием:

(10) *Tôi*¹ *o'*⁴ *quê*¹ *lên*¹ (букв. «я находится деревня подняться») «Я приехал из деревни».

В этом случае, город мыслится как что-то более «высокое» (более развитое, престижное), чем его деревня. А если город мыслится как что-то «внешнее» (за пределами) по отношению к его деревне, то соответственно получается другое высказывание:

(11) *Tôi*¹ *o'*⁴ *quê*¹ *ra*¹ (букв. «я находится деревня выйти») «Я приехал из деревни».

Интересно, что вьетнамцы, проживающие в других странах, проецируют свою локальную ориентацию в пространственные отношения на новую местность. Так, например, студенты, обучающиеся в различных районах СССР, приглашая своих друзей из Москвы к себе, говорят следующую фразу:

(12) *Mo'i*² *anh*¹ *xiông*⁵ *chô*³ *chung*⁵ *tôi*¹ (букв. «пригласить вы спуститься место мы») «Приезжайте к нам».

Все сказанное позволяет думать, что в естественном языке существует два различных типа ориентации в пространстве. Первый тип можно условно назвать *р е а л ь н о й* (или природно-естественной) ориентацией, при которой действуют физические факторы. Второй тип можно было бы назвать *м ы с л е н н о й* (или социально-культурной) ориентацией, которая задается факторами социально-культурного порядка. Одна и та же ситуация в зависимости от данных типов пространственной ориентации может быть описана двумя синонимичными высказываниями, содержащими в себе прямо противоположенные по смыслу предикаты. Ср.:

(13a) *Tôi*¹ *lên*¹ *Bộ*⁶ (букв. «я подняться министерство») «Я поехал (в) министерство».

(13b) *Tôi*¹ *xiông*⁵ *Bộ*⁶ (букв. «я спуститься министерство») «Я поехал (в) министерство».

Во втором примере употребление глагола направления движения *xiông*⁵ «спуститься» объясняется тем, что министерство расположено южнее местонахождения субъекта перемещения. Север и запад топографически воспринимаются вьетнамцами выше, чем юг и восток. Следовательно, в данном примере перемещение с севера (где находится субъект высказывания) на юг (где конечная точка движения) значит «спуститься» (см. [16]).

Любопытно, что мысленная ориентация по «вверх—вниз» в состоянии движения субъекта действительна только в том случае, когда субъект удаляется от «своего» места и приближается к «чужому» месту. Если данное перемещение представляет собой возвращение субъекта к своему бывшему месту, то необходима ориентация другого рода. Так, можно сказать:

(14) *Tôi*¹ *lên*¹ *Bộ*⁶ (букв. «я подняться министерство») «Я поеду (в) министерство» (если субъект работает в институте),

но нельзя сказать:

(15) **Tôi*¹ *xiông*⁵ *tru'o'ng*² (букв. «я спуститься институт»),

а надо сказать:

(16) *Tôi*¹ *vê*² *tru'o'ng*² «Я вернусь (в) институт».

Во вьетнамском языке использование глагола *vê*² «возвратиться» весьма специфично. Оно связано с так называемыми этнопсихическими факторами, которые можно было бы отнести к числу факторов мысленной ориентации (на этом мы намерены подробнее остановиться в дальнейшем изложении).

3. Физическая и ментальная близость в пространстве

В недавней работе А. Вежбицка [17] повторяет примеры синонимичных предложений III. Балли:

(17a) *Il court derrière elle;*

(17b) *Il lui court derrière;*

(18a) *Il court après elle;*

(18b) *Il lui court après;*

(19a) *Il tourne autour d'elle;*

(19b) *Il lui tourne autour;*

(20a) *Il passe devant elle;*

(20b) *Il lui passe devant*

и отмечает, что в отличие от первых вторые предложения данных пар описывают факт «физической близости» одного человека, которая как бы воздействует на другого человека, включенного в пространство первого. Далее она замечает, что в польском языке «физическая близость» воздействует на человека только при указании на конкретную часть его тела (а не тело в целом), которая подвергается этому воздействию. Если принять предложенное А. Вежбицкой понятие, можно было бы его противопоставить нашему понятию «ментальной (психической) близости», которая существует, например, в восприятии пространства у вьетнамцев. Ср. три высказывания:

(21) *No⁵ o'⁴ Viêt⁶ nam¹ sang¹* (букв. «он находится Вьетнам пере- ехать») «Он приехал из Вьетнама» (имея в виду — в СССР).

(22) *No⁵ o'⁴ Phap⁵ vê²* (букв. «он находится Франция возвратиться») «Он приехал из Франции» (имея в виду — в СССР).

(23) *No⁵ o'⁴ Liên¹ xô¹ vê²* (букв. «он находится Советский Союз возвратиться») «Он приехал из СССР» (имея в виду — во Вьетнам),

где субъект перемещения есть вьетнамец, проживающий в каком-нибудь советском городе. Различное использование глаголов направления движения зависит от того, где субъект высказывания находится и куда он перемещается. В первом примере употребляется глагол *sang¹* «переехать, прибыть», ибо он приехал с родины. Во втором примере наличие глагола *vê²* «возвратиться» объясняется тем, что он вернулся в СССР. Наконец, в третьем примере глагол *vê²* «возвратиться», так как он уехал на Родину.

Анализ приведенных примеров позволяет предположить, что в восприятии пространства у вьетнамцев существует некоторая иерархия «ментальной близости», которую можно было бы сформулировать следующим образом:

Родина (страна, родной край) > место проживания > место работы >
> место прибытия (графически это показано на рис. 2). Как мы видели,

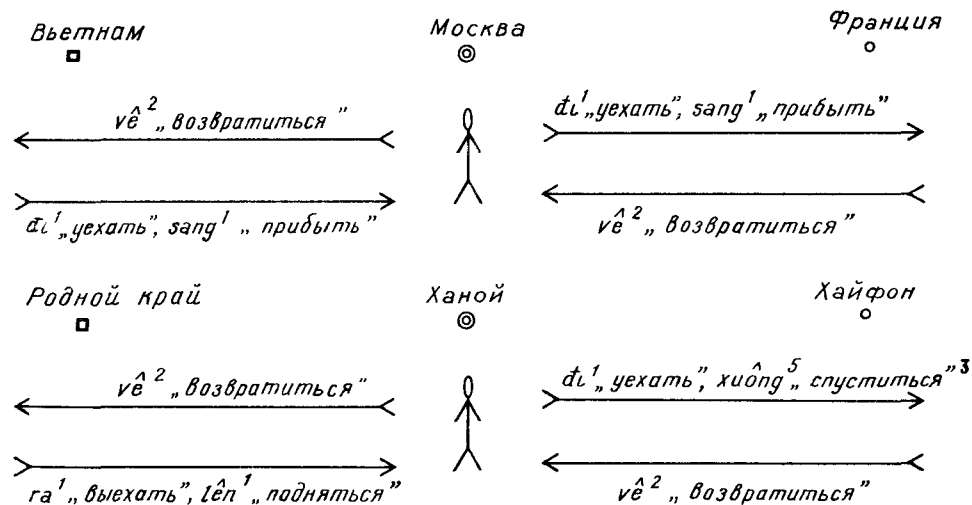


Рис. 2

³ Здесь используется глагол «спуститься», так как город Хайфон расположен на востоке по сравнению с Ханоем. Ориентация относительно стран света также своеобразна во вьетнамском языке, но, к сожалению, не представляется возможным детально описать ее в данной работе.

в этой иерархии для родины разрешается только одно направление перемещения субъекта — «возвратиться» к ней.

Факт «ментальной близости» наблюдается в исключительно своеобразном пользовании вьетнамскими глаголами направления движения *ra*¹ «выйти» — *vaø*² «войти». Допустим, что вьетнамский ученый, приехав в Москву на кратковременный срок по линии АН СССР, проживает в гостинице «Академическая». Если этого ученого хочет пригласить к себе в гости его сестра, проживающая в общежитии, то она может сказать:

- (24) *Anh*¹ *vaø*² *chø*³ *em*¹ *chø*¹ *em*¹ *không*¹ *ra*¹ *chø*³ *anh*¹ *đu*¹ *o*¹ *c*⁶
(букв. «вы войти место я в гости, я не выйти место вы») «Приходи к нам в гости, а я не могу к тебе».

Она так говорит, ибо в своем эмоциональном восприятии общежитие как ее место постоянного проживания представляется более «родным» близким, чем место временного проживания ее гостя. Иными словами, гостиница воспринимается ею как нечто внешнее, за пределами ее «ментальной близости», в чем заключается специфическое употребление пары глаголов *ra*¹ — *vaø*² «выйти — войти». Такого рода «ментализация» пространственной ориентации, однако, абсолютно не имеет места, если гостиница и общежитие находятся во Вьетнаме.

Любопытно, что ориентация по психической близости имеет приоритет перед другими типами ориентации. Вернемся к приведенным выше примерам (10) и ((11), описывающим прибытие некоего крестьянина в город:

- (25) *Tøi*¹ *o*¹ *quê*¹ *lên* (букв. «я находиться родная деревня подняться») «Я приехал из родной деревни».

- (26) *Tøi*¹ *o*¹ *quê*¹ *ra*¹ (букв. «я находиться родная деревня выйти») «Я приехал из родной деревни».

Логически мы ожидаем, что в описании возвращения в родной край крестьянин должен был бы сказать либо:

- (27) **Tøi*¹ *xiông*⁵ *quê*¹ букв. «я спуститься родная деревня»,
либо:

- (28) **Tøi*¹ *vaø*² *quê*¹ букв. «я войти родная деревня».

Однако для него уместнее следующее высказывание:

- (29) *Tøi*¹ *vê*² (*nha*²) «Я вернусь (домой)».

Фактор ментальной близости относится, скорее всего, к числу этнопсихических факторов, которые связаны с особенностями психического склада той или иной этнической общности и с этнически обусловленными формами отражения и реакциями на воздействия внешнего мира [18—20, 14].

4. «Топологический» взгляд человека на объекты

Отмечено, что один и тот же физический объект может восприниматься по-разному в зависимости от нашего «топологического» взгляда на него (см. [12, 11]). Например, ящик может быть рассмотрен нами а) как точка в пространстве в ситуации, описываемой высказыванием:

- (30) *Ящик стоит недалеко от стенки;*

б) как какая-то поверхность:

- (31) *Он сидел на ящике;*

в) как закрытое помещение:

- (32) *Яблоко лежит в ящике.*

Такого рода характеристика физических объектов сильно влияет на пространственную ориентацию относительно данных объектов. Известны примеры Ч. Филлмора: *John is on the grass* и *John is in the grass* (пример приведен из [8]), где выбор предлога *on* или *in* зависит от «топологического»

взгляда говорящего на траву как на двухмерную плоскость или как на трехмерное пространство. Интересно и наблюдение Дж. Лича [11] о различии в употреблении *on* и *in*:

(33) *Robinson Crusoe was marooned on a desert island.* Здесь употреблен предлог *on*, так как остров является маленьким и воспринимается как «плоскость» (*surface*).

(34) *He was born in Cuba.* Здесь употреблен предлог *in*, так как Куба — большой остров и государство (со своими границами), она рассмотрена как «площадь» (*area*).

Во вьетнамском языке также важно различие площадки и точки пространства. Ср.:

(35) *Tôi⁵ nay¹ anh¹ đên⁵ tôi¹ nhe⁵* (букв. «вечер этот вы прийти я») «Сегодня вечером приходите ко мне». В этом высказывании «я» рассматривается как конечная точка движения, которая не требует пространственного уточнения.

(36) *Tôi⁵ nay¹ anh¹ ngu⁴ lai⁶ chô³ tôi¹* (букв. «вечер этот вы спать оставаться место я») «Сегодня вечером оставайтесь ночевать у меня». Здесь требуется наличие слова «место», ибо «я», естественно, топологически не может быть представлено как площадка, на которой другой человек может лежать и спать. [В примере (35) можно добавить слово «место», если мы хотим указать на площадку, где находится говорящий: *Anh¹ đên⁵ chô³ tôi¹ nhe⁵* (букв. «вы прийти место я») «Приходите ко мне» (имея в виду домой или к месту работы).]

Топологический взгляд человека на объект как некую сферу представляет особый интерес во вьетнамском языке. Ср. русское, английское и вьетнамское высказывания, описывающие одинаковую ситуацию (но с разными пространственными ориентациями):

(37) *Sadитесь за стол, пожалуйста.*

(38) *Please, sit down at the table.*

(39) *Mô² i² ngô² vao² ban²* (букв. «пригласить сесть **входить** стол») «Садитесь за стол, пожалуйста».

В отличие от русского и английского, во вьетнамском примере послеглагольный модификатор *vao²* «входить» указывает на «мыслимую» сферу вокруг стола, в пределах которой гости сидят. Подобная ситуация отражается в следующем высказывании:

(40) *Mô² i² ngô² vao² mât¹* [букв. «пригласить сесть **входить** национальный поднос (на циновке)»] «Садитесь вокруг подноса (на циновке)»

Мыслимая сфера не совпадает с реальной сферой, которая явно выражается во фразе типа:

(41) *No⁵ ngô² vao² chiêu⁵* (букв. «он сесть **входить** циновка») «Он сел на циновку».

(42) *No⁵ ngô² vao² chô³ cao¹ nhât⁵* (букв. «он сесть **входить** самое высокое место») «Он садится на самое высокое место».

Любопытно, что наблюдается дифференция «внутренней» и «внешней, наружной» сфер у предмета, которые, по-видимому, связаны с представлениями о «близком—далеком», «видимом—невидимом» [21]. Ср. различные пространственные ориентации в сходных русском и вьетнамском наименованиях: русск. *верхняя одежда* — *нижнее белье* ∞ вьетн. *ao⁵ ngoai²* букв. «наружная одежда» — *ao⁵ trong¹* букв. «внутренняя одежда».

Как мы видели, в русском языке имеется ориентация по верху и низу, в то время как во вьетнамском языке как бы существует ориентация другого рода: одежда находится или в (мысленной) внутренней сфере тела человека или вне этой сферы. Следовательно, если русские говорят «на-

деть пальто **поверх** рубашки», то у вьетнамцев принято говорить *mác⁶ áo⁵ banh² tó¹ ra¹ ngoai² áo⁵ so¹ mi¹* букв. «одеть пальто **выходить** **вне**, **наружу** рубашка». Ср. также употребление в императиве глаголов «НА-давайте — РАЗ-давайте», во вьетнамском языке *mác⁶ vào²* букв. «одеть **входить**» — *so¹ i⁴ ra¹* букв. «**снять** **выходить**» и в китайском языке *чуан шан* букв. «одеть **подниматься**» — *то ся* букв. «**снять** **спускаться**». Приведем еще один подобный пример. Около дома имеются две дорожки А и В, причем дорожка А находится ближе к дому, а дорожка В — дальше от него. Тогда по-вьетнамски можно сказать: *đu'ó'ng² trong¹* «внутренняя дорожка» (имея в виду дорожку А) и *đu'ó'ng² ngoai²* «наружная, внешняя дорожка» (имея в виду дорожку В). Аналогичным образом демонстрируется различие ориентаций в наименованиях типа: *phong² trong¹* «внутренняя комната» (имея в виду спальню) — *phong² ngoai²* «внешняя, наружная комната» (имея в виду прихожую или гостиную). Любопытна следующая ситуация: допустим, что кровать находится вдоль стены и на ней лежат два человека А и В. Если А находится у стенки, то можно говорить *A nãm² trong¹* букв. «А лежит **внутри**», а для В естественно будет *B nãm² ngoai²* букв. «В лежит **вне**, **снаружи**», поскольку он находится на краю или в середине кровати. Такая дифференция игнорируется, если кровать находится не вдоль стены, а где-нибудь в середине комнаты. Таким образом, можно предполагать, что в этом случае именно стена образует свою сферу, от которой зависит оппозиция «внутри—вне, наружу». Аналогичен анализ пары примеров: *giu'ó'ng² trong¹* «внутренняя кровать» (т. е. кровать, стоящая у стенки) — *giu'ó'ng² ngoai²* «внешняя, наружная кровать» (т. е. кровать, стоящая не у стенки).

В китайском языке отмечается и разграничение идеи «места» и других топологических идей [22, 23]. Если существительные содержат идею «место», то они нуждаются в наличии лишь пространственного послелога (без послелога):

(43) *Та чжу цзай Бэйцин* (букв. «он проживать **находиться**; **в**, **на** Пекин)
«Он проживает в Пекине».

Однако если существительные не содержат в себе идею «место», то после них обязательно ставится еще пространственный послелог:

(44) *Во чжу цзай цзя ли* (букв. «я стоять **находиться**; **в**, **на** дом **внутри**, **в**)
«Я стою в доме».

(45) *Во цзо цзай цзы шан* (букв. «я сидеть **находиться**; **в**, **на** стул **верх**, **на**) «Я сижу на стуле».

При этом такое употребление послелога в китайском языке зависит также от «функционального» или «пространственного» взгляда человека на предмет. Например, «завод» (т. е. существительное со значением «не-место») не требует наличия пространственного послелога, если оно обозначает «учреждение»: *Та цзай гунчан цзо гун* (букв. «он **находиться**; **на** завод **работать**») «Он работает на заводе».

5. Ориентир и точка отсчета в пространственной ориентации

А. Е. Кибрик [5] отмечает, что в определении местоположения предмета или направления его движения в принципе ориентиров может быть несколько. Например, предложение *Стул стоит справа от стола* предлагает ориентацию стула не только относительно стола, но и говорящего. Или во фразе *Лес находится за аулом вверх по течению реки* лес ориентируется относительно и аула, и реки, и говорящего. А. Е. Кибрик назы-

вает ориентиры типа местонахождения говорящего или поверхности земли (в дагестанских языках) «дополнительными»⁴. Ю. Д. Апресян [1] предлагает еще понятие «наблюдатель» как некий (неназываемый) непосредственный участник описываемой ситуации, который отличается от фигуры «говорящий», хотя нередко совпадает с ней.

Однако понятие «дополнительный ориентир» представляется нам недостаточно адекватным. Ведь решающую роль и здесь играют говорящий, наблюдатель и т. п. Именно они дают нам опору для правильного понимания того, что девушка действительно находится у дверей (а не у носовой части автомобиля) в высказывании *Девушка стоит перед машиной*. Таким образом, для ориентиров такого рода более точным был бы термин «точка отсчета» ориентации, так как «всякое измерение нуждается в системе отсчета» [7, с. 40]. Ниже мы проиллюстрируем роль точки отсчета на материале вьетнамского языка. Ср.:

(46) *Qua⁴ bong⁵ ro'i¹ xưông⁵ mai⁵ nha²* (букв. «мяч падать спускаться крыша дом») «Мяч упал вниз на крышу дома».

(47) *Qua⁴ bong⁵ ro'i¹ lên¹ mai⁵ nha²* (букв. «мяч падать подниматься крыша дом») «Мяч упал (наверху) на крышу дома».

Видно, что описываемая ситуация одна и та же, различен лишь «взгляд человека на мир» в пространственной ориентации. В первом примере ориентация относительно крыши дома задана направлением перемещения сверху вниз самого мяча. Во втором примере необыкновенное употребление модификатора *lên¹* «подниматься» предполагает, что крыша находится выше, чем земля. Иными словами, крыша дома рассматривается и здесь как ориентир, но поверхность земли — как точка отсчета ориентации. Подчеркнем, что в этом случае наблюдатель не при чем: он может стоять на любом месте — на третьем этаже соседнего дома или во дворе. Аналогичным образом можно толковать высказывания:

(48) *No⁵ ngôⁱ² xưông⁵ đư'o'i⁵ đâi⁵* (букв. «он сесть спускаться низ; понизу земля») «Он сел вниз на землю».

(49) *No⁵ ngôⁱ² đư'o'i⁵ đâi⁵* (букв. «он сидеть низ; понизу земля») «Он сидел (понизу) на земле», где имеется совпадение ориентира «земля» и точки отсчета «земля» (как абсолютный низ).

Любопытно употребление слова *đu'o'i⁵* «низ, внизу, понизу (у самой земли)» в следующих примерах:

(50) *Cu⁶ gia² ngôⁱ² o'⁴ đư'o'i⁵ gôc⁵ cây¹* (букв. «старик сидеть находиться; у низ; понизу комель дерево») «Старик сидит у (комля) дерева».

(51) *Cu⁶ gia² đì¹ ra¹ chô³ đư'o'i⁵ gôc⁵ cây¹* (букв. «старик идти выходить место низ; понизу комель дерево») «Старик пошел к (комлю) дерева».

Ясно, что здесь дерево выступает в роли ориентира, а земля — в роли точки отсчета ориентации.

Функционирование пространственного противопоставления *trong¹ — ngoai²* «внутреннее — внешнее, наружное» и соответственно оппозиции *vaô² — ra¹* «войти — выйти» представляет особый интерес в связи с точкой отсчета ориентации. Ср. две фразы:

(52) *No⁵ đư'ng⁵ tru'o'c⁵ cu'a⁴* «Он стоит перед дверью».

(53) *No⁵ đư'ng⁵ sau¹ cu'a⁴* «Он стоит за дверью».

Прежде всего следует отметить, что ориентация в ситуациях, описываемых такими высказываниями, как приведенные выше, зависит от способа человека мыслить данную дверь как «наружную» (у входа прихо-

⁴ Ср. сходный термин у Тэлми «secondary reference object» [13].

жей) или «внутреннюю» (у входа гостиной или спальни). В случае «наружной» двери абсолютная ориентация относительно нее задается местоположением субъекта высказывания: первая фраза уместна в ситуации, когда он находится у двери, например, на площадке, перед домом; а вторая фраза является описанием ситуации, в которой он стоит в доме, за дверью. При относительной ориентации относительно «внутренней» двери местонахождение субъекта высказывания не имеет значения: он может стоять по любую сторону от двери комнаты. Важно только одно: он находится или нет в поле зрения говорящего. Например, *No⁵ du'ng⁵ sau¹ cu'a⁴* «Он стоит за дверью» предполагает, что субъект невидим говорящим. Рассмотрим далее предложение:

(54) *No⁵ du'ng⁵ o'⁴ ngoai² cu'a⁴* (букв. «он стоять находится; у снаружи дверь») «Он стоит перед /за дверью», которое описывает ту же самую ситуацию, что в (52), но только с другой ориентацией. В этом слу-

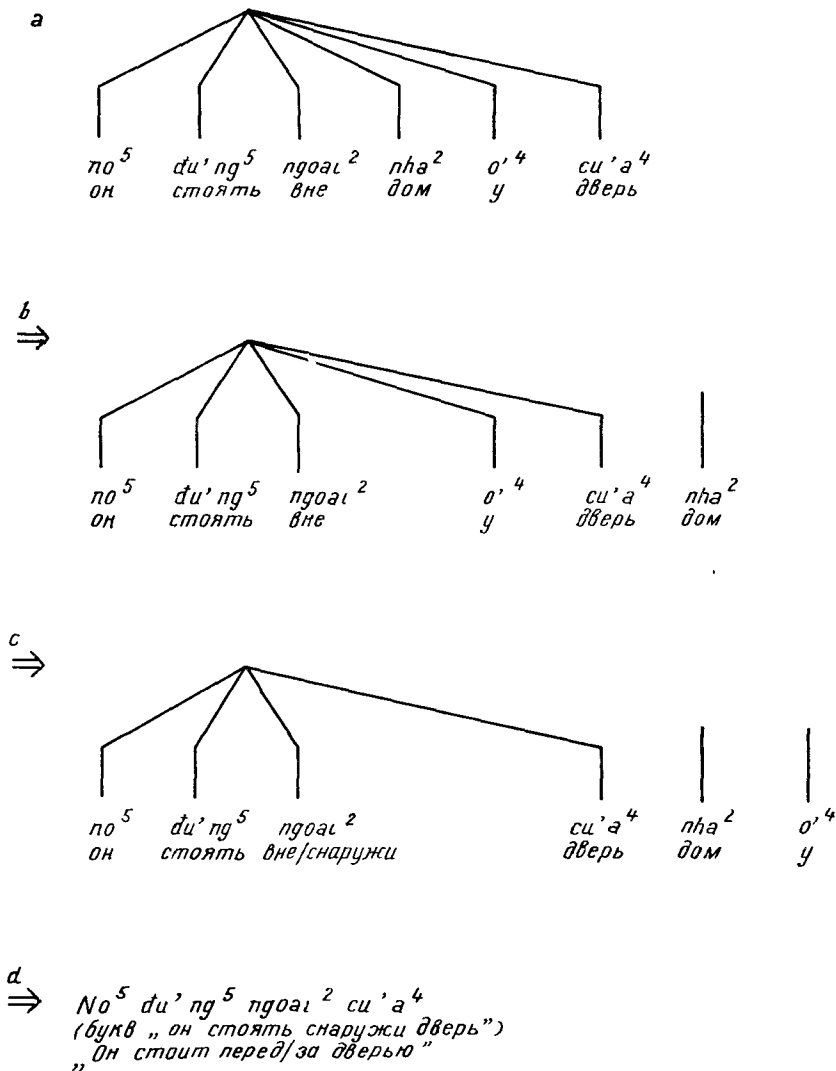


Рис. 3

чае местоположение субъекта определяется не только относительно ориентира двери, но и дома как точки отсчета: o^4 *ngoai² cu¹* a^4 значит «находясь вне дома (на улице, во дворе, в коридоре и т. п.), у двери». Здесь положение наблюдателя нерелевантно: он может находиться на дороге или в доме или даже на вертолете, летающем над домом. Используя с некоторым изменением способ изображения Л. Тэлми [12], можно представить процесс деривации от «глубинной» до «поверхностной» структуры описываемой ситуации следующим образом (см. рис. 3).

Роль дома в качестве точки отсчета ориентации наблюдаем в таких выражениях: *ngoai² tro¹i²* (букв. «снаружи небо») «на открытом воздухе», *ngoai² sân¹* (букв. «снаружи двор») «во дворе», *ngoai² đu¹o¹ng²* (букв. «снаружи дорога») «на дороге», *ngoai² phđ⁵* (букв. «снаружи улица») «на улице», *ngoai² cu¹a⁴ hang²* (букв. «снаружи магазин») «у магазина»... Следует их отличать от *ngoai² vong²* «вне круга», *ngoai² nha²* «вне дома», *ngoai² nu¹o¹c⁵* «вне страны» и т. д., в которых ориентация задана только относительно ориентира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
2. Апресян Ю. Д. Некоторые соображения о дейксисе в связи с понятием наивной модели мира // *Teoria tekstu*. Wrocław, 1986.
3. Величковский Б. М. и др. Представление реального и воображаемого пространства // *Вопросы психологии*. 1986. № 3.
4. Гак В. Г. Беседы о французском слове. М., 1966.
5. Кибрик А. Е. К типологии пространственных значений (На материале падежных систем дагестанских языков) // *Язык и человек*. М., 1970.
6. Шемякин Ф. Н. Ориентация в пространстве // *Психологическая наука в СССР*. Т. I. М., 1959.
7. Шемякин Ф. Н. Язык и чувственное познание // *Язык и мышление*. М., 1977.
8. Clark H. Space, time, semantics and the child // *Cognitive development and the acquisition of language*. N. Y., 1973.
9. Fillmore Ch. Santa Cruz lectures on deixis. Bloomington, 1975.
10. Fillmore Ch. Towards a descriptive framework for spatial deixis // *Speech, place and action*. N. Y., 1982.
11. Leech G. Svartvik J. A communicative grammar of English. L., 1975.
12. Talmy L. Semantics and syntax of motion // *Semantics and syntax*. V. 4. N. Y., 1975.
13. Talmy L. How language structures space // *Spatial orientation: theory, research and application*. N. Y., 1983.
14. Леонтьев А. А. Национальные особенности общения как междисциплинарная проблема. Объем, задачи и методы этнопсихолингвистики // *Национально-культурная специфика речевого поведения*. М., 1977.
15. Шемякин Ф. Н. О связи пространственных представлений с восприятиями // *Проблемы восприятия пространства и времени*. Л., 1961.
16. Ли Тоан Тханг. Пространственная ориентация в движении // *IV Международный симпозиум ученых социалистических стран по теоретическим проблемам языков Азии и Африки: Тез. докл. вьетнамских языковедов*. Ханой, 1986. (на вьетн. яз.).
17. Wierzbicka A. Ethno-syntax and the philosophy of grammar // *Studies in language*. 1979. V. 3. № 3.
18. Поршнев Б. Ф. Принципы социально-этнической психологии. М., 1964.
19. Королев С. И. Вопросы этнопсихологии в работах зарубежных авторов. М., 1970.
20. Кон И. С. К проблеме национального характера // *История и психология*. М., 1971.
21. Топоров В. Н. Первобытные представления о мире // *Очерки истории естественнонаучных знаний в древности*. М., 1982.
22. Драгунов А. А. Исследования по грамматике современного китайского языка. Т. I. Л., 1952.
23. Солнцева В. М. К сопоставлению вьетнамской предложной и китайской послеложной системы // *Языки Китая и Юго-Восточной Азии*. М., 1963.

БАРАНОВ А. Н.

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В СТРУКТУРЕ ЯЗЫКА

(паремиология и лексика)

В современной лексической семантике давно уже стало общепринятым положение, согласно которому лексика языка представляет собой модель окружающего мира. В ней специфическим образом зафиксирована определенная совокупность знаний о его структуре и функционировании [1—3]. Аналогичные представления, имеющие очевидную семиотическую окраску, привлекались для описания паремиологической системы языка — пословиц, поговорок, загадок и т. д., часто рассматриваемой как особый уровень языковой организации [4]. Наивной картинке мира соответствует свой специфический кодекс правил или, по Аристотелю, особая логика практических рассуждений [5], цель которой состоит в обосновании актов принятия решения, сопровождающих повседневную практическую деятельность человека. Тем самым, с нашей точки зрения, логика практических рассуждений отличается от формальной [или теоретической (см. [6])] не только ориентацией на процесс принятия решений, но и тесной зависимостью от наивной картины мира, формирующейся под непосредственным влиянием естественного языка. Логика практических рассуждений (или естественная логика) включает в качестве одного из важнейших компонентов представления аксиологического характера, т. е. определенным образом организованную совокупность знаний о способах оценки ситуаций и их частей, которая лежит в основе выбора тех или иных практических действий [7, с. 5].

По крайней мере со времен В. И. Даля отмечается оценочный характер значительной части паремий (ср. рубрики сборника пословиц В. И. Даля «Хорошо — худо», «Много — мало», «Далеко — близко» и др. [8]). С указанной точки зрения весьма интенсивно в последнее время изучается и лексическая система языка [7, 9]. Исходя из предположений о том, что между лексической и паремиологической системами языка имеет место некоторый морфизм [10], и учитывая то обстоятельство, что важнейшими компонентами лексики и паремии как моделирующих систем (ср. понимание языка как моделирующей системы в [11]) являются представления аксиологического характера, естественно поставить вопрос о том, каким образом коррелируют являющиеся принадлежностью этих двух систем способы оценки. Ниже представлены некоторые результаты поиска ответа на этот вопрос.

1. Типы оценок. Аксиологические шкалы и уровни оценки. Представление об оценке в философии (особенно в этике), логике и, как следствие этого, в лингвистике связывается прежде всего с оценочными предикатами *хорошо* и *плохо*, исследованию которых посвящена довольно значительная литература (см. [9, 12, 13], см. также в [6] подробные ссылки на имеющиеся исследования по этой проблеме). Такое сужение концепта оценки не-

случайно: в семантике лексем *хорошо* и *плохо* преобладает оценочный компонент значения, дескриптивная же часть как бы вторична. Тем самым за основу логико-философской интерпретации оценки берется «центральная» область соответствующей когнитивной категории. Однако с лингвистической точки зрения суженное понимание оценки вряд ли оправдано, поскольку в этом случае из сферы анализа исключается целый ряд естественных языковых феноменов, реализующих «периферию» когнитивной процедуры оценивания. Так, не следует думать, что предикаты с преимущественно дескриптивным значением (типа *красный*, *большой*, *ранний* и т. п.) не могут использоваться в акте оценки и, наоборот, что собственно оценочные лексемы *хорошо* и *плохо* не имеют дескриптивных употреблений. В первом случае квалификация объекта как красного, большого и т. п. вне связи с тем, хорошо это или плохо для кого-либо, вполне может предполагать или иметь следствием определенные действия субъекта, что является одним из важных признаков процедуры оценивания; во втором случае общеоценочные предикаты *хорошо* и *плохо* в дескриптивном употреблении характеризуют лишь группу свойств объекта, типичных для «хороших» представителей данного класса объектов [14, 6].

Тем самым с определенной точки зрения значительная часть предикатов, в значении которых содержится указание на приписывание объекту, ситуации или пропозиции некоторого признака, должна по крайней мере допускать оценочные употребления. Об этом свидетельствуют и сочетаемостные свойства слов *оценка* и *оценивать*, выражающих обыденные представления человека об оценочных категориях (ср. оценки рациональные и эмоциональные, правильные и неправильные, оправданные и неоправданные, истинные и ложные, естественные и неестественные, этические и утилитарные, количественные и качественные и т. д.). Здесь мы вступаем в сферу частных оценок, многообразие которых исключительно велико [7]. Существенно, что носитель языка включает в число оценок не только ценностно-ориентированные концепты (ср. *правильный* — «истина», *неправильный* — «ложь»), но и понятия, которые могут далеко отстоять от ценностных категорий; так, количественные оценки по [6, с. 25] также относятся к оценочным концептам особого типа.

Такая интерпретация оценочных категорий опирается на определенные представления о структуре когнитивной процедуры оценивания. Последняя включает по крайней мере следующие важнейшие компоненты: (i) выбор объекта (предмета) оценки; (ii) выбор признака (основания) оценки; (iii) сопоставление предмета оценки с оценочным признаком; (iv) выбор значения признака оценки; (v) приписывание значения признака оцениваемому объекту; (vi) ориентация акта приписывания значения оценочного признака на возможность участия в процессе принятия решения (последний включает выявление альтернатив разрешения проблемной ситуации, оценку альтернатив, выбор одной из них).

Участие в процессе принятия решения в первую очередь присуще оценкам в точном смысле этого слова, т. е. предикатам с преобладанием оценочного компонента значения (ср. «рекомендательную» функцию оценки по [14]). Дескриптивный характер количественных и прототипических оценок (см. ниже) делает их в этом отношении менее определенными.

Заметим, что «выбор» в акте оценки имеет тот же статус, что и в контрастивных конструкциях [15] и рестриктивных определениях. Таким образом, речь идет об эксплицитном, явном выборе значения признака оценки; при отсутствии явных альтернатив оценки процедура оценивания становится невозможной и превращается в дескрипцию. В предло-

женном понимании оценка не равнозначна не только дескрипции, но и классификации, поскольку классификация — это процедура, приводящая к разбиению множества объектов (ситуаций) на группы на основании предварительной оценки элементов этого множества (о различии оценки и классификации см. также [9, с. 145—149]).

Когнитивные категории по-разному проявляются в структуре естественного языка [16]. Естественноязыковые рефлексы ментальной процедуры оценивания сосредоточены преимущественно в области иллокутивной семантики и в сфере лексического значения. В первом случае следует говорить о речевом акте оценки, а во втором — о соотношении оценочных и дескриптивных смыслов в плане содержания слова. Компоненты содержания оценки как особого типа речевого акта определяются структурой ментальной процедуры оценивания. Языковая оценка говорящим объекта X как q (обладающего характеристикой q) означает, что «говорящий, определив некоторый признак Q [основание оценки], сопоставив Q с X , выбрав в результате сопоставления q [значение признака Q] и полагая, что выбор q для X может влечь некоторое следствие Y [аналог акта принятия решения], говорит: q (есть) характеристика X ».

При таком подходе сама «характеристика» выступает как инвариант дескрипции и оценки. Варьирование оценочных и дескриптивных свойств характеристики q определяется эксплицитностью переменных Q и Y . Переменная Q представлена признаком (основанием) оценки и соответствующей этому признаку шкалой; q выражает конкретное значение признака Q . Предположительная связь q с Y отражает представления говорящего об участии оценки в акте принятия решения, т. е. о «рекомендательной» силе оценивания. Чем менее определен признак Q , его шкала, выбор q и основания этого выбора, чем меньше ясности с принятием решения Y , тем меньше собственно оценочных свойств у характеристики q . Тем самым истинная оценка отличается от истинной дескрипции прежде всего *каузальностью* (т. е. наличием обоснования характеристики q — установлением признака Q и сопоставлением его с X), *выбором* (выбор значения признака Q на основании его сопоставления с X) и *ориентацией на акт принятия решения*.

В силу этого вопрос *почему* более уместен по отношению к оценке, чем к дескрипции; оценка должна быть внутренне обоснована, аргументирована, ср.: — *Вы уже работали раньше?* — *Да, недолго.* — *Это плохо.* — *Почему?* — *Потому что недолго*; дескрипция же в точном смысле спонтанна и часто неконтролируема, ср.: — *Комната была совсем пуста, лишь в середине стоял круглый дубовый стол.* — *?Почему круглый?* Отсюда легкость мотивировки оценки и затруднительность мотивировки истинной дескрипции, ср.: *Он неосторожен / вероломен, потому что... и ?Снег бел, потому что...*, ср., однако, появление оценочной составляющей во фразе *Снег еще бел, потому что недавно выпал*. Собственно говоря, мотивировка дескрипций возможна, однако для этого говорящему приходится привлекать законы онтологии, т. е. в качестве признака Q выступают закономерности устройства реального мира, ср.: *Снег бел, потому что так устроен мир; Этот стол круглый, потому что его так сделали* и т. п. Тем самым обоснование дескрипций требует привлечения более общих категорий, относящихся к модели мира субъекта, к его представлениям о действительности.

Для изучения функционирования оценочных категорий часто привлекаются определенным образом упорядоченные аксиологические шкалы,

соответствующие оценочному признаку [9, 17—19]. В этом случае моделью акта оценки является выбор фиксированных в данной ситуации общения отрезков или точек шкалы. Для дальнейшего изложения наиболее существенно представление о количественных, прототипических, гомеостатических и общих оценках, а также о связанных с ними аксиологических шкалах. Одним из исходных пунктов аксиологического анализа ситуации и ее компонентов является оценка по количественным параметрам (ср. счетные слова в китайском и других языках, а также русские лексемы *штука, килограмм, литр* и др.). Преимущественно дескриптивный статус лексических единиц с «количественным» значением, как правило, приводит к игнорированию «оценочного потенциала» этого важного класса лексем, имеющих не только дескриптивные, но и оценочные употребления, на что недвусмысленно указывают зафиксированные в лексической системе языка — в предикатах типа *оценивать, давать оценку* — наивные представления о сущности оценивания (ср. пример Дж. Остина: *Давать оценку — верную или неверную — например, что сейчас половина третьего* [20, с. 112]). Количественные оценки входят в больший класс дескриптивных оценок, представленных в акте оценивания лексемами, в значениях которых преобладает дескриптивный компонент. Терминологического противоречия здесь не возникает, поскольку в оценочных словах органично соединены дескрипция и оценка; фактически речь может идти лишь о преобладании дескриптивных или оценочных смыслов. В функции дескриптивных оценок могут выступать, например, прилагательные, обозначающие цвета, ср.: *Это яблоко слишком зеленое, сорви другое, вот то — красное*. Понятно, что оценочные смыслы в наибольшей степени проявляются в предикативной позиции. Из дескриптивных оценок нас далее будут интересовать преимущественно количественные оценки (К-оценки).

Количественная оценка позволяет сопоставить результаты первичного аксиологического анализа с некоторой прототипической шкалой прагматического характера, дающей возможность выявить положение исследуемой ситуации (или ее компонентов) по данному количественному параметру среди других аналогичных ситуаций (иными словами, сравнить с тем, «что бывает»). Для выражения таких оценок часто используются наречия степени *много, мало, немного, чуть-чуть* в примерах типа (1) *Он получает мало писем*; (2) *В графине еще оставалось немного (чуть-чуть) воды*. В этом случае можно говорить о прототипических оценках (П-оценках). С другой стороны, количественные оценки (прямо или через посредство прототипических) могут быть использованы для характеристики ресурсов, необходимых для достижения тех или иных целей, преследуемых субъектом. Рассматриваемый тип оценок также связан с аксиологической шкалой, позволяющей выявить степень приложения усилий, требуемых для достижения некоторой цели, и сравнить ее с «запасом» соответствующих ресурсов, имеющихся у человека. Такие оценки называются ниже гомеостатическими или целевыми (Г- или Ц-оценки), поскольку они связаны с обеспечением условий гомеостаза¹ (ср.: *Этого вполне достаточно, Это меня устроит — достаточно для достижения некоторой цели; Этих денег слишком мало — недостаточно для достижения цели*). Общие оценки (О-оценки), выражаемые прежде всего аксиологическими предикатами *хорошо и плохо*,

¹ Под гомеостазом понимается такое состояние системы (организма), при котором обеспечивается ее относительное постоянство и устойчивость ее главных функций.

существенно более субъективны и одновременно более универсальны. Они могут характеризовать отношение человека к любому из предшествующих типов оценок, связывая их со свойствами, подобными желательности и нежелательности. Таким образом, общие оценки представляют собой метаоценочную категорию, сферой действия которой является не просто ситуация или соответствующая ей пропозиция, а своеобразная «амальгама», сплав из описания положения дел и приписанных этому положению дел частных оценок различных типов. Более подробно взаимодействие оценочных категорий обсуждается ниже, а теперь вернемся к шкалам прототипических, гомеостатических и общих оценок.

Шкалу количественных оценок можно представить в виде оси, элементы которой расположены слева направо в порядке возрастания. В зависимости от ситуации элементам приписывается соответствующая размерность (*штука, килограмм, метр* и т. д.). Шкала прототипических оценок усложнена в том отношении, что на ее элементах определены области минимума, максимума и П-нормы. Значение некоторого признака Q , характеризующего положение вещей W , будет для W прототипической нормой (П-нормой), если оно присуще большинству обладающих данным признаком положений вещей из некоторого множества A , к которому принадлежит и W , или если оно присуще W в большинство моментов его существования.

На шкале целевых оценок слева направо уменьшается легкость в достижении некоторой цели и, соответственно, возрастают усилия, необходимые для этого. Кроме областей максимума, минимума и Г-нормы, шкала гомеостатических оценок имеет еще область расширения Г-нормы. Значение некоторого признака Q будет гомеостатической нормой (Г-нормой) при достижении цели i , если оно позволяет достичь i , приложив усилия, меньшие или равные П-норме (термин «усилия» может характеризовать здесь затрату любого ресурса, имеющегося в распоряжении субъекта). Под целью в этом случае следует понимать такое положение вещей, которое некто намеренно хочет каузировать, чтобы обеспечить себе или какому-либо другому лицу оптимальные условия функционирования. Расширение Г-нормы образуют те из значений признака Q , при которых достижение цели i требует приложения чрезмерных (т. е. больших П-нормы) усилий или чрезмерного расходования какого-либо другого ресурса. Расширенная Г-норма при такой интерпретации представляет собой «соединение» Г-нормы и ее расширения (о понятии «нормы» см. [21, 18], см. также определение двух типов норм в [22]). Заметим, что введенные понятия П- и Г-норм достаточно естественно коррелируют с двумя важными значениями естественного языкового слова *норма*: «П-норма» соответствует *норме* как «узаконенному установлению / установленной мере чего-либо», а «Г-норма» — *норме* как «образцу, правилу», требующему подражания и действия; в этом смысле Г-норма более императивна². Все многообразие различных типов норм, исчисленных в [24], по-видимому, может быть сведено к П- и Г-нормам.

Последовательное различение этих двух категорий может стать ключом к объяснению ряда естественных языковых феноменов в картине взаимодействия семантики общеоценочных предикатов *хорошо* и *плохо*, с одной стороны, и понятия «нормы» — с другой [9, с. 19—21, 50—51]. Кроме

² Ср. также противопоставление «синтагматической» и «парадигматической» норм в [23].

того, оно позволит более точно описывать результаты введения отрицания в некоторые предикаты, ориентированные на П-шкалу. Так, в [24, с. 145] делается вывод, что отрицание одного конца оценочной шкалы приводит, как правило, к другому концу, ср.: *большой vs. небольшой* (= *малый*). Однако реальная картина здесь более сложна — отрицание «большого» конца шкалы может вести к появлению Г-оценки и совмещению ее с П-оценкой; *небольшой* — это не просто «меньше П-нормы» (т. е. *малый*), но и «равенство Г-норме». Ср. нежелательность **Эта небольшая комната мне не подходит* при естественности *Эта маленькая комната мне не подходит* и *Эта небольшая комната мне вполне подойдет* (см. подробнее [22], см. также ниже). Судя по [23], сходным образом ведут себя французские выражения: «*il y a peu de lait* „молока немного, мало“, например, если много выпили и об этом сожалеют, и *il y a un peu de lait* „есть немного молока“, например, если выпили, но об этом не жалеют» [23, с. 107].

Свойство совмещения П- и Г-оценок распространяется и на многие прилагательные со значением неострого контраста типа *небольшой, неширокий, невысокий* и пр. Сложный аксиологический статус их значений (проявляющийся, впрочем, лишь в неконтрастивных позициях) составляет один из факторов, лежащих в основе особенностей их функционирования и сочетаемости, отмечаемых в [25, с. 311], со ссылкой на [26]. Так, невозможность образования сравнительной степени (**небольше, *невыше, *нешире*) по сравнению с обычными параметрическими прилагательными (*больше, выше, шире*) объясняется тем, что при этом теряется соотношение с Г-нормой и семантическая валентность на Г-норму, присущая прилагательным неострого контраста, «повисает в пустоте», не заполняясь ничем. Запрет на сочетаемость с наречиями, имеющими значение очень большой степени, типа **необыкновенно невысокий / неширокий / небольшой*, также определяется семантической связью с Г-нормой. В этом случае наречие, указывающее на значительное отклонение от П-нормы, фокусирует внимание на прототипической оценке и не сочетается с Г-оценкой, оставляя ее в стороне (ср.: ?*необыкновенно подходящий*). Те же факторы действуют в запретах на сочетаемость с наречиями типа *почти*, поскольку в таких контекстах отрицается соответствие Г-норме; при этом соотношение с П-нормой видоизменяется во вполне допустимых пределах (ср.: *почти большой* и **почти небольшой*).

Разумеется, связь лексического значения с аксиологическими категориями может быть и более простой. Так, наречия *много* и *мало* соотносимы как с прототипическими, так и с гомеостатическими оценками [ср. пример (3) *Он получал много / мало писем*, в котором представлена П-оценка («количество получаемых им писем больше / меньше П-нормы» \approx «он получал больше / меньше писем, чем другие») и пример (4) *Этих денег все равно мало для покупки магнитофона* («недостаточно для достижения цели *i*, т. е. покупки магнитофона», или «меньше расширенной Г-нормы»)]. Предикат *слишком* используется в таких ситуациях, когда значение соответствующего признака таково, что делает невозможным достижение некоторой цели (Г-оценка). Лингвистическая релевантность общих оценок, в шкале которых имеются области экстремумов — «хорошо» и «плохо» и зона «безразличия», «нейтральности», в особом доказательстве не нуждается.

Рассмотренные типы оценок и их шкалы образуют у р о в н и о ц е н к и ситуации и ее компонентов. Взятые в целом, они представляют иерархию уровней оценивания: количественные оценки \rightarrow прототипические оценки \rightarrow гомеостатические оценки \rightarrow общие оценки. В этой иерархии

слева направо уменьшается дескриптивность оценки и усиливаются ее собственно оценочные свойства (каузальность, наличие выбора и очевидность ориентации на процесс принятия решений).

Прохождение всех уровней в процессе оценивания соответствует полной аксиологической процедуре. Не следует, однако, упрощать ситуацию: акт оценки не обязательно требует последовательного продвижения от одного уровня к другому в соответствии с оценочной иерархией. Более того, отклонения от «стандартного» пути оценки, т. е. от полной процедуры, задают типологию оценочных ситуаций, анализ которой сам по себе представляет значительный интерес. Приведем здесь лишь один пример: в ряде ситуаций сделать К-оценку не представляется возможным. В этом случае допустима непосредственная П-оценка, которая при необходимости может быть проинтерпретирована в терминах Г- и О-оценок, ср.: *Не знаю я, сколько в нем Метров / И Литров, И Килограмм, / Но Тигры, когда они прыгают / ОГРОМНЫМИ кажутся нам* [27, с. 116]. Кроме того, рассмотренные типы оценок связаны сложными взаимоотношениями. С одной стороны, К-оценки предшествуют П-оценкам, а П-оценки — Г-оценкам, по крайней мере, в том смысле, в котором описание ситуации предшествует ее оцениванию (это вполне соответствует естественной стратегии анализа ситуации). Однако, с другой стороны, «градуирование как психологический процесс предшествует измерению и счету» [21, с. 43], т. е. использование шкал К-оценок основано на сравнении и первичном градуировании недискретного континуума действительности в терминах, которые восходят к П-оценкам. Это касается и взаимодействия П- и Г-оценок. Формирование шкал П- и Г-оценок имеет взаимозависимый характер: фактически выражение *много Q* в смысле П-оценки имплицитно содержит информацию о том, что данного значения *Q* достаточно для достижения многих целей; с другой стороны, Г-норма прямо связана с оценкой прилагаемых усилий в терминах П-оценок (см. выше определение Г-нормы и расширенной Г-нормы).

В настоящей статье мы рассмотрим некоторые примеры взаимодействия количественных, прототипических, гомеостатических и общих оценок, т. е. попытаемся выявить наиболее типичные способы перекодировки К-, П-, Г- и О-шкал друг в друга или, другими словами, проанализируем некоторые варианты совмещения оценок различных типов, характеристических для логики практических рассуждений и фиксированных в структуре языка. Способы совмещения шкал иллюстрируются на материале паремий и некоторых предикатных лексем.

2. Аксиология паремии. Пословицы и поговорки представляют исключительно богатый материал для изучения закономерностей естественной логики, ее аксиологических закономерностей и анализа зафиксированных в языке стратегий оценивания. Выявление аксиологического потенциала пословиц и поговорок небезынтересно и для паремииологии как науки, поскольку в рамках собственно паремииологических исследований этому, как кажется, не уделялось должного внимания. Большинство имеющихся семантических классификаций паремий если и учитывает оценочные характеристики, то в весьма общей форме (ср. классификацию Дж. Б. Милнера в [28] и ее критику в [29]). Между тем выявление типов оценок и стратегий оценивания, зафиксированных в паремииологическом фонде, может служить основой классификации оценочных паремий. Особый интерес вызывает изучение того, в какой последовательности следуют в поверхностной структуре паремий типы оценок. Можно предположить,

что выявленные здесь закономерности отражают наивные (и часто неосознаваемые) представления носителей языка об аксиологических стратегиях.

Следует сразу оговориться, что предлагаемая ниже классификация стратегий оценивания ограничена по целому ряду параметров. Во-первых, она ориентирована лишь на эксплицитное выражение оценок в пословице, т. е. для фиксации типа оценки требуется наличие ее лексического представителя в поверхностной структуре паремии. Отсюда ясно, что в классификации учитывался лишь один слой значений пословицы — наиболее явный (об устройстве структуры плана содержаний паремий см., в частности [10, 30]). Анализ более глубоких слоев содержания и аксиологических следствий — особая задача, затрагиваемая здесь лишь частично. Во-вторых, основное внимание уделяется бинарным аксиологическим стратегиям, т. е. «двушаговой» оценке типа «Г-оценка → О-оценка», «П-оценка → Г-оценка» и т. д., поскольку они являются базовыми аксиологическими процедурами. И, в-третьих, поскольку цель исследования заключается в определении порядка следования оценок различных типов в поверхностной структуре пословиц, рекомендуемых (в широком понимании) те или иные аксиологические стратегии, то на привлекаемые к анализу паремии накладывались ограничения. Ядро исследуемого материала составили те паремии, которые с формальной точки зрения содержат два достаточно распространенных компонента, связанных главной предикацией, в которых выражаются соответствующие оценки. Содержательные ограничения касались прежде всего совместимости паремий с семантикой рекомендации. Интерпретация лексем с количественным значением упрощена в том смысле, что они рассматривались лишь в сфере действия иллокутивной силы акта оценивания, существенно усиливающей их оценочный потенциал и, соответственно, способность к «рекомендации». А «рекомендательность», по-видимому, составляет основу иллокутивной семантики пословицы. Следует также иметь в виду, что приводятся лишь те стратегии оценивания, которые наиболее часто встречаются в паремиях.

А. Стратегии с исходной количественной оценкой³.

I. Количественная оценка → прототипическая оценка: (5) а) *Одной жены / сына мало*; б) *Одна пчела — мало меду*; в) *Один враг — много, а сто друзей мало*.

II. Количественная оценка → гомеостатическая оценка: (6) а) *Одним конем все поле не изъездишь*; б) *Одно полено гореть не будет*; в) *Одну хворостину трудно зажечь, одного сына трудно научить*; г) *За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь*; д) *Из-за одного цветка букет не распадется*.

III. Количественная оценка → общая оценка: (7) а) *Одиночество опасно*; б) *Одному лучше всего*; в) *Две жены — неприятность*.

IV. Количественная оценка → количественная оценка: (8) а) *Двенадцать ремесел — четырнадцать несчастий*; б) *Девять ремесел — десять нищих*; в) *Два льва стоят десяти гиен*; г) *Один — это все равно, что никто*.

Стратегии оценивания, представленные в этой группе паремий, основываются на количественной оценке. Хорошо видно, что сама по себе количественная оценка недостаточна и предполагает дальнейшую аксиологическую интерпретацию. Так, четвертая подгруппа паремий, содержа-

³ Примеры паремий взяты из [8, 31].

щая обращение только к К-оценке, не может быть адекватно понята без расширения аксиологической процедуры до П-, Г- или О-оценок. Ср. легкость понимания примеров (8в, г), поддающихся дальнейшей интерпретации с помощью других типов оценок, и некоторую неясность паремий (8а, б), к которым применимость О-оценки, имплицитно содержащейся в лексемах *несчастье* и *нищий*, вне культурно обусловленных представлений о значимости несчастий в человеческой жизни (достоинства лишь складываются, а недостатки и печали умножаются) далеко не очевидна. Первые две подгруппы паремий не предполагают обязательного расширения аксиологической процедуры за счет других типов оценок, хотя и допускают это; для третьей подгруппы («К-оценка → О-оценка») расширение уже бессмысленно: О-оценка — конечный этап аксиологической процедуры.

Комбинаторика сочетания конкретной К-оценки с точками П-, Г- и О-шкал в данном случае, вообще говоря, произвольна. Анализ показывает, что одна и та же К-оценка в разных ситуациях может иметь различную интерпретацию: одного X может быть и много (5в), и мало (5а, б); достаточно (расширение Г-нормы), как в паремии (6в), и недостаточно (5а, б); это может интерпретироваться и как «хорошо» (7в), и как «плохо» (7а, б).

Б. Стратегии с исходной прототипической оценкой.

I. Прототипическая оценка → го меостатическая оценка: (9) а) *Когда много слуг, дело не делается*; б) *Скоро поедешь — не скоро доедешь*; в) *Мало-помалу птичка гнездо свивает*; г) *Мал горшок, да мясо варит*; д) *Из большого немудрено убавить, а из малого?* е) *Из большого выкроишь, а из малого зубами не натянешь*.

II. Прототипическая оценка → об щая оценка. (10) а) *Много детей — много благодати*; б) *Много детей — много неприятностей*; в) *Лучше меньше, да лучше*; г) *Много хорошо, а больше — лучше того*.

III. Прототипическая оценка → прототипическая оценка: (11) а) *Захочешь много — получишь мало*; б) *Много голов — много умов*; в) *Велик телом, да мал делом*; г) *Мал соловей, да голос велик*.

Комбинаторные варианты сочетаний П-, Г- и О-оценок в паремиях, отражающих предпочтение стратегий с исходной прототипической оценкой, также чрезвычайно разнообразны — вплоть до рекомендаций противоположного. Например, из пословиц (9д, е) можно сделать вывод, что много чего-либо во всяком случае не мешает делу, а примеры (9а, б, г) ориентируют носителя языка на то, что к большому стремиться не следует. Аналогично обстоит дело во второй группе паремий, представляющих стратегию «П-оценка → О-оценка». При интерпретации третьей группы пословиц (стратегия «П-оценка → П-оценка»), как и при понимании паремий со стратегией «К-оценка → К-оценка», желательнее (хотя и в несколько меньшей степени) имплицитное расширение аксиологической процедуры до Г- и О-оценок.

¶ Последние два типа бинарных стратегий — с начальными Г- и О-оценками — представлены в рассмотренном материале (более двухсот оценочных паремий) довольно скудно. Так, для третьего типа оценивания (с начальной Г-оценкой) удалось зафиксировать лишь стратегию «Г-оценка → О-оценка», ср. (12) *Что не годится, то и худо*. Четвертый тип — с начальной О-оценкой — представлен прежде всего стратегией «О-оценка → О-оценка»: (13) а) *Что худо, то и плохо*; б) *Что плохо, то и худо*;

в) *По добру — добро, по худу — худо*. Заметим, что в последних двух типах оценивания не предполагается никакого дополнения аксиологической процедуры — общая оценка предстает здесь как конечный пункт аксиологического анализа.

В паремиологическом фонде зафиксированы не только стратегии оценивания, но и рекомендации предпочтения тех или иных типов оценок в зависимости от конкретной ситуации. В этом случае имеет смысл говорить о «моностратегиях» оценивания. В привлеченном материале были обнаружены две стратегии такого рода. Первая — отдает предпочтение П-оценке: (14) а) *Душа меру знает*; б) *Мера всякому делу вера*; в) *Ни много, ни мало*; вторая — рекомендует носителю языка оценивать ситуацию с точки зрения достижения поставленной цели (т. е. с точки зрения Г-оценки): (15) а) *Не то худо, что худо, а то, что никуда не годится*; б) *Не время дорого, пора*.

Приведенный материал указывает на несомненную значимость порядка следования оценок различных типов в поверхностной структуре паремий и позволяет на основании этого сделать некоторые предположения о типичных сочетаниях оценок и их последовательности в аксиологических стратегиях. Оказывается, что запреты на комбинаторные варианты сочетания оценок в аксиологических стратегиях зависят от положения оценки в полной аксиологической процедуре. Тем самым иерархия оценок полной аксиологической процедуры накладывает ограничения на возможные последовательности сочетаний оценок в бинарных стратегиях. Иными словами, можно сформулировать следующий постулат аксиологии паремиики: если некоторая оценка является исходной в стратегии оценивания, то она сочетается либо с самой собою, либо с теми типами оценок, которые находятся справа от нее в последовательности «К-оценка → П-оценка → Г-оценка → О-оценка», отражающей полную аксиологическую процедуру.

Сформулированный постулат предпочтения непосредственно объясняет, почему в рассматривавшемся материале не оказалось стратегий типа «Г-оценка → К-оценка», «О-оценка → П-оценка» и т. п. В подобных стратегиях исходная оценка находится в аксиологической иерархии правее последующей, что противоречит постулату предпочтения. Определенное представление о стратегиях такого рода может дать устойчивое словосочетание *Хорошо, да мало*; однако оно скорее соответствует не рекомендуемой стратегии оценивания, а реальной последовательности событий — скажем, когда некий ресурс был, он удовлетворял некоторой цели (здесь, по-видимому, имеется в виду получение удовольствия), когда же ресурс исчерпался — оказалось, что надо еще. Кроме того, в этом словосочетании наречие *мало* выражает Г-оценку; близок к Г-оценке и смысл оценочного слова *хорошо*. Постулат предпочтения объясняет также ненужность расширения аксиологической процедуры при интерпретации паремий, представляющих стратегии с конечной О-оценкой. При этом для стратегий «К-оценка → К-оценка», «П-оценка → П-оценка», «Г-оценка → Г-оценка» такое расширение весьма желательно.

3. Аксиологические стратегии в предикатной лексике. Неоднократно отмечалось структурное сходство между лексической и паремиологической системами языка (см., например [10]). В какой степени это наблюдение справедливо применительно к выражению аксиологических стратегий? Исходя из способа «упаковки» смысла в паремиях и лексемах, их идиоматических характеристик, метафоричности, влияния контекста на понимание языкового сообщения (и имея в виду те типы паремий с явной

двухкомпонентной структурой, которые обсуждались выше), можно предположить, что в лексемах порядок следования оценок либо вообще не будет никак выражаться, либо он будет малосущественным. Куда больший интерес представляют возможные способы сочетания оценок различных типов и типология совмещения участков К-, П-, Г- и О-шкал в аксиологических стратегиях при употреблении соответствующих лексем (для паремий типология совмещения участков шкал также весьма важна, однако из-за недостатка места эта проблема здесь практически не затрагивалась, см. [32]).

Аксиологическая структура предикатных лексем весьма разнообразна как с точки зрения набора оценочных шкал, так и с точки зрения особенностей их совмещения. Мы рассмотрим здесь лишь две группы лексических единиц, ориентированных на аксиологические стратегии с П- и Г-оценками, — наречия степени *едва*, *еле*, *чуть* (*чуть-чуть*) и вводные обороты *по крайней мере* и *по меньшей мере*.

Совмещение П- и Г-шкал в наречиях степени. Употребление наречий степени *едва*, *еле* и *чуть* (*чуть-чуть*) обнаруживает далеко не тривиальный набор стратегий оценивания ситуаций в категориях П- и Г-оценок. Так, *едва* и *еле* во фразах типа (16) *Рослый кучер едва/еле сдерживал горячих лошадей* указывают на то, что лошади были так разгорячены (П-оценка), что кучеру для того, чтобы сдержать их (достижение цели — Г-оценка), приходилось прикладывать чрезмерные усилия (усилия, большие П-нормы). В примере (17) *Тропинка была едва/еле заметна* реализуется другое значение этих наречий (вообще говоря, сводимое к первому): «степень заметности тропинки была такова (П-оценка), что если бы кто-нибудь захотел ее увидеть, то ему пришлось бы для этого приложить усилия, большие П-нормы»⁴. Тем самым стратегия оценивания в этих случаях предусматривает одновременно и П-оценку («степень горячности лошадей», «степень заметности тропинки»), и Г-оценку (цель — сдержать лошадей, увидеть тропинку), при этом способ совмещения оценочных шкал в примерах (16) и (17) различен: в (16) Г-оценка — область расширения Г-нормы, П-оценка — область «больше П-нормы»; в (17) Г-оценка — область расширения Г-нормы, П-оценка — область «меньше П-нормы».

Сходный способ совмещения шкал характеризует одно из значений наречия *чуть* (*чуть*₁), представленное в контекстах типа (18) *Сквозь сероватую мглу чуть видны широкие луга*. В предложении (19) *Серая краска на стенах была чуть-чуть заметна* реализуется другое значение *чуть* (*чуть*₂), которому соответствует иной способ совмещения П- и Г-шкал: достижение цели возможно при скромном приложении усилий [для (19) возможная цель — «увидеть краску»], хотя значение признака Q [в (19) — «заметность краски»] меньше П-нормы. Тем самым значение признака Q, меньшее П-нормы, совмещается с легкостью достижения гипотетической цели.

Этот способ совмещения шкал имеет корреляты в паремиологической системе: ср. паремии (9в) *Мало-помалу птичка гнездо свивает*; (9г) *Мал горшок, да мясо варит*, представляющие одну из стратегий с исходной П-оценкой («П-оценка → Г-оценка»).

Третье значение *чуть* — *чуть*₃, реализующееся, как правило, в редуцированной форме, связано с актуальным членением и выступает

⁴ Здесь рассматриваются лишь те части смысла наречий степени, которые существенны с точки зрения совмещения шкал П- и Г-оценок; излагаемая интерпретация основывается на [22, 33].

только в позиции ремы, ср. (20) *Он выпил [чуть-чуть]_R и не опьянел*. Здесь употребление *чуть-чуть* указывает на то, что значение некоторого признака, выраженное в предикате *P*, меньше *Π*-нормы и достичь гипотетической (или реальной) цели либо не удастся, либо для этого придется приложить чрезмерные усилия, ср. реализацию этого значения в (20): «он выпил столько, что если бы он при этом захотел опьянеть, то ему бы это не удалось». Таким образом, совмещение *Π*- и *Γ*-шкал идет по областям «меньше *Π*-нормы» — «меньше *Γ*-нормы» (включая расширение *Γ*-нормы).

Такое совмещение шкал также имеет некоторые аналоги в паремиологической системе, ср. пословицы: (9д) *Из большого немудрено убавить, а из малого?*; (9е) *Из большого выкроишь, а из малого зубами не натянешь*.

А к с и о л о г и я в ы р а ж е н и й п о м е н ь ш е й м е р е и п о к р а й н е й м е р е. Из предшествующего изложения нетрудно заключить, что оценочные амальгамы — органичное соединение нескольких типов оценок — совершенно рядовое явление в сфере предикатной лексики. Иначе и быть не может — промедление в акте принятия решения (на который и ориентирована оценка) может обернуться серьезными последствиями, а это требует «запаса» готовых схем, стратегий принятия решений, закрепляемых и в паремиологии, и в лексической системе. Комбинации оценок стимулируют появление сложных способов оценивания, учитывающих целые комплексы параметров ситуации. Показательно в этом смысле функционирование выражений *по меньшей мере* и *по крайней мере*. Поскольку полное семантическое описание этих выражений отсутствует, мы остановимся на них более подробно.

Традиционные словарные дефиниции, неизбежно лаконичные и расплывчатые, наделяют оборот *по крайней мере* значениями «хотя бы, во всяком случае» и «хотя бы, не меньше чем, самое меньшее, как минимум», а фразеологизм *по меньшей мере* — значением «хотя бы, не меньше чем, как минимум» [34]. Семантическое сходство этих фразеологизмов несомненно, что хорошо видно по традиционным толкованиям. Однако уже первичный анализ языкового материала озадачивает: различий в употреблении *по крайней мере* и *по меньшей мере* куда больше, чем это предсказывают имеющиеся словарные описания — во многих контекстах замена одного выражения на другое невозможна.

Можно выделить как минимум три контекста такого рода. В первом типе контекстов анализируемые выражения выступают в сочетании с лексемами, в значение которых входит семантический элемент «больше *Π*-нормы»; в таких примерах использование *по меньшей мере* невозможно, ср.: (21) *Я чувствую, что все [рабочие], по крайней мере (*по меньшей мере) большинство, встанет под ружье, если понадобится*; (22) *Это требует использования всех ресурсов, по крайней мере (*по меньшей мере), большей их части*. Для второго типа контекстов релевантным оказывается сужение *Γ*-оценки до стремления к адекватности описания и достаточно естественная структуризация некоторого множества, попадающего в сферу действия исследуемых выражений; использование *по крайней мере* в таких контекстах затруднено, ср.: (23) *Его поведение по меньшей мере (?по крайней мере) странно* [странно > неприлично > отвратительно > гнусно], [24] *Пете он [пароход] всегда казался чудом кораблестроения, а поездка на нем из Одессы в Аккерман представлялась по меньшей мере (? по крайней мере) путешествием через Атлантический океан* [через Атлантический океан > через Индийский океан > через Тихий океан]. В третьем типе примеров реализуется семантика противопоставления; она

допустима лишь для *по крайней мере*, ср. (25): *Галя, по крайней мере (? по меньшей мере) красива, а эта — совсем никуда.*

Лишь в немногих случаях замена *по крайней мере* на *по меньшей мере* не приводит к неправильности — к их числу относятся примеры с «ресурсной» семантикой, ср. (26): а) *В нашу спортивную команду нужно, по крайней мере/по меньшей мере, десять человек;* б) *У нас еще есть время — по крайней мере/по меньшей мере, час.* Заметим, однако, что и в контекстах последнего типа, трансформированных в просьбы, такая замена также нежелательна, ср. (26в): *Дай мне по крайней мере!*по меньшей мере два рубля.* В этом случае *по крайней мере* близко по семантике одному из значений частицы *хоть*, ср.: *Дай мне хоть два рубля.* Приведенные примеры отражают основные особенности употребления выражений *по крайней мере* и *по меньшей мере*, интересные с точки зрения функционирования оценочных категорий. Эти особенности употребления могут быть объяснены, если исходить из предположения, что *по крайней мере* и *по меньшей мере* представляют различные стратегии оценки ситуации. Отправным пунктом анализа будет представление об общей ориентации этих выражений на семантику гомеостатических оценок. Различия же хорошо прослеживаются во внутренней форме этих фразеологизмов — семантика «меньшего» vs. семантика «края». Значение *по крайней мере* в первом приближении может быть описано так: *по крайней мере P* \approx «рассматривая возможности достижения цели *I* и придя к выводу, что в данной ситуации наверняка можно достичь [лишь] некоторой подцели *I P*, я говорю тебе: *P*».

В конкретных контекстах предложенное толкование может порождать некоторые следствия: «говорящий желает, чтобы приближение к цели *I* в *P* было более полным», «более полное приближение к цели *I* может оказаться возможным». Способы выражения валентности *I* при употреблении фразеологизма *по крайней мере* весьма разнообразны. В самом простом случае цель *I* непосредственно представлена в поверхностной структуре высказывания, ср.: (27) *Это потребует использования всех ресурсов, по крайней мере, большей их части;* (28) *Князь Михаил Илларионович! — писал государь—... Казалось, что пользуясь сими обстоятельствами, могли бы вы с выгодой атаковать неприятеля слабее вас или, по крайней мере, заставя его отступить, сохранить в наших руках значную часть губерний, ныне неприятелем занимаемых.* В других примерах цель несомненно присутствует, но из-за нестандартности ситуации ее трудно определить, не привлекая более широкого контекста. Так, в предложении (29) *Сидел бы лучше дома: тепло по крайней мере (*по меньшей мере)* в качестве цели может фигурировать достижение физического, морального и интеллектуального удовлетворения (при очевидной возможности достижения только физического удовлетворения).

Свойственная *по крайней мере* семантика «края», отчасти зафиксированная в толковании, не накладывает никаких ограничений на структуру множества альтернатив достижения цели *I*. По-видимому, этот фактор в какой-то степени объясняет нежелательность *по крайней мере* в примерах типа (23), (24), однако наиболее существенной здесь оказывается «вырожденность» самой цели *I*: Г-оценка здесь лишь в желании «максимально» истинно описать положение дел, огорожив себя от возможных обвинений со стороны адресата. Иными словами, в этих контекстах Г-оценка, «рутинизируясь» до требования максимальной адекватности, существенно изменяет свою сферу действия.

Аксиологическая структура *по крайней мере* двусмысленна — с одной

стороны, достижение цели I , может быть, и возможно, однако очевидно лишь достижение некоторой подцели $I - P$. Тем самым применительно к *по крайней мере* можно говорить о «моностратегии» оценивания, включающей лишь одну оценку — гомеостатическую. В этом проявляется «семантика края».

Второе рассматриваемое выражение — *по меньшей мере* — имеет более сложную аксиологическую структуру и налагает больше ограничений на множество возможностей описания ситуации: *по меньшей мере* $P_i \approx$ «рассматривая возможности характеристики ситуации s (или ее частей) по параметру P и упорядочив их по степени соответствия постулату истинности, я говорю тебе: P_i — последняя возможность в ряду возможностей, [как-то] удовлетворяющих постулату истинности». В значении *по меньшей мере* отражен феномен наведенной оценки — оценки как следствия из совокупности семантических элементов, образующих план содержания языковой единицы. В данном случае характеристика P как «последней возможности» при сопоставлении со шкалой П-оценок тяготеет к области «меньше П-нормы» — в этом, по-видимому, близость «меньшей» и «последней» меры; «последняя возможность» связывается с таким значением P , которое наименее приемлемо для говорящего в смысле соответствия постулату истинности, но еще допустимо (соответствие норме или ее расширению). Соотношение между шкалами П- и Г-оценок таково, что интерпретация значений параметра P , больших П-нормы, как «последней возможности» затруднено. Поскольку соответствие постулату истинности можно рассматривать как сужение сферы действия Г-оценки, то в значении *по меньшей мере* реализуется стратегия, предполагающая совмещение Г-нормы шкалы Г-оценок и области, меньше П-нормы, шкалы П-оценок.

Из приведенного толкования нетрудно выделить основные параметры, налагающие запреты на использование *по меньшей мере* в контекстах (21), (22), (25). К ним следует отнести (i) возможность формирования и иерархического упорядочения множества альтернатив характеристики, (ii) возможность наложения П-оценочной структуры на это множество («наведение» П-оценки); (iii) установление нижнего предела соответствия описания Г-норме. Легко видеть, что в контекстах примеров (21), (22) значение признака, соответствующего P , явно больше П-нормы, что приводит к невозможности употребления *по меньшей мере*. В примере (30) *Кто не почитает их [станционных смотрителей] извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере (*по меньшей мере), муромским разбойникам* трудно упорядочить множество вариантов характеристики S (чего, вообще говоря, не требуется при использовании *по крайней мере*). Интерпретируя последнее высказывание, современный носитель языка вряд ли сможет установить различия по признаку «быть извергом» между «покойным подьячим» и «муромским разбойником», а уж об определении П-нормы и говорить не приходится, ср. также (29). Аналогичные причины осложняют использование *по меньшей мере* в контекстах типа (25): множество характеристик обсуждаемых лиц не упорядочено естественным образом и речь идет, скорее, о количестве. Кроме того, в этих случаях большую коммуникативную значимость приобретает другая сфера действия Г-оценки — соответствие лица критериям выбора, характерная для семантики *по крайней мере*.

Интересно исследовать причины, запрещающие использование *по меньшей мере* в просьбах типа (26в). Как было показано выше, *по крайней мере* фиксирует лишь то, что P соответствует некоторой подцели I ,

тем самым в просьбе в первую очередь актуализируется смысл «дай *P*» и лишь потом (как следствие) адресат может установить, что говорящему желательно больше, чем *P*. Отсюда дальнейший шаг вывода — говорящий намекает, что и так просит мало. При употреблении *по меньшей мере* последнее куда более очевидно для адресата, поскольку это выражение непосредственно требует формирования и структуризации соответствующего множества альтернатив описания ситуации *S*. Тем самым в контексте *по меньшей мере* просьба приобретает вид «дай *P* или больше *P*», что противоречит самой стратегии поведения в подобных ситуациях — либо следует требовать *P*, намекая на то, что нужно-то больше (ср.: *по крайней мере, хоть*), либо сразу требовать больше. Действительно, и без *по меньшей мере* фразы типа **Дай мне два рубля или больше* выглядят странными (ср. также **Дай мне как минимум/не менее/не меньше двух рублей*). Переведение эксплицитной просьбы в контекст описания необходимости делает предложение совершенно нормальным, ср.: *Мне нужно как минимум два рубля*.

Предложенная интерпретация указывает на то, что в семантике *по крайней мере* и *по меньшей мере* куда меньше общего, чем это можно было бы предположить по их словарным толкованиям. Однако с точки зрения диалога их функции весьма похожи — они выражают уступку адресату: «край» и «меньшая мера» оценивания выбираются именно для того, чтобы быть максимально вежливым по отношению к собеседнику, попытавшись взглянуть на ситуацию его глазами. Стремление к достижению консенсуса (пусть чисто внешнее) при употреблении этих единиц несомненно. Основные различия в семантике *по крайней мере* и *по меньшей мере* определяются параметрами структуризации множества альтернатив достижения цели *I* и описания ситуации *S* (или ее частей); различными сферами применимости Г-оценки и возможность «наведения» П-оценки.

С точки зрения теории оценки весьма существенно, что в сфере лексики оказались зафиксированы различные стратегии оценки ситуации и различные способы совмещения Г- и П-шкал, причем одна из стратегий, связанная с *по крайней мере*, ориентирована исключительно на Г-оценку и категорию подцели, а другая — соответствующая *едва, еле, чуть* и *по меньшей мере* — требует привлечения и П-оценки (П-нормы), и Г-оценки. Обобщая результаты анализа аксиологии предикатных слов, можно с некоторой долей уверенности утверждать, что структурное сходство лексики и паремии в области оценки и есть, и нет. Оно есть, если речь идет об оценочных категориях (типах оценок) в значениях лексем и паремий, о стратегиях оценки и способах совмещения шкал. Однако его нет, если мы попытаемся найти точные аналоги значений оценочных паремий и оценочных предикатов — слишком значительны различия в количестве сочетающихся смыслов, «слитности» выражения значения, идиоматичности и т. д.

Характеристика чего-либо станет оценкой лишь тогда, когда мы захотим этого — выберем ее из некоторого парадигматического ряда (множества) характеристик, внутренне обоснуем этот выбор и свяжем с возможным процессом принятия решений. Оценка по сравнению с дескрипцией более рациональна (это, впрочем, не означает, что дескрипция сводится к инварианту дескрипции и оценки — к характеристике). Фрейм оценки задает типологию случаев отклонения от «аксиологического идеала», которая реализуется в различных типах языковых оценок, организованных в иерархию полной аксиологической процедуры.

Ориентация оценки на процесс принятия решений приводит к фиксации наиболее часто встречающихся стратегий оценивания в представлениях человека о мире и о закономерностях поведения в нем. Последнее находит отражение в языковой структуре. Языковые рефлексы когнитивных аксиологических стратегий имеют вид устойчивых последовательностей применения оценок различных типов при аксиологическом анализе ситуации и способов совмещения аксиологических шкал. Готовые аксиологические стратегии, будучи непосредственно закреплены в семантике паремий и в предикатной лексике, образуют языковые «мемы» [35], хранящие культурно зависимые представления о структуре деятельности. В этом можно видеть одну из форм языковой передачи практического опыта человечества, о чем с убежденностью писал В. фон Гумбольдт [1].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
2. Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
3. Апресян Ю. Д. Личная сфера говорящего и наивная модель мира // Семiotические аспекты формализации интеллектуальной деятельности: Тез. докл. школы-семинара. М., 1985.
4. Пермяков Г. Л. К вопросу о структуре паремиологического фонда // Типологические исследования по фольклору. М., 1975.
5. Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Соч.: В 4-х т. Т 4. М., 1984.
6. Ивин А. Л. Основания логики оценок. М., 1970.
7. Арутюнова Н. Д. Аксиология в механизмах жизни и языка // Проблемы структурной лингвистики. 1982. М., 1984. С. 5—23.
8. Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1957.
9. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. М., 1985.
10. Левин Ю. И. Провербиальное пространство // Паремиологические исследования. М., 1984.
11. Лотман Ю. М. Тезисы к проблеме «Искусство в ряду моделирующих систем» // Труды по знаковым системам. Вып. 3. Тарту, 1967.
12. Вендлер З. О слове *good* // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1981.
13. Katz J. J. Semantic theory and the meaning of «good» // Journal of Philos. 1964. V. 61. № 23.
14. Хэар Р. М. Дескрипция и оценка // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. М., 1985.
15. Чейф У. Данное, контрастивность, определенность, подлежащее и точка зрения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982.
16. Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка. М., 1985.
17. Bolinger D. Degree words. The Hague; Paris, 1972.
18. Черевякова И. В. Общие адвербиальные показатели меры признака в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1975.
19. Baranov A. N., Parshin P. B. On some hierarchies within the structure of evaluative categories // Symposium on language universals. Tallinn, 1987.
20. Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М., 1985.
21. Сэпир Э. Градуирование // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. М., 1985.
22. Баранов А. Н. К описанию семантики наречий степени (*едва, еле, чуть, немного*) // ФН. 1984. № 3.
23. Степанов Ю. С. Французская стилистика. М., 1965.
24. Арутюнова Н. Д. Ненормативные явления и язык // Язык и логическая теория. М., 1987.
25. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М., 1974.
26. Кжижкова Е. Количественная детерминация прилагательных в русском языке // Синтаксис и норма. М., 1974.
27. Милн А. Винни-Пух и все-все-все. М., 1977.
28. Milner G. B. De l'armature des locutions proverbiales: Essai de taxonomie sémantique // L'homme. 1969. № 9.
29. Дандис А. О структуре пословицы // Паремиологический сборник. М., 1978.

30. *Черкасский М. А.* Опыт построения функциональной модели одной частной семиотической системы (пословицы и афоризмы) // Паремнологический сборник. М., 1978.
31. Паремнологический сборник. М., 1978.
32. *Баранов А. Н., Паршин П. Б.* Оценочный аспект когнитивного стиля и его языковые корреляты // Когнитивные стили. Таллинн, 1986.
33. *Баранов А. Н.* Наречия *едва, еле* и их семантика // *Ceskoslovenská rusistika*. 1984. № 4.
34. Фразеологический словарь русского языка/ Под ред. Молоткова А. И. М., 1978.
35. *Hofstadter D. R.* Metamagical themas: Questing for the essence of mind and pattern. N. Y., 1985.

КАЛНЫНЬ Л. Э., КЛЕПИКОВА Г. П.

**К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ МНОГОЯЗЫКОВЫХ АТЛАСОВ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СЛАВЯНСКОГО ДИАЛЕКТНОГО КОНТИНУУМА
(На материале ОЛА и ОҚДА)**

1. Лингвогеография как раздел науки о территориально ограниченных вариантах языка более чем за сто лет со времени своего возникновения¹ прошла сложный путь развития. Не ставя перед собой задачу всестороннего анализа этого пути, можем отметить, что одной из характерных его черт является все большее усложнение объекта лингвогеографической интерпретации. Это усложнение касалось как лингвистического объекта картографирования — от отдельного слова к фрагментам системы, так и объекта отражаемых на карте диалектных континуумов.

В лингвогеографии выбор диалектной территории как объекта изучения зависит от общего уровня развития диалектологии. Лингвогеография оперирует теми диалектными различиями, которые установлены при описании и сопоставлении отдельных диалектов. По мере изучения диалектного ландшафта определенных языковых ареалов появляются возможности картографической интерпретации все больших территорий. В этом своеобразно отражается общая логика отношений сегментного и суперсегментного уровней в лингвистических исследованиях. Обычно суперсегментный анализ накладывается на сегментный. Поэтому допустимо считать, что диалектный атлас одного языка как бы «суперсегментен» по отношению к описаниям отдельных диалектов, частных диалектных систем (ЧДС), которые могут рассматриваться как единицы сегментного уровня (линейное членение континуума). Сходные отношения связывают и многоязыковой атлас с предшествующими ему атласами отдельных языков. Атласы отдельных языков достаточно четко определяют информативный уровень многоязыкового атласа. В то же время надо признать, что изучение большого языкового континуума выявляет проблемы, важные для отдельных национальных языков, но не замеченные на стадии составления одноязыковых атласов. Однако на стадии создания многоязыкового атласа эта связь между ним и национальными атласами имеет только односторонний характер. Нам уже приходилось писать о том, как вне поля зрения Общеславянского лингвистического атласа оказались палатальные смычные в севернорусских говорах [2, 3], не предусмотренные в свое время как объект изучения программой Диалектологического атласа русского языка и позже не вошедшие в Вопросник ОЛА. А в данном случае речь могла идти о важной общеславянской фонетической изоглоссе.

Иерархическая связь задач лингвогеографии и уровня диалектологических штудий в рамках отдельных языков отчетливо просматривается

¹ Начало лингвогеографии принято связывать с именем Г. Венкера (G. Wenker), приступившего в 1876 г. к созданию Sprachatlas der Rheinprovinz (см. об этом в [1]).

в славянской диалектологии. Развернувшаяся в 50-е годы XX в. работа по созданию диалектных атласов славянских языков и региональных атласов в пределах отдельных языков логически подвела диалектологов-славистов к решению такой сложной задачи, каковой является лингвогеографическая интерпретация континуума, соответствующего целой семье языков или группе неродственных языков. Задачи такого рода реализуются в настоящее время двумя атласами: Общеславянским лингвистическим атласом (ОЛА) и Общекарпатским диалектологическим атласом (ОКДА), над созданием которых работают международные коллективы ученых. Эти атласы интерпретируют различные типы диалектных континуумов. Под континуумом понимается непрерывное пространственное распределение языковых идиом (в данном случае такими идиомами являются говоры населенных пунктов, составляющих сетку атласа, рассматриваемые как ЧДС). Указанное различие типов континуумов заключается в следующем. В ОЛА представлен генетически гомогенный (= славянский) диалектный континуум. В ОКДА континуум является генетически гетерогенным (славянские диалекты противопоставляются неславянским), возникновение которого может быть результатом конвергентных процессов развития совокупности соответствующих диалектов, и как таковой требует специальной мотивации.

ОЛА и ОКДА исследуют славянские диалекты в разном объеме и с разными целями.

ОЛА дает представление о славянском диалектном ландшафте на исконной славянской языковой территории и на территории древней славянской колонизации [4]. ОКДА является первым в лингвогеографии региональным макроатласом², в котором наряду со славянским материалом, составляющим его ядро, на равных основаниях привлечены данные восточнороманских, албанских, венгерских диалектов. Составители ОКДА сосредоточивают внимание на исследовании результатов интерференции диалектов карпатского ареала как особого феномена, дающего основания для изучения самого механизма контактирования и взаимодействия лингвистических идиом и — в известной мере — для реконструкции некоторых этапов развития последних. Специфические особенности народной культуры и языковой общности сделали зону Карпат и сопредельные с нею регионы Балкан предметом изучения в рамках особого раздела историко-филологической науки — карпатистики. Для карпатского ареала характерна общность прежде всего в сфере лексики и семантики. Именно поэтому ОКДА задуман как атлас, дающий пространственную фиксацию лексико-семантических различий в пределах инвентаря единиц, репрезентирующих так называемые «карпатизмы», т. е. факты, характерные для зоны Карпат. Предварительное установление корпуса карпатизмов явилось той исследовательской базой, на основе которой могла быть поставлена задача создания ОКДА.

ОЛА и ОКДА, о структуре и задачах которых написано достаточно много [6, 2, 7—10], находятся в стадии публикации их первых выпусков [11, 10, 12]. Но уже сейчас имеющийся опыт работы с диалектными материалами, собранными по единым программам, дает основание для постановки вопроса, что вносят многоязыковые атласы в представления об особенностях славянского континуума. Остановимся в данной работе

² В данном случае использование термина «региональный макроатлас» связано с тем, что сходная проблематика (но на небольшой территории) исследуется в [5], который по отношению к ОКДА может рассматриваться как «региональный (микро)атлас».

на проблемах фонетики в ОЛА и лексики в ОКДА. Данные языковые уровни как объекты лингвогеографического описания имеют существенные различия. Вопросник любого диалектного атласа исходит из уже известного состава диалектных явлений. Однако для лексики это не исключает возможность получения новых фактов при обследовании диалектов — вопросы «Как называется нечто?» или «Что обозначает это слово?» могут в принципе вызвать ранее не известные ответы. При изучении фонетики в атласе трудно ожидать выявления новых фактов. Это в полной мере относится к ОЛА.

Фонетические диалектные различия в отдельных славянских языках достаточно полно каталогизированы, в частности потому, что фонетика выступает обычно как первая ступень изучения диалектов — благодаря ограниченному составу единиц именно фонетика хорошо поддается всестороннему анализу. Вопросник ОЛА, базируясь на диалектологических знаниях, сложившихся к 60-м годам XX в., тем самым как бы ограничивает возможность учета фактов, выявленных в более позднее время. Эта производность фактической базы ОЛА от результатов, достигнутых в рамках национальных диалектологий, казалось бы, создает ситуацию, когда трудно ожидать, чтобы ОЛА внес что-то новое в имеющиеся знания о славянской фонетике. Такая же ограниченность, хотя и в меньшей степени, на первый взгляд, должна быть присуща и ОКДА. Однако это не так.

Эффективность работы определяется не только решением сформулированных на начальных ее этапах задач, но и, в неменьшей степени, появлением данных, создающих основание для не предполагаемых заранее выводов.

ОЛА ориентирован на несколько запрограммированных результатов. Как и в любом атласе, очевидно эксплицированной является задача установления изоглосс, в данном случае в масштабах всей славянской территории. Это не только картографически зафиксировывает отчасти уже имеющиеся представления о пространственной дифференциации славянской языковой общности, но может подтвердить или опровергнуть существующие гипотезы о генезисе разных языковых и диалектных групп. Подобный результат задан самой территорией ОЛА. Другое эксплицированное назначение ОЛА — создание синхронной типологии славянских диалектов [4, с. 32].

Свою программу ожидаемых результатов, но уже на лексическом уровне, имеет и ОКДА. Это — изоглоссирование лексико-семантических явлений, которые предварительно были квалифицированы как карпатизмы и на таком основании включены в Вопросник ОКДА [8, 10]. Предусматривается в масштабах диалектного континуума получение сведений о лексической вариативности в определенных сегментах семантической структуры. Имеется в виду также достаточно полное описание семантической структуры не только карпатских лексем-эксклюзивов, но и лексем, семантические объекты которых лишь частично содержат специфический карпатский элемент (= «семантические карпатизмы»). Наконец, предполагается получение данных о характере членения описанного в Атласе лингвистического пространства.

Но помимо этих, заранее ожидаемых в атласах результатов, можно было полагать, что в ходе работы с материалами картотек ОЛА и ОКДА, уникальными по своему объему и содержанию, выявится нечто заранее непредусматриваемое. Именно так и получилось уже при работе над первыми фонетическими выпусками ОЛА («Рефлексы *ѣ» и «Рефлексы *ѣ») и над тремя первыми выпусками ОКДА («Лексика народного быта»).

2. В ОЛА выявляется несколько иная, чем принято считать, картина фонетической дифференциации славянских диалектов и возможности сопоставления их на фонетическом уровне. Особенность славянского фонетического материала именно в этих аспектах определила самую структуру ОЛА.

Каждый фонетический выпуск ОЛА состоит: 1) из карт, отражающих рефлексию праславянских фонем в конкретных словоформах в том виде, как это представлено в современных диалектах; такие карты показывают синхронную дифференциацию славянского континуума в зависимости от звукового облика отдельных словоформ; 2) из обобщающих карт, где рефлексы праславянских фонем показаны не только как составляющие конкретных словоформ, но и как компоненты систем в их позиционных связях с фонетическим контекстом и с суперсегментными явлениями. Атлас в основном состоит из карт первого типа. Это может показаться шагом назад на фоне современных достижений лингвогеографии. Так, в славянских национальных атласах картографируются уже не просто звуки в отдельных словах, а дается информация о фрагментах фонетической системы; на получение соответствующего материала ориентированы и диалектологические программы [13, 14]. Системная интерпретация дана и диалектным фактам, собранным по программам, в которых системное изучение диалектов не было эксплицировано [15] (ср. некоторые полученные на основании соответствующих материалов карты в [16]). Однако в ОЛА такой принцип не мог быть реализован, так как специфика фонетического различия между славянскими диалектами не позволяет этого сделать. Сказанное означает следующее.

Картографически интерпретирован может быть лишь такой объект, который удовлетворяет условиям сопоставимости. Наряду с чертами, различающимися в диалектах, данный объект должен иметь черты, повторяющиеся во всех диалектах, т. е. иметь основу сравнения. Без такой основы сравнения явления разных диалектов несопоставимы и в рамках диалектного различия могут быть сопоставлены только с нулем (есть явление / нет явления).

В ОЛА общим для всех диалектов является лишь один факт — это реконструированная праформа позднего праславянского периода, содержащая праславянскую фонему, современная замена которой и картографируется. Праславянская форма задана в конкретной морфеме и конкретной позиции: для гласных, например, это — начало слова, позиция перед твердым или палатальным согласным, перед слогом с передним или непредним гласным, слабым или сильным редуцированным, после палатального согласного, под разными видами ударения.

В пределах одного языка, как правило, общий состав позиций как таковых в основном повторяется во всех диалектах и дает основание сравнивать поведение звуков в разных говорах в одинаковых позициях. Именно позиция является основой сравнения в национальном атласе.

Многообразие путей развития каждой праславянской фонемы в славянских диалектах в целом сопровождается такой дробностью позиционных условий употребления конкретных рефлексов и таким принципиальным различием в характере позиции в отдельных диалектах, что выделить основу сравнения на уровне позиции в ОЛА практически оказалось невозможно. С одной стороны, позиция может не повторяться во всех диалектах (например, позиция между мягкими согласными русских диалектов соответствует позиции между твердыми согласными в сербохорватском; позиция в первом предударном слоге отсутствует в чешском

и т. д.). С другой стороны, позиция, повторяющаяся во всех диалектах, может быть релевантной для рефлексации праславянской фонемы лишь в одном языке и заведомо будет выделять данный язык среди прочих (например, позиция перед переднеязычными согласными для развития *ǣ имеет значение только в польском).

В подобных условиях было возможно лишь одно решение — за основу сравнения принять общность морфемы, в которой выступает картографируемый рефлекс. Это решение не только относится к технике картографирования. Оно лингвистически содержательно, поскольку отражает высокий уровень фонетической дифференциации славянских диалектов. В то же время можно отметить следующее. Составление фонетических карт ОЛЯ началось с рефлексов праславянских гласных, и именно они как объект картографирования не могли быть обобщены на уровне или позиции, или явлений одного класса. Надо думать, что по-иному может быть решен вопрос о картографировании явлений славянского консонантизма. Здесь развитие регулируется правилами, актуальными для класса единиц, а не отдельных согласных. Ср., например, рефлекс губных, зубных согласных перед гласными переднего ряда, шумные согласные на конце слова и перед шумными согласными и др.

Традиционным в славистике является мнение о большой близости славянских языков между собой (в отличие, например, от германских) [17—20]. Хотя отмечается, что близость славянских языков особенно выражена в грамматике и словаре, тем не менее и фонетика не исключается из сферы этого сходства. Материал же ОЛЯ показывает, что данные фонетики трудно использовать как иллюстрацию сходства славянских языков — имеем в виду синхронное состояние, а не тенденции развития, некоторые из них одинаково выявляются во всех славянских языках, и тем более — исходное праславянское состояние.

Несомненное сходство между славянскими языками проявляется в генетической общности морфемного фонда. Именно на этой общности основана и фонетическая часть Вопросника ОЛЯ. Морфемы, свойственные только одному языку или одной группе языков, в масштабах Атласа могут быть сопоставлены только с нулем и картографирование их не может быть эффективным. Общность морфем сопровождается значительным расхождением в их фонетическом оформлении в разных диалектах. Это видно даже при сопоставлении слов, состоящих из односложной корневой морфемы.

Так, слово **dědъ*, данное в Вопроснике ОЛЯ под F 1840, в говорах, включенных в сетку ОЛЯ, варьируется следующим образом:

первый согласный имеет 10 вариантов: *d, d', ḋ, z, z', ž, ž', ž', ż, g'*; гласный — 23 варианта: *i, i: i, u, e, e:, e, e:, e, e, ø, a, a, a, o, iy, ie, ea, e:i, ou, ie, ie:, ia;*

второй согласный — 4 варианта: *t, d, d, ḋ.*

Другой пример — слово (**pěť* F 2693):

первый согласный имеет 6 вариантов, включая сочетания согласных, образовавшихся в результате выделения мягкости в самостоятельную артикуляцию: *p, p', pj, pš, p'j, ṗ;*

гласный — 33 варианта: *e, e:, e, e:, e, e:, eN, eN, eN, e, e, e: a, a: a, a:, aN, aN, aN, a, a, oN, uN, yN, iN, ie:, ie, e:i, ia, ie, ie:, ia i:a;*

второй согласный — 10 вариантов: *t, t', č, č', š, š, c', k', ʔ* (гортанная смычка); конечный согласный может и вообще отсутствовать.

На это варьирование накладывается еще и различие в характере уда-

рения — динамическое/различные виды тонового. Можно думать, что варьирование звукового состава односложных корневых слов определяется в основном только фонетическими закономерностями, поскольку возможности морфологической аналогии здесь минимальны.

Неодносложные словоформы различаются еще и местом ударения, а также отношением гласных к безударности. В позиционном поведении гласных может играть роль открытость/закрытость слога, место слога в слове.

Абстрагируясь от качества конкретных звуков, можно констатировать различие между диалектами на уровне фонетической модели одних и тех же словоформ. Такое различие может проявиться в длине словоформы — если это касается гласных, то одна и та же словоформа состоит из разного числа слогов (ср. полногласие/неполногласие, стяженные/нестяженные формы; но различие слоговой плавный/сочетание гласного с плавным не сопровождается сокращением числа слогов). Разным может быть и количество согласных, что является следствием упрощения консонантных сочетаний и специфического развития палатализованных или палатальных согласных (ср. *mos/most*, 'm'aso/'māso, v'eč'er/'včecur, pes'n'/peš, šćić/'kr'is't'it', 'šedaš/'prodat').

Различие в фонетической модели слова может выразиться в порядке следования гласных и согласных в словоформах одинаковой длины — ср. словен. *par'd':/pre'de*. Расхождение в фонетическом облике одной словоформы может быть так велико, что тождество устанавливается только этимологически, ср. серб.-луж. *sc'el'a, soča* и русск. *str'e'l'ajot, s'est'ra*.

Картотека ОЛА позволяет провести сопоставление фонетики одинаковых морфем в масштабах, ранее недоступных, — по всей славянской территории. Оказалось трудно найти морфему, фонетический состав которой тождествен во всех диалектах. Это вносит коррективы в представление о большом сходстве славянских языков между собой в с и н х р о н н о м плане. Фонетика не демонстрирует такое сходство. Характерно, что близость славянских языков обычно иллюстрируется примерами в письменной форме, взятыми из литературных языков. Но графическое сходство не всегда имеет и фонетическую параллель. ОЛА оперирует именно фонетикой слова, и это создает реальную картину высокой степени фонетической дифференциации славянских диалектов. Такой важный для характеристики славянских языков вывод можно сделать уже на данном этапе работы над ОЛА.

При работе с фонетическим материалом ОЛА существенным является вопрос: каков уровень понятий, достаточный для определения степени фонетической дифференциации диалектов в ОЛА — фонетическая категория как звуковая реальность или фонематическая единица как абстракция?

ОЛА оперирует двумя хронологическими срезами. Гипотетически реконструируемые праформы позднего праславянского периода состоят из сегментов, которым придано значение фонемы, т. е. говорится о праславянских фонемах **ě*, **e*, **o* и т. д. [4, с. 32]. Для записи современной диалектной речи в ОЛА разработана транскрипция, достаточно детально фиксирующая звукотипы гласных и согласных, — так, гласные различаются по сетке, содержащей 7 ступеней подъема и 11 рядов; довольно подробно дифференцирована и артикуляция согласных [4, с. 61]. Таким образом, праславянские фонемы даются как символы, а современные звуки как конкретная реальность. На карту, посвященную одной слово-

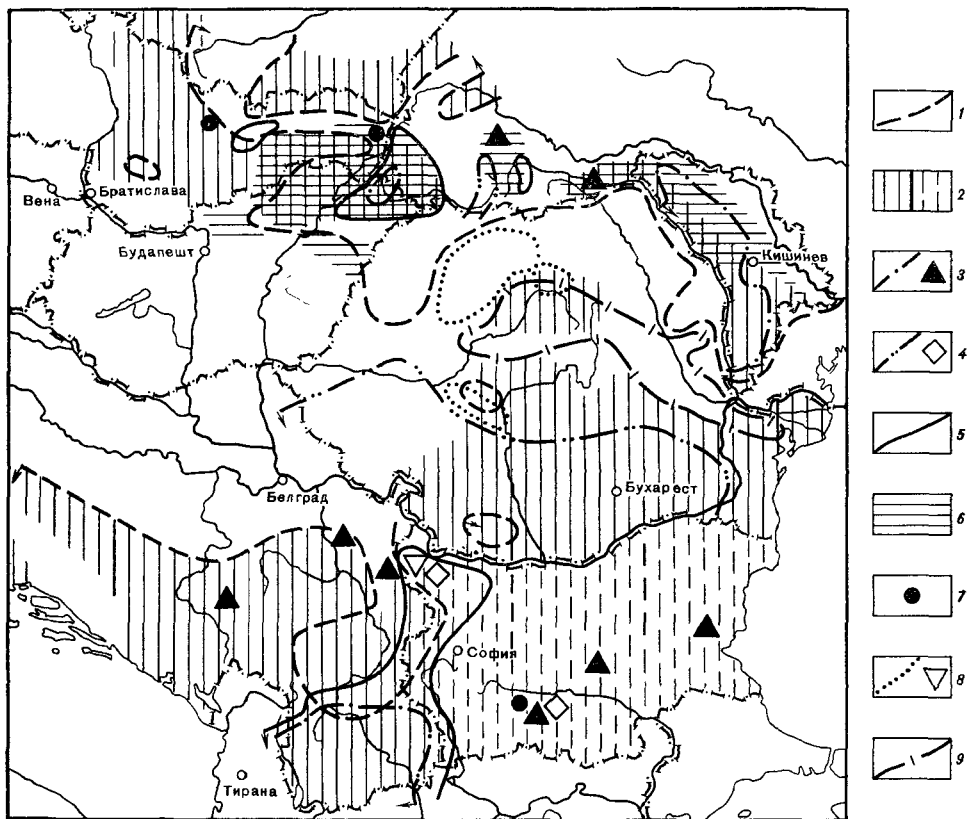
форме, звуки наносятся как рефлексы определенных праславянских фонем. На такой карте нет нужды определять функциональный статус звука, поскольку он не рассматривается в контексте системы. Тем не менее в комментариях к этим картам используются термины «фонема» и ее «аллофон» (например, пишется, что «рефлексом **ě* является фонема *i*»). Совершенно очевидно, что в этих случаях под фонемой понимается звуко-тип. И это естественно. Наиболее информативно отражает фонетическую дифференциацию диалектов такая фонемная концепция, в рамках которой фонема в наименьшей степени абстрагирована от звука. Это — фонема как звук языка в понимании П. С. Кузнецова [21]. Конечно, возможны и другие подходы к фонемной интерпретации фонетики в ОЛА. Но при более абстрактных многоступенчатых построениях усложняется интерпретация звукового материала и появляется значительный разрыв между звучащей речью и ее фонематическим статусом. Затрудняется сопоставление диалектов. Тем более, что фонематический анализ в принципе может осуществляться в рамках разных фонологических концепций.

Проблема фонематической интерпретации фонетических фактов в ОЛА связана и с вопросом о том, достаточен ли материал картотеки ОЛА для моделирования фонологических систем отдельных говоров. Фонологическую информацию можно считать достаточной, если показана позиция максимального различения единицы, выявлены позиционные ограничения разного типа, определен статус единиц, выступающих в составе позиционно сокращенных наборов.

Проблема фонематической интерпретации фонетического материала ОЛА эксплицирована в фонологических описаниях отдельных говоров, включенных в сетку ОЛА. Опубликованы фонологические описания словенских, сербохорватских, македонских, польских, серболужицких говоров [22—24]. Составлены они по одной содержательной схеме: инвентарь, дистрибуция, происхождение современных единиц, т. е. их отношение к реконструируемой для каждого языка отдельно исходной системе.

Идея создания фонологических описаний говоров ОЛА возникла в связи с практической необходимостью интерпретации фонетических фактов при их картографировании. Ср.: «Только знание состояния, которое является результатом регулярного фонологического развития, позволяет (а) снять с лексико-словообразовательных и морфо-синтаксических карт ненужную фонологическую нагрузку и выявить случаи вторичной морфологизации и лексикализации фонетических явлений и (б) на фонетических и фонологических картах точно и последовательно представить ранг отдельных аллофонов» [23, 1, с. 7]. Однако в дальнейшем этим описаниям стало придаваться более чем прикладное значение. Они стали расцениваться как фонологическая диалектная типология соответствующих языков. Фонологические описания говоров, включенных в сетку ОЛА, показывают высокий уровень дифференциации одного языка. Например, 27 пунктов, включенных в 1-й выпуск польских описаний, демонстрируют 16 разных систем носовых гласных [23, ч. 1, с. 118]. В говорах четырех серболужицких пунктов ни фонемный инвентарь, ни дистрибуция, ни акцентные отношения не совпадают [24, с. 21].

Стремление преодолеть дробную картину дифференциации славянского диалектного континуума, даваемую картами ОЛА на одну словоформу, породило идею обобщающих карт, где рефлексы праславянских фонем в своем развитии поставлены в системную связь с другими элементами



Условные обозначения: 1 — короб в мельнице; 2 — корзина, виды корзин; 3 — рыболовная снасть; 4 — (плетеный) дымоход; 5 — постройка (для кукурузных початков); 6 — ковчег; 7 — улей; 8 — грудная клетка; 9 — наволочка.

фонетического строя диалектов. Проблема обобщающих карт в ОЛА обсуждалась в ряде статей [2, 25, 26]. Здесь можно напомнить, что в отличие от карт на отдельные словоформы, обобщающие карты по существу своему полихронны, хотя это и не эксплицируется. Ведь на плоскость карты наносятся факты, возникновение которых датируется разным временем (идея полихронии в лингвогеографии сформулирована Р. И. Аванесовым в [271]). Так, недифференцированное отношение к ударению характерно для развития *ě* в польских, многих украинских и части русских говоров³. Это нашло выражение в том, что **ě* подвергся одинаковым изменениям под ударением и без ударения. Но в польских говорах это произошло до падения редуцированных, в украинских — после падения слабых и прояснения сильных редуцированных. Это означает, что хронологическое расстояние между изменением **ě* в названных языках весьма значительно. Можно привести и другие примеры однотипных явлений, возникших в разных языках в разное время. Обобщающая карта может показать сходство и различие в развитии тождественных праславянских фонем с включением фактора времени. Но для картографической

³ Высказывается также мнение, что в западноукраинских говорах **ě* изменился непосредственно в *e* [28]. Однако это положение требует подтверждения на более широком материале, чем тот, который дает ОЛА.

передачи полихронии должны быть разработаны специальные приемы. Пока же этот вопрос лишь ставится, а на карте условно совмещаются явления, разделенные значительным временным промежутком.

Уже на начальных этапах картографирования фонетики в ОЛА просматриваются некоторые новые вопросы, касающиеся причинно-следственных отношений дифференцированного развития праславянских элементов. Если обратиться к картам рефлексов **ǣ*, **ę* [26, 29], наиболее близким собственно звуковой реальности, то прежде всего обращает на себя внимание контраст между восточнославянской частью и западом территории Атласа. С одной стороны, единообразие развития **ǣ*, **ę* в восточнославянских диалектах и крайняя пестрота в словенских, серболужицких, отчасти сербохорватских, — с другой. В чем причина этого? Ответ непросто и неясен. Несомненно, актуальность такого признака, как вокальное количество, может делать более пестрой рефлексацию праславянских гласных (ср. польское развитие **ǣ*, **ę* в долгих слогах). Казалось бы, большая территория распространения языка, когда интенсивность общения между носителями определенных диалектов меньше, чем на небольшой территории, должна способствовать углублению и закреплению диалектных различий. Но это предположение не подтверждается — так, на месте **ę* в восточнославянских диалектах представлен только гласный *a* (не учитываем факт его вторичного изменения в *e*), а в словенских — это *e*, *ę*, *a*, *ǣ*, *i*, дифтонги, специфически распределенные по позициям и словам в каждом говоре; в серболужицких говорах на четыре пункта зафиксировано четыре типа рефлексации **ę* и три типа — **ǣ*. Дробная рефлексация в принципе легче поддается объяснению, так как часто может быть мотивирована экстралингвистически (уровень междиалектных контактов в условиях билингвизма, специфика географического ландшафта и под.). Но труднее найти объяснение единообразию фонетической черты на очень большой территории. Видимо, здесь следует искать определенные стабилизирующие факторы структурного характера. Лишь комплексное (синхронное и диахроническое) изучение фонетики в пределах славянского диалектного континуума, представленного в ОЛА, может внести ясность в вопросы такого рода.

3. К выводам, заставляющим по-новому взглянуть на некоторые устоявшиеся представления, подводит и опыт работы над ОЖДА. Выясняется, например, что в формировании карпатской языковой общности роль венгерского языка более значительна, чем это принято считать. Поэтому традиционное мнение об исключительном значении восточнороманского этнолингвистического элемента может быть существенным образом скорректировано: по данным готовых выпусков Атласа, среди карпатизмов унгаризмы занимают видное место. При этом зафиксировано не только активное проникновение в диалекты ареала исконно венгерских лексем, но и локализация центра иррадиации многих карпатизмов иного происхождения именно в венгерском языковом пространстве. Наконец, многочисленны примеры того, что семантические карпатизмы представлены лишь в венгерских диалектах.

Другой новацией является наличие в материалах ОЖДА фактов, которые позволяют изучать на синхронном уровне тенденции к «гомогенизации» карпатского лингвистического пространства и моделировать на лексико-семантическом уровне отдельные фазы трансформации с у м м ы генетически гетерогенных диалектов зоны Карпат в диалектный к о н т и н у м (т. е. в совокупность ЧДС конвергентного типа, интенционально ориентированной на развитие «суперсегментных» отношений) и

далее — конституирование языковой общности, лексико-семантической *par excellence*.

Диахроническая интерпретация синхронно зафиксированных в Атласе данных позволяет выявить следующие, намечаемые в самом общем виде этапы формирования фрагментов лексико-семантической структуры в масштабах карпатского диалектного континуума.

1) Начальная стадия указанного процесса протекала, по-видимому, в ситуации, характеризующейся множественностью центров иррадиации лексико-семантических единиц и многократностью актов их заимствования (о «многочисленных перекрестных заимствованиях» в лексике этой зоны см. [30]). Важнейшими принципами, организующими карпатский словарь, становятся: тенденция к расширению межъязыковой (=междиалектной) синонимии (=гетерономия), когда в условиях интенсивной коммуникации обычными становятся отношения «одна металексема ∞ несколько реальных лексем» (максимально — в соответствии с числом языков ареала); образование пласта лексики, общего для диалектов ареала (или большей их части); тенденция к омонимизации лексем (=гетеросемия), т. е. расширение семантической амплитуды и усложнение семантической структуры лексем как в рамках всего континуума диалектов, так и в пределах отдельных ЧДС.

2) В дальнейшем в лексике диалектов континуума (или его фрагментов) складывается некоторое оптимальное (и достаточно стабильное) соотношение общего фонда эксклюзивных лексем различной этимологии и исторической судьбы и лексем, не обладающих статусом эксклюзивности. Это означает, что, подобно ситуации в балканском языковом союзе, действие конвергентных процессов было направлено на выработку не единого языка, но единой структуры [31]. В семантике для значительного числа лексем формируется максимальная семантическая амплитуда — т. е. полный набор семантических единиц, представляющих собой общую модель лексико-семантической структуры карпатского диалектного континуума (ср. также термин Н. И. Толстого — «наддиалектная сетка-модель» [32], на которую ориентированы все изменения, происходящие в структуре частных диалектных систем [31, с. 274]). Моделирование процесса формирования семантической структуры карпатского диалектного континуума может быть проиллюстрировано одним примером — диахроническим истолкованием материала карты № 54 1-го выпуска ОЖДА, посвященной семантике репрезентантов металексемы ⁺*kOš* (<слав. **košь*).

Развитие семантики **košь* в славянских диалектах карпатской зоны происходило, вероятно, прежде всего как разворачивание во времени (и соответственно — в пространстве) исконных потенций. Ср. наличие в карпатской (и шире — карпато-балканской) зоне наряду с почти общеславянским значением «корзина; виды корзин» также иных, достаточно старых значений: «короб в мельнице» (вост.-слав., ю.-слав.), «вид рыболовной снасти, вентерь» (вост.-слав., серб.-хорв., болг. ⁴); «кузов воза» (вост.-слав., чешск., серб.-хорв., словен.), «улей» (русск., ю.-слав.); к позднее развившимся, по-видимому, относятся «плетеный дымоход» (карп.-укр., слвц., болг.), «помещение для хранения початков» (карп.-укр., слвц., ю.-слав.) и др. Можно указать и значения, отсутствующие, по данным ОЖДА, в зоне Карпат: «грудная клетка» (блр., чешск., слвц.), «ловушка для птиц» (русск., польск., чешск., слвц.) и др.

В неславянских диалектах карпатского ареала расширение семанти-

⁴ Болгарский материал взят из диалектных словарей и других работ.

ческого объема репрезентантов ${}^+kO\check{s}$ шло как за счет заимствований из славянского, ср. вост.-ром. *coş*, *koş*, венг. *kas*, алб. *kosh* «корзина, короб» и под., так, несомненно, и в процессе реализации общих тенденций семантического развития в ходе формирования языковой общности (ср., например: вост.-ром. *coş*, *koş*, венг. *kas* «дымоход», вост.-ром. *coş*, *koş*, венг. *kas*, алб. *kosh* «постройка для хранения початков» и под.).

Важно отметить и появление новых семем-локализмов как результат воздействия общей модели, определяющей направление семантических изменений, с одной стороны, и «самоиндукции» отдельных ЧДС — с другой.⁸ См., например: укр. диалект. *k'iš* «плетеный кузов т а ч к и», «плетеный и обмазанный глиной сосуд для зерна и под. в амбаре», слвц. *kôš* «часть виноградного пресса», рум. диалектн. *coş* «приспособление из бревен для укрепления берегов горной реки», «гроб», «верхняя часть сруба колодца» и т. д., венг. *kas* «ограда вокруг кучи навоза», «загон» и др.

Описание семантики ${}^+kO\check{s}$ в ОКДА позволяет не только фиксировать величину семантической амплитуды, но и констатировать, что отдельные семемы не распространены в лингвистическом пространстве карпатского ареала равномерно. Они существуют в виде концентраций, сгущений в нескольких микрizonaх; словацко-польско-украинское пограничье, южная часть Закарпатья и соседние районы в Венгрии и Румынии, север и юго-запад Молдавии, в балканском регионе — македонские горы (см. карту «Семантика ${}^+kO\check{s}$ в диалектах карпато-балканского ареала»). Это может объясняться специфическими условиями межъязыковой и межэтнической коммуникации и вытекающей из этого интерференцией. Представляется принципиально важным рассматривать данные, зафиксированные в ОКДА, в контексте всей совокупности имеющихся в настоящее время фактов, которые содержатся в диалектологических трудах, словарях, памятниках письменности, в исследованиях по этнографии карпатской зоны и т. д.

4. Размышления над результатами достаточно длительного, но тем не менее остающегося начальным этапом работы над многоязыковыми атласами ОЛА и ОКДА подводят к некоторым выводам, относящимся к общим проблемам лингвогеографии.

При создании проектов многоязыковых атласов неоднократно подчеркивалось, что они не являются простой суммой национальных атласов, поскольку не все, что актуально для диалектной дифференциации одного языка, является релевантным для диалектного членения многоязыкового континуума; и наоборот — то, что стабильно в рамках одного языка, может быть компонентом диалектного различия в многоязыковом континууме [33]. Фактор большой языковой территории уже на предварительных этапах создания атласов подобного типа выполняет роль решающего аргумента в определении их фактической базы, производя селекцию подлежащих картографированию явлений.

Дальнейшее развертывание значения фактора большого языкового пространства показывает первые итоги работы над ОЛА и ОКДА, и при этом на фактах столь различных уровней, как фонетика и лексика. Объем информации, предлагаемый картами многоязыковых атласов, дает повод для нового взгляда на традиционно установившиеся характеристики. Получение таких, не программируемых заранее, результатов свидетельствует, что атласы указанного типа в общем контексте лингвогеографии — это не только количественно маркированные объекты. Многоязыковая территория как объект лингвогеографического изучения принципиально содержит возможности получения качественно новых представлений о соответствующем диалектном континууме.

Сосуществующие в синхронии разновременные явления могут быть подвергнуты картографированию с учетом фактора времени, что создает максимально адекватное представление о движении этих явлений во времени и пространстве. Именно такая задача лингвогеографии, как сказано выше, была сформулирована Р. И. Аванесовым. Одним из условий решения этой задачи является соотнесенность большого корпуса диалектных данных с большой территорией. Подобная комбинация характерна для многоязыковых атласов, создающих в принципе предпосылки для перехода лингвогеографии на тот уровень, для которого будет характерна возможность переформулировки «топо-изоглосс» в «хроно-топо-изоглоссы» [27, с. 314].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Zur Theorie des Dialektes. Wiesbaden, 1976.
2. Аванесов Р. И., Калынь Л. Э. Обобщающие карты как особый тип карт в Общеславянском лингвистическом атласе // ВЯ. 1983. № 4.
3. Калынь Л. Э. Опыт фонологического описания русского говора одного пункта, входящего в сетку ОЛЯ // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1983. М., 1988.
4. Общеславянский лингвистический атлас. Вступительный выпуск. М., 1978. С. 38.
5. Карпатский диалектологический атлас. М., 1967.
6. Аванесов Р. И. Общеславянский лингвистический атлас (1958—1978). Итоги и перспективы // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов: Докл. советской делегации. М., 1978.
7. Керич С., Тополинска З., Видоески Б. Интерпретация на фонетиска карта с проблемот *ѣ в *gvězda в Општословенскиот лингвистички атлас // Македонски јазик. 1977. XXVIII. № 1—2.
8. Общекарпатский диалектологический атлас. Вопросник. М., 1981.
9. Бернштейн С. Б., Клепикова Г. П. Общекарпатский диалектологический атлас. Принципы. Предварительные итоги // Славянское языкознание. VIII международный съезд славистов: Докл. советской делегации. М., 1978.
10. Общекарпатский диалектологический атлас. Вступительный выпуск. Скопье, 1988.
11. Общеславянский лингвистический атлас. Рефлексы *ѣ. Београд, 1988.
12. Общекарпатский диалектологический атлас. Вып. II. М., 1988.
13. Программа собирания сведений для составления Диалектологического атласа русского языка. М.; Л., 1947.
14. Праграма на вывученню беларускіх гаворак і збіранню звестак для складання Дыялекталагічнага атласа беларускай мовы. Мінск, 1950.
15. Програма для збірання матеріалів до Діалектологічного атласу української мови. Київ, 1949.
16. Атлас української мови. Т. 1. Київ, 1984. №№ 1, 90.
17. Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951. С. 5.
18. Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961. С. 37.
19. Славянские языки. М., 1977. С. 5.
20. Русский язык: Энциклопедия. М., 1979. С. 298.
21. Кузнецов П. С. Об основных положениях фонологии // ВЯ. 1959. № 2. С. 31.
22. Fonološki opisi srpskohrvatskih (hrvatskosrpskih), slovenačkih i makedonskih govora, obuhvaćenih Opštосlovenskim lingvističkim atlasom. Sarajevo, 1981.
23. Opis fonologiczne polskih punktów Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego; Topolińska Z. Zeszyt I, 1982; Basara A., Basara J. Zeszyt II, 1983; Zduńska H. Zeszyt III, 1984.
24. Michalk F., Sperber W. Wopisanje fonologiskich sistemov narěčow serbskich informaciskich dypkow w Słowjanskim řečnym atlasu // Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Rjad A. C. 30/1. Budyšin, 1983
25. Вендина Т. И., Калынь Л. Э. О принципах составления обобщающих фонетических карт // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1983. М., 1988.
26. Калынь Л. Э., Вендина Т. И. Опыт обобщающих фонетических карт в ОЛЯ // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1982. М., 1985.

27. *Аванесов Р. И.* Описательная диалектология и история языка // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов: Докл. советской делегации. М., 1963. С. 299.
28. *Пожарицкая С. К., Попова Т. В.* Влияние консонантного окружения на судьбу *ѣ в западно- и восточнославянских диалектах (по материалам ОЛА) // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1983. М., 1988. С. 14.
29. *Basara A., Topolińska Z., Zduńska H.* Fonetyczne refleksy *ě we współczesnych dialektach słowiańskich // Z polskich studiów slawistycznych. Ser. VI. Warszawa, 1983. S. 25.
30. *Трубачев О. Н.* Лингвистическая география и этимологические исследования // ВЯ. 1959. № 1. С. 19.
31. *Цивьян Т. В.* Синтаксическая структура балканского языкового союза. М., 1979. С. 266.
32. *Толстой Н. И.* Из опытов типологического исследования славянского словарного состава // ВЯ. 1963. № 1.
33. *Аванесов Р. И., Бернштейн С. Б.* Лингвистическая география и структура языка. О принципах Общеславянского лингвистического атласа. М., 1958. С. 14.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

ФЛОРЕНСКИЙ П. А.

ТЕРМИН *

IX. «Я называю терминологией систему терминов, употребляемых при описании предметов естественной истории», говорит Уэвелль²³. Терминология — это орудие, посредством которого делается точное наименование²⁴. «... Кто только возьмется за изучение какого-нибудь отдела науки, — продолжает тот же историк науки, — тот сейчас же увидит, что без технических терминов и твердых правил не может быть надежного или прогрессивного знания. Неопределенный и детский смысл обыкновенного языка не может обозначать предметов с твердой точностью, необходимую при научном исследовании, и возводить их от одной ступени обобщения к другой. Для этой цели может служить только крепкий механизм научной фразеологии. Необходимость в ней чувствовалась в каждой науке с самых ранних периодов ее прогресса»²⁵. А в другой своей работе, подводя итоги своим наблюдениям над жизнью Науки, Уэвелль так свидетельствует о существенности в Науке терминов: «Почти каждый успех науки ознаменован новообразованием или усвоением технического выражения. Обиходный язык имеет, в большинстве случаев, известную степень вялости или двусмысленности, подобно тому, как ходячее знание /common knowledge/ обычно заключает в себе нечто расплывчатое и неопределенное. Это знание имеет дело обычно не с одним только разумом, но обращается более или менее к какой-либо заинтересованности или возбуждает фантазию; на службе такому знанию и обиходный язык всегда содержит, следовательно, окраску заинтересованности или воображения. Однако, по мере того как наше познание становится вполне точным и чисто разумным, мы требуем также точного и разумного языка, который равномерно исключал бы неясность и фантастику, несовершенство и излишество, — такого языка, каждое слово коего должно сообщать твердую и строго ограниченную мысль. Таковой язык, — язык науки, возникает чрез пользование техническими выражениями... Прогресс в использовании техническим научным языком представляет нашему наблюдению два различных, следующих друг за другом периода; в первый период технические выражения образуются попутно, как они случайно представляются; напротив, во втором периоде технический язык составляется сознательно, с определенным намерением, со вниманием к связности, с видами на установление системы. Попутное и систематическое образование технических выражений хотя и не могут быть разделены определенной датой/ибо несистематически во все времена отдельные слова бывали образуемы в отдельных науках/, однако мы не можем один период назвать античным, а другой — новым»²⁶. Далее обильными примерами из истории наук Уэвелль подтверждает свой тезис.

* Окончание. Начало см.: ВЯ, 1989, № 1.

Но термин, как выяснено было ранее, по общему свойству языка, должен быть соотносительным с некоторым синтетическим предложением²⁷, его заменяющим и в него свитым. Это последнее есть определение термина, но не «вербальное», каковое никакого термина создать неспособно, ибо не производит синтеза, а определение реальное, которое Уэвелль называет «объяснением понятий — explication of conceptions»²⁸. Объяснение понятий есть синтез, опирающийся на углубленное созерцание той реальности, к которой понятие относится. — Многие из тех споров, которые имели важное значение для процесса образования современной науки, по замечанию Уэвелля²⁹, «...принимали вид борьбы из-за определений». Так, исследование законов падения тел привело к вопросу о том, которое из определений постоянно и правильно: то ли согласно которому она порождает скорость, пропорциональную пространству, или же то, по которому эта скорость пропорциональна времени. Спор о *vis viva* (живой силе) свелся к вопросу о правильном определении меры силы. Основным вопросом в классификации минералов является вопрос об определении минерального вида (*species*). Физиологи старались осветить свой предмет определением «организации и или того или другого сходного с этим термина». Подобного же рода вопросы долго были открыты (да и до сих пор еще не вполне решены) относительно определений „удельной теплоты“, „скрытой теплоты“, „химического средства“ /.../ и „растворения“ /.../. «„Для нас очень важно отметить, продолжает Уэвелль, — что эти споры никогда не представляли собою вопросов об отдельных и произвольных определениях, как это, по-видимому, часто думали. Во всех этих случаях безмолвно признавалось некоторое предложение, которое должно было быть выражено при помощи определения и которое придавало этому последнему его значение. Поэтому спор об определении приобретал реальное значение и становился вопросом об истинности и ложности... Таким образом, установление правильного определения того или другого термина может быть полезною ступенью при выяснении наших понятий, — однако, только в том случае, если мы рассматриваем какое-либо предложение, в котором имеет место этот термин. Тогда действительно является вопрос о том, как надо понимать и определять это понятие для того, чтобы это предложение было истинным. Раскрытие наших понятий при помощи определения оказывалось полезным для науки только тогда, когда оно было связано с немедленным применением этих определений... Определение представляет, быть может, лучший способ разъяснения понятия; но понятие становится стоящим какого бы то ни было вообще определения только вследствие его пригодности для выражений той или другой истины. Когда определение предлагается нам в качестве полезной ступени знания, мы всегда имеем право спросить, для установления какого принципа оно будет служить“. Поэтому, „определить“ значит отчасти открыть... Для того, чтобы определить так, чтобы наше определение имело научную цену, требуется не мало той проницательности, при помощи которой открывается истина... Чтобы вполне выяснилось, каково должно быть наше определение, нам следует хорошо знать, какую именно истину надо нам установить. Определение, как и научное открытие, предполагает уже сделанным некоторый решительный шаг в нашем знании. Средневековые логики считали определение последнюю ступенью в прогрессе знания, — и по крайней мере, что касается такого именно места определения, то как история знания, так и опирающаяся на нее философия науки подтверждают их теоретические соображения». Таковы неко-

торые из мыслей Уэвелля относительно взаимопревращаемости термина и закона, и существенной значимости термина в истории науки. К этим мыслям вполне примыкает, распространяя и восполняя, хотя при этом и обезцвечивая их и лишая их остроты, Джон Стюарт Милль³⁰, современник Уэвелля. Но через пол-века мы встречаем те же мысли, и притом возникшие, по-видимому, самостоятельно, на почве исследования методологии знания, у Анри Пуанкаре, одного из наиболее талантливых и широко-мыслящих ученых конца XIX-го и начала XX-го века. Первый шаг в научном творчестве, по Пуанкаре, — «искание особой красоты, основанное на чувстве гармонии»³¹. Оно наводит ищущего на гипотезу, угадываемую интуитивно, но еще не оправданную. «Всякое обобщение есть уже гипотеза»³², — т. е. в смысле неоправданности логической. Пригодность гипотезы должна быть обследована, а для этого гипотеза раскрывается в своих последствиях в теорию соответствующего круга явлений, и в этом виде подлежит дискурсивному над нею творчеству³³. Одной из важнейших функций дискурсивного творчества Пуанкаре признает созидание научного языка. «Трудно поверить, как много может одно хорошо выбранное слово „экономизировать мысль“, выражаясь словами Маха»³⁴. Например, физики «изобрели слово энергия, и это слово оказалось необычайно плодотворным, ибо оно творило закон, элиминируя исключения, ибо оно давало одно и то же имя различным по содержанию и сходным по форме вещам»³⁵. «Математика и есть искусство называть одним и тем же именем различные вещи... Надо только, чтобы эти вещи, различные по содержанию, сближались по форме...»³⁶. И, подводя итоги: «...Вся творческая деятельность ученого, по отношению к факту, исчерпывается речью, которою он его выражает»³⁷.

Х. Нет надобности далее настаивать на существенном участии термина в истории мысли: полагаю, что и сказанным достаточно установлена зиждущая и скрепляющая сила в развитии мысли — термино-творчества. Но пора вдуматься более внимательно в самую природу термина. И, прежде всего, что есть термин этимологически и семасиологически? — *Terminus*, или *terminen*, *inis* или *termo*, *onis* происходят от корня *ter* — означающего: «перешагивать, достигать цели, которая по ту сторону»³⁸. Итак, *terminus* — граница. Первоначально эта граница мыслилась, как вещественно намеченная, и потому выше-означенное гнездо слов означало пограничный столб, пограничный камень, пограничный знак вообще. В греческом языке слову термин, как в философии, так и в более широком пользовании, соответствует слово *βροζ*, а также слово *βροσιός*, от *ForFos*, что собственно значит: борозда, а затем граница³⁹. Как и во всех древних терминах философии, в самом термине «термин» без труда осязается первичный сакраментальный смысл, и это священное перво-значение — не случайность в плоскости философской, но, напротив, как это постоянно наблюдаем в истории философской терминологии, философская терминологическая чеканка обще-употребительного слова проявляет в слове его первичный слой, заволоченный более поздними односторонними его произрастаниями, закономерно, но, обедняяще, расчленяющими перво-коренную слитную полноту и метафизичность слова.

Что же такое термин, т. е. граница, в порядке историческом? ⁴⁰ Как известно, первоначально право на собственность было понятием и установлением чисто-религиозным, но отнюдь не внешне-юридическим. Оно существенно вытекало из страха Божия, именно страха задеть культ, к которому не принадлежит чужак, — не принадлежит же и не может принад-

лежать, ибо он не происходит от почитаемых в данном роде усопших, и потому, если бы нарушил священную неприкосновенность чего бы то ни было, входящего в организацию их культа, хотя бы даже просто коснулся чего-либо, то за таковое нечестие, за осквернение табу, неминуемо потерпел бы страшные кары от самих оскорбленных покойников. Имуществом владели не живые, но усопшие, т. е. сделавшиеся богами. В других случаях, владельцами имущества были духовные существа высших порядков, — герои, демоны или боги, в собственном смысле слова; но мистическое обоснование неприкосновенности имущества, вместе с повышением иерархического чина владельца, конечно, только усиливалось. Имущество недвижимое, а в особенности земельное, было предметом особой бдительности духовного мира, ибо в земле ведь лежали кости почивших и потому приобретенных сверхъестественное могущество владельцев ее, и могилы их были престолами, а окружающая их земля — храмом; дом же сынов и внуков этих владельцев, управляющих священным имуществом, был тоже храмом, возникшим как покров и ограждение святейшего средоточия всего само-замкнутого культа — священного очага, которому жрецовствовала семья потомков тех усопших. Таким образом, первоначальное право на земельную собственность обеспечивалось не законами, а религией. Каждое поместье было под надзором домашних божеств, и они сами охраняли его. «Lares agri custodes — лары стражи поля», говорит о них Тибулл⁴¹, а по свидетельству Цицерона, «religio Larum posita in fundi villaeque conspectu — почитание ларов происходит в виду поместья и мызы»⁴².

Чем же разграничивалось владенье от владенья? — Каждое поле должно было быть окруженным, как и дом, оградой, которая его отчетливо отделяла от владений других семейств. Эта ограда не была каменной стеною, а по силе своего действия скорее напоминала те неглубокие рвы и невысокие валы, обсаженные деревьями, которые блюдут священную границу наших сельских и провинциально-городских кладбищ. Сила таких ограждений — не в механическом препятствии, ими представляемом, а — в символическом ознаменовании священной неприкосновенности «городка»: нарушить этот символ разграничения области отошедших от области пребывающих в суе — значит вступить в тяжбу с теми, которые по ту сторону священного насаждения вдоль вала и рва. Но у древних такою оградой бывало даже и нечто еще более простое: полоска земли в несколько футов шириною, эта полоска должна была оставаться необработанной, и никогда не касался ее плуг. Разделяющее поля пространство было священо: римский закон, — как свидетельствует Цицерон⁴³, объявлял его не подлежащим проскрипциям; оно принадлежало религии. В определенные дни месяца и года отец семейства обходил свое поле, следуя этой священной линии; он гнал пред собою жертвенных животных, распевал гимны и совершал жертвоприношения⁴⁴. Этим обрядом он рассчитывал вызвать благожелательство своих богов к своему полю и к своему дому; он в особенности ознаменовывал свое право собственности, которое более точно следовало бы назвать правом собственности почитаемых предков и прочих домашних божеств, верша вокруг своего поля обряды своего домашнего культа. Путь, которым следовали жертвенные животные и вдоль которого пелись молитвы, был нерушимым пределом владения. — На этом пути, в некоторых промежутках друг от друга, хозяин размещал какие-нибудь необделанные камни или какие-нибудь деревянные чурбаны, которые носили название *termen*. Что это были за границы и какие представления связывались с ними, можно судить по тому обряду, с каким

полагались они в землю. ⁴⁵ «Вот что делали наши предки, — говорит С и к у л Ф л а к к, — они начинали с того, что выкапывали небольшую яму, воздвигали на краю ее Терм и увенчивали его гирляндами из трав и цветов. Затем совершали жертвоприношение; крови закланной жертвы они давали течь в яму; туда же бросали горящие уголья /зажженные, вероятно, на священном огне очага/, хлебные зерна, пироги, плоды и возливали немного вина и меду. Когда все это сторало в яме, то на теплую еще золу они наваливали камень или обрубок дерева» ⁴⁵. Ясно, видно, что целью всех этих обрядов было сделать из Терма нечто вроде священного представителя домашнего культа. Чтобы сохранять за ним его священный характер, над ним ежегодно возобновлялось священнодействие, с возливанием либации * и чтением молитвы. Водруженный на земле Терм был, следовательно, как бы домашнею религиею, всаженной в почву, чтобы показать, что эта земля стала навсегда собственностью семьи. Позже, содействием поэзии, Терм стал рассматриваться как бог отдельный и личный. — Употребление Термов, или священных межевых знаков, было, по-видимому, всеобщим у Индо-Европейских народов. В глубокой древности оно существовало у индусов, и священные обряды установки границ имели у них много сходства с теми обрядами, которые Сикул Флакк описал в Италии ⁴⁶. До Рима мы находим Терм у сабинян ⁴⁷; мы находим его также у этрусков. Эллина имели тоже свои священные границы, которые назывались у них *βροί, θεοί βροί* ⁴⁸; так, П л у т а р х и Д и о н и с и й переводят слово *terminus* чрез *βρος*; впрочем, и слово *τέρμιον* существовало в греческом языке ⁴⁹. Наши угли, закапываемые в яму, при межевании, это конечно есть пережиток углей жертвенных; утилитарное же значение их непонятно пока — понято лишь вторичное.

Раз Терм поставлен уставно, то не было той силы в мире, которая могла бы его переместить. Он должен был на веки вечные пребывать на том же самом месте. Этот принцип религии выразился в Риме таким сказанием: сам Юпитер, когда он пожелал занять место на capitoлийском холме, под храм себе, не мог удалить оттуда богов Терма. Это старое предание показывает, насколько священной была собственность; недвижимый Терм не означает ничего иного, как нерушимое право собственности; это есть характерный для римской религии функциональный бог, бог-функция, именно функция охранения границы, воплощенная вещественно. Терм охранял границу и бодрствовал над нею. Сосед не смел приблизиться к ней вплотную: «Ибо тогда, — как говорит О в и д и й ⁵⁰, — бог, который чувствовал себя задетым лемехом или мотыком, кричал: „Остановись, это мое поле, а там вот — твое“». Чтобы завладеть полем какой-либо семьи, надо было опрокинуть или переместить межевой столб: между тем, этот столб и был богом-охранителем. Такое святотатство было ужасно. и кара за него — сурова. Древний римский закон гласил: «Если кто задел Терм лемехом сохи, то сам он и его быки да будут посвящены подземным богам — *qui terminum exarasset, et ipsum et boves sacros esse*» ⁵¹, а это значит, что виновный и его быки должны быть во-искупление закланы. Этрусский закон, говоря от имени религии, выражался так: «Кто коснулся межевого столба или переместил его, будет осужден богами; дом его разрушится, род его угаснет; земля его не произведет больше плодов; град, ржа, засуха погубят его жатвы; члены виновного покроются язвами и иссохнут» ⁵² — Афинский закон по тому же предмету не дошел до нас: сохранилось лишь три слова: «Не переходи границы». Но П л а т о н,

* Либации / лат. *libatio* / — возливания.

по-видимому, восполняет мысль законодателя, когда говорит: «Нашим новым законом должен быть следующий: „Никто не касается межи, отделяющей его поле от поля соседа, ибо ей должно оставаться нерушимой; никто не дерзает сдвинуть маленький камень, который отделяет дружбу от вражды, камень, который с клятвой обязались оставить на месте“»⁵³.

Из всех этих верований, обычаев и законов следует, что это именно домашняя религия научила человека сделать землю собственностью и обеспечила ему право над нею. Термин возникает первоначально, как страж порога, страж священного участка, страж всего, что в пределах сохраняемой границы содержится. Иначе говоря, Термин первично есть хранитель границы культуры: он дает жизни расчлененность и строение, устанавливает незыблемость основных сочленений жизни и, не допуская всеобщего смешения, тем самым, стесняя жизнь, ее освобождает к дальнейшему творчеству. Термин же не пускает жизни течь по пути легчайшему, и потому препятствует рассеиваться ее деятельности в бесплодном умножении количества, при низком уровне качества, но, напротив, подымет ее уровень, увеличивает ее потенциал и ведет жизнь к совершеннейшим достижениям, в формах сгущенных и проработанных. И сам он, будучи, пределом данной области культуры, принадлежит к этой культуре, выражусь математически: есть ее предел льное значение. Он, давая толчок к возникновению известной культуры, вместе с тем и цель, к которой культура стремится — не даром в самом имени своем содержащая и указание на некоторую связь с культом и примету будущего времени /форма на -urus/. Конечная причина совпадает с причиною действующею, конец примыкает к началу, А — то же что Ω; термин есть душа культурного участка земли со всем его содержимым и, как душа, не только облекает свое тело, будучи пределом его периферии, но и живет в самой сокровенной глубине его: это знаменуется пребыванием одних и тех же домашних божеств и на периферии поля и в самом средоточии его, над священнейшим домашним очагом. Так душа, чтобы строить себе тело, отграничивает будущую его область от окружающей среды, и только в этом яйце тклет ткань жизни. Так первая система, средоточие организма, вместе с тем облекает его, ибо наша кожа есть не что иное, как преобразование нервной же системы.

XI. В философию слова terminus или равносильное ему ὄρος и ὁρισμός попадают именно из религии, и притом с сохранением первоначального смысла. «Определение /по-гречески/ называется ὁρισμός от метафоры с земельными границами — удостоверяет св. Иоанн Дамаскин. — Как граница отделяет собственность каждого человека от собственности другого, так и определение отделяет природу каждой вещи от природы другой»⁵⁴. Дамаскин устанавливает также некоторую разницу смысла слова ὄρος и производного от него ὁρισμός: «Название „определение“ /ὁρισμός/ отличается от названия „термин“ /ὄρος/ тем, что первое уже, а второе шире. В самом деле „термин“ /ὄρος/ обозначает и земельную границу, и решение. /напр., когда говорим ὄρισεν ὁ βασιλεὺς /царь решил//. Точно так же он означает то, на что разлагается посылка, /как мы это, с Божьей помощью, узнаем потом/. Обозначает оно и определение; определение же означает только краткую речь, выражающую природу подлежащей вещи»⁵⁵. Иначе говоря, слово ὄρος действительно значит: и земельная граница, и определение, и термин, и решение или постановление; но, кроме того, изменением суффикса произведено и более специальное слово — ὁρισμός для обозначения определения. Но собственно слово, ὄρος, имея все эти смыслы, имеет их не порознь, исключаящими друг друга,

но вместе, с переливом блеска то туда, то сюда, смотря по общему смыслу речи. Наша же привычка понимать слово раздробительно ведет при толковании произведений древности ко многим лишним спорам. Вспомним многочисленные пререкания по поводу так называемых «определений» Евклида. Однако, стоило С и м о н у, в своем переводе Евклидовских «Начал» передать слово *ῥος* через более общее «о т г р а н и ч е н и я»⁵⁶ и повод к спорам был устранен. Дело объясняется просто: по мнению Л а м б е р т а⁵⁷, «то, что Евклид предпосылает в таком изобилии определения, есть нечто вроде номенклатуры. Он, собственно говоря, поступает так, как поступает, напр., часовщик или другой ремесленник, начиная знакомить учеников с названием орудий своего мастерства». С таким пониманием *ῥος* — определений, как терминологических установок, согласен и Ц е й т е н⁵⁸. То же говорит и выше-упомянутый С и м о н⁵⁹. А м а л ь д и⁶⁰, со ссылкой на выше-названных, со своей стороны заявляет: «...Мы слишком много занимаемся учеными толкованиями /определений Евклида.— П. Ф./, из которых ни одно прямо не исключает все остальные, потому что каждое из них, по-видимому, отражает мысль Евклида с особой стороны. Лишь исходя из предвзятой идеи, нуждающейся еще в дальнейших прояснениях, мы склонны отождествлять роль *ῥος* в геометрической системе Евклида с задачей, которая в нашу теперешнюю, преимущественно критическую эпоху возлагается на определения в математике вообще, в частности в геометрии. Позволительно, по-видимому, думать, что Евклид своими *ῥοι* имел в виду просто дать г е о м е т р и ч е с к у ю н о м е н к л а т у р у, чтобы затем в постулатах /*αἰτήματα*/ и „общих идеях“ /*κοινὰ ἐννοιαί*, общепринятые идеи, аксиомы/ формулировать свойства основных образований, долженствующие быть непосредственно примененными в последующих рассуждениях».

На языке более позднем, в значении слова *terminus* основным продолжает быть момент о п р е д е л е н н о с т и, хотя значение дифференцируется. По объяснению Дю-Канжа⁶¹, *terminus* значит: 1) область, описанная своими границами и пределами, т. е. самое содержание границы; 2) *definitio*, *ῥος*, постановление, в смысле соборных постановлений; тут *terminus* и *ῥος* в языках латинском и греческом в точности передают друг друга; 3) назначенное время, установленный день; 4) праздничный день.

Собственно-философское пользование словом термин введено преимущественно А р и с т о т е л е м. «Термином» /*ῥος, terminus*/ суждения у него называются подлежащее и сказуемое суждения — логический субъект и логический предикат⁶². Понятно, почему это так: подлежащее и сказуемое суждения, ведь определяют собою р а з м а х мысли, тот, который допускается и предполагается актом суждения. Из беспредельной возможности в неопределенных блужданиях, мысль, актом суждения, само-ограничивается, сжимается, заключает себя в амплитуду подлежащего — сказуемого. Ибо подлежащее есть то, на чем говорящий желает сосредоточить внимание, а сказуемое — то, что именно должно открыт внимание в предмете своем.— Между тем, о чем мы говорим, и тем, что мы говорим, содержится весь простор мысли, т. е. оттенков и ограничений дальнейших, выражаемых обстоятельствами. А т. к., далее, логическое сказуемое и логическое подлежащее могут быть сложными, то каждая из составных частей их сама может получить наименование термина. Так пользуются словом термин философы. По Геккелю, называвшему себя Гоклением⁶³, *terminus* есть «*oratio rei essentiam significans* — речение, обозначающее сущность вещи». По Г у т б е р л е т у, «речение/

sprachlicher Ausdruck/ содержит понятия посредством слова. Поскольку это последнее в человеческом пользовании взаимно отграничивает понятия и таким образом намечает границу, как пограничный знак, оно называется в философском словоупотреблении термином.»⁶⁴. — По Гефлеру, научные термины суть «слова, значение коих — понятия»⁶⁵.

ХII. Итак, в приложении к философской и научной речи понятно словоупотребление: термин, terminus, брос. Это какие-то границы, какие-то межи мысли. В неопределенной возможности, мысли предлежащей, — двигаться в с я ч е с к и, в безбрежности моря мысли, в текучести потока ее, ею же ставятся себе твердые грани, неподвижные межевые камни, и притом ставятся как нечто клятвенно признанное нерушимым, как ею же установленные, т. е. символически, посредством некоторого сверх-логического акта, волею сверхличную, хотя и проявляющуюся чрез личность, воздвигнутые в духе, конкретные безусловности: и тогда возникает с о з н а н и е. Нет ничего легче как нарушить эти границы и сместить межевые камни. Физически — это легчайшее. Но для посвященного, они табу для нашей мысли, ибо ею же в этом значении и установлены, и мысль знает в них хранителя ее естественного достоинства и страшится нарушать их, как залого и условия собственного сознания. Чем определеннее, чем тверже — мыслию же поставленная препона мысли, тем ярче и тем синтетичнее сознание. По воззрениям многих современных психологов, сознание вообще есть следствие задержки непрерывного потока психической жизни: мы идем машинально, и в сознании нашем нет дороги; мы споткнулись, — и возникает сознание. Мы живем нравственно: у нас нет в сознании мысли о нравственности; наша нравственность качнулась — и возникает этика; в горячем увлечении этическими проблемами не скрывается ли обычно личной неэтичности? По меткому изречению Анри Б е р г с о н а, «представление закуперено действием»⁶⁶. «Несовпадение действий с представлением и есть то, что мы называем сознанием»⁶⁷, еще говорит он. И еще: «Сознание живого существа определяется, как арифметическая разность между деятельностью виртуальной и деятельностью реальной. Оно служит мерою отделения представления от действия»⁶⁸. «Дефицит в инстинкте... вот что становится сознанием»⁶⁹. С этой точки зрения, мысль, в смысле сознания, есть зеркальный образ задержанного внутреннего действия, мнимый фокус жизнедеятельности. Таково понимание современного психоанализа; в сущности, сюда же относится эмпириокритицизм. Воззрения Ф и х т е-старшего приводятся к той же мысли, но не в психологической, а в гносеологической и отчасти метафизической транскрипции: для самосознания абсолютного Я необходимо ему наткнуться на сопротивление не-Я, в силу чего возникает соотносительное этому последнему относительное Я, или точнее — я, с малой буквы. Различение названных и других мыслителей не в том состоит, признавать ли, или не признавать сознание — сублимацией задержки безграничного устремления волевых глубин, а — в том, происходит ли эта задержка от препятствий, внешних духу, и, следовательно, случайных в отношении его внутренней жизни, или, напротив, задержка полагается свободно самим же духом, значит, закономерно. Но, на известной глубине, когда открывается общая основа жизни внутренней и реальности внешней, и эта разница тех и других воззрений перестает быть чувствительной.

Итак термин, в разъясненном смысле слова, есть граница, которою мышление самоопределяется, а потому и сомосознается. Способ установки этого рубежа определяет и способ самопознания мысли, т. е. сознание того акта, той деятельности, которою ставится эта граница.

Останавливая свою безбрежную кипучесть, мысль тем самым осознает себя, как останавливающую, т. е. обретает в своем потоке нечто твердое, нечто неподвижное; но неподвижное это — не внешне ей, а есть ее же собственная деятельность, подвижная неподвижность ее же собственного акта, живое усилие и силовое напряжение. В могуче напряженном и как бы из стали отлитом мускуле совершаются мельчайшие вибрации, которыми и обнаруживается жизненность мускульного усилия. Когда мы стоим, то непрерывно падаем, то в одну сторону, то в другую. И напряженный мускул, и стоящий человек, действуют, усиливаются, живут. Так и термин. Недвижно стоящий пред мыслью, он на самом деле есть живое усилие мысли, наибольшее обнаружение ее напряженности. И чем неподвижнее термин, тем отчетливее и тверже стоит он пред сознанием, тем большая требуется жизнь мысли. История термина есть ряд творческих усилий мысли, наслояющей себе вокруг основного ядра все новые препятствия, чтобы, сконцентрировав себя, приобрести новую силу и новую свободу.

XIII. Но каков же образ термино-образования? и как именно примыкает формирование термина к известному из лингвистики составу и росту обычного слова? В слове различаются, как известно, несколько центров. Концентры слова суть ступени и стадии образования его, прежде всего — индивидуально-личного, а затем, быть может, и обще-народного. Лингвисты стремятся, в духе эволюционизма, приравнять филогенезис слова его онтогенезису, но с этим уравниванием надо быть, по меньшей мере, осторожным. Осторожность тут тем более необходима, что у слова, кроме его роста в индивидуальном разуме, есть рост еще более индивидуальный, — возникновение слова всякий раз как произносимого, т. е. такой онтогенезис, в отношении которого развитие слова в индивидуальном разуме само должно рассматриваться как филогенезис. Но как бы то ни было, а нас занимает не исторический и даже не индивидуально-биографический процесс словообразования, а самая актуальность слова, я в л е н и е слова в данный момент, самый расцвет словесной энергии духа, т. е. слово как наиболее живое и наиболее действенное, как свидетельство силы и жизни духа. Выше-названные концентры слова суть, прежде всего, для нас, последовательные проявления или откровения духа. К перечню их можно подходить различно, смотря по общему складу мысли и по требуемому в данном именно случае разрезу слова, в том или ином направлении. Нас может занимать познавательная сторона слова, как дающего самую реальность; может — логическая форма, определяющая правомерность вхождения слова в лоно вселенской мысли, хотя оно исходит из уст индивидуальных; может представиться предметом нашего внимания и психическое содержание тех процессов, которыми первичное движение воли последовательно проявляет себя и воплощает в средах, последовательно все более внешних; можно исследовать физиологические и физические явления, представляющие самое тело этих воплощений или нисхождений внутреннего слова в материю; и, наконец, подлежат анализу сверхпсихологические и сверх-физиологические движения нашего существа, промежуточные между познанием реальности и психическими средствами явления его, с одной стороны, и, затем, промежуточные между психикой и физикой или, точнее, соматикой, — движения, объединяемые нами, за недостаточную их исследованность в одну группу явлений оккультных, хотя сокровенны они, главным образом, от европейского рационализма, а не по существу, и хотя объединение всех вместе столь же мало убедительно, как и каталожное наименование *Varia* — всем книгам, не вошедшим в состав прочих отделов.

Итак, различно может члениться слово на концентры, и загодя мы не имеем оснований настаивать на тождестве всех названных способов членения, — хочу сказать, граница дробления слова, проведенная по одному направлению мысли, не непременно совпадает с таковою же, намечающеюся в другом разрезе. Эта оговорка необходима, чтобы членения по разным направлениям не показались взаимно-уничтожающими вследствие недостаточной их продуманности. Так, например, индусская лингвистика, опирающаяся преимущественно на само-наблюдение со стороны оккультно-соматической, на опыт сознательного распределения п р а н ы, посылаемой произвольно в те или другие органы, устанавливает четыре концентра или четыре слоя в нашем слове. Слово бывает:

- 1, в мозгу — первичное, нара, соответственно абсолютному космическому плану, или атаман.
- 2, в легких — промежуточное, пассианти, соответственно каузальному космическому плану, или карана.
- 3, в горле — видимое, мадиама, соответственно астральному космическому плану, или суксма *.

ПРИМЕЧАНИЯ

23. Вильям Оувелль, — История индуктивных наук. Пер. с 3-го англ. издания М. А. Антоновича. СПб., 1869, т. 3, с. 402.
24. id., с. 402 /«Реформа описательной части ботаники была одним из первых дел, за которое взялся Линней; и его терминология была орудием, посредством которого он сделал другие улучшения»./
25. id., с. 403.
26. /Сноска не сохранилась. Возможно, она взята П. А. Флоренским из книги, упоминаемой в подготовительных материалах: William Whewell, — *Novum Organon Renovatum*, The Third Edition, London, 1858./
27. id., pp. /35/? // Возможно, П. А. Флоренский имел в виду следующие слова Уэвелля: «Для нас очень важно отметить, что эти споры никогда не представляли собою вопросов об отдельных и произвольных определениях, как это, по-видимому, часто думали. Во всех этих случаях безомысленно признавалось некоторое предложение, которое должно было быть выражено при помощи определения и которое придавало этому последнему его значение.»/ цитируется по кн.: Д. С. Милль, — Система логики силлогистической и индуктивной. Пер. с англ. под ред. В. Н. Ивановского. М., Издание магазина «Книжное дело», 1900, с. 542./
28. Уэвелль. *Novum Organon Renovatum*, p. 35 /?/; Милль. Логика, с. 541. /Цитата взята из кн.: William Whewell, — *Novum Organon Renovatum*, The Third Edition, London, 1858. Цитируется П. А. Флоренским по кн.: Д. С. Милль, — Система логики силлогистической и индуктивной... М., 1900, с. 541./
29. id., pp. 35—37. /Цитируется П. А. Флоренским по кн.: Д. С. Милль, — Система логики силлогистической и индуктивной... М., 1900, с. 541—543./
30. Д. С. Милль, — Система логики силлогистической и индуктивной. Пер. с англ. под ред. В. Н. Ивановского. М., 1900, изд. магазина «Книжное дело», с. 534—587. Книга IV., гл. III—VIII.
31. А. Пуанкаре, — Наука и метод, /авторизованный перевод Бориса Кореня под ред. проф. Н. А. Гезехуса, СПб., 1910/, с. 14. /См. также кн.: Анри Пуанкаре. О науке. Пер. с фр. под ред. Л. С. Понтрягина. М., «Наука», 1983, с. 293; Пуанкаре — так и у П. А. Флоренского./
32. А. Пуанкаре, — Наука и гипотеза, Р., пер. 1903, с. 101. /А. Пуанкаре, — Гипотеза и наука — М., Тип. Г. Лиснера и А. Гетеля, 1903; см. также кн.: Анри Пуанкаре. О науке... М., 1983, с. 97./
33. А. Пуанкаре, — Ценность науки, /пер. с фр. под ред. А. Бачинского и Н. Соловьева. М., Кн-во «Творческая мысль», 1906./с. 188—189 и 8—9. /См. также кн.: Анри Пуанкаре. О науке... М., 1983, с. 278—279 и 157—158./
34. А. Пуанкаре, — Наука и метод... СПб., 1910/ с. 23./См. также кн.: Анри Пуанкаре. О науке... М., 1983, с. 300/.

* На этом рукопись обрывается.

35. А. Пуанкарэ,— Наука и метод/... СПб., 1910/ с. 24. /См. также кн.: Анри Пуанкарэ. О науке... М., 1983, с. 301./
36. А. Пуанкарэ,— Наука и метод /... СПб., 1910, /с. 23—24./См. также кн.: Анри Пуанкарэ. О науке. М., 1983, с. 300./
37. А. Пуанкарэ,— Ценность науки/ ...М., 1906, /с. 163. /См. также кн.: Анри Пуанкарэ. О науке... М., 1983, с. 261/
38. /A.L./ Walde,— /— Lateinisches etymologisches Wörterbuch, 2-e umgearbeitete Auflage. Heidelberg, 1910. /Indogermanische Bibliothek, 1, II, 1/, SS. 774—775.
39. /E./ Boisacq/,— Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Heidelberg — Paris, 1909./
40. Историческое выяснение слова Terminus и других родственных сделано главным образом по: Fustel de Coulanges, La cité antique, 20^{me} édition, Paris, 1908, Livre II, chap. VI и др., pp. 62—75. Отсюда же взяты дальнейшие цитаты. Русский перевод: Фюстель де-Куланж,— Гражданская община древнего мира. Пер. с фр. А. М. Под ред. проф. Д. Н. Кудрявского. СПб., 1906, с. 59, 72. Затем: Preller, /Ludwig./ Какую из многочисленных книг и статей Preller'a имел в виду П. А. Флоренский, неясно. Возможно это: Romische Mythologie, 2. Bd., 1854./
41. Tibullus I.1.23. /См. кн.: Катулл. Тибулл. Проперций.— ГИХЛ, М., 1963, с. 160: «Лары, и вам, сторожам усадьбы когда-то богатой, Но захудалой теперь, я приготовил дары»./
42. Cicero,— De legibus/, II, 11, 27. /Цицерон. О законах, II, 11, 27.— В кн.: Цицерон. Диалоги. М., Наука, 1966, с. 118—199: «Такое же значение имеют и священные рощи в сельских местностях, и нельзя отвергать почитания ларов, завещанного предками как владельцами земли, так и домохозянами, и обрядов, совершающихся на глазах у жителей имения и усадьбы»./
43. Cicero,— De legibus /, I, 21. /Цицерон. О законах, I, 21, 55—56.— Там же, с. 106—107: «...Из этого разногласия... и возник спор о границах; в этом споре /коль скоро законы Двенадцати таблиц не признали давности пользования в пределах пяти футов/ мы не позволим этому хитроумному человеку пастись на старом владении Академии... Мы сочтем нужным разыскать пограничные камни, установленные Сократом, и считаться с ними».
- Примечание к данному тексту: «Полоса земли шириною в 5 футов, проходившая между смежными владениями, не подлежала отчуждению»./
44. Cato,— De re rust./ca/, 141. /Cato Marcus Porcius. De agricultura liber. Post Henricum Keil iterum ed. Georgius Goetz. Lipsiae, 1922, / второе издание/, /§ 141: Agrum lustrare sic oportet. impera suovitaurilia circumagi: 'cum divis volentibus quodque bene eveniat, mando tibi, Mani, uti illace suovitaurilia fundum agrum terramque meam quota ex parte sive circumagi sive circumferenda censeas, uti cures lustrare'... «Освящать поле следует так: Повели обоими его с жертвоприношением свиньи, овцы, быка: Препоручаю тебе, божество подземного мира, при благоволении небесных богов...»/далее следует описание жертвоприношения./ Scriptores rei agrar /iae/, ed. Coez, p. 308. Dionys. Halicarn. II, 74. /Dionysius Halicarnassensis. Antiquitatum romanorum... rec. A. Kiessling, Vol. 1—2. Leipzig: Teubneri, 1840—1864/. Ovid. Fast. II, 639 /ff/. /Ovidius Naso P. Fasti, II, 639—642.— In: P. Ovidi Nasonis Fastorum libri sex. Leipzig: Teubner, 1889, S. 112: «Nox ubi transierit, solito celebretur honore separat indicio qui deus arva suo.
Termine, sive lapis, sive es defossus in agro stipes, ab antiquis tu quoque nimen habes».
- Описание древнеримского праздника Сатурналий, отмечавшегося 23 февраля. «Когда пройдет ночь, празднуется с обычными почестями бог, который своим указанием разделяет возделываемые поля. О Термин, будь ты камень или столб посреди поля, и ты тоже имеешь от древних божественные почести»./ Strabo, V, 3. /Strabonis Geographica. Recensuit commentario critico instruxit Gustavus Kramer. Vol. I. Berolini, 1850/.
45. Siculus Flaccus,— De conditione agrarum. Ed. Lachmann pp. 141; aed. Goetz, p. 5. /Siculi Flacci de condicionibus agrorum.— In: Gromatici veteres. Ex recensione Caroli Lachmanni. Berolini, 1848, p. 141—143: Carbo autem aut cinis quare inveniatur, una certa ratio est: quae apud antiquos est quidem observata, postea vero neglecta; unde aut diversa aut nulla signa inveniuntur. cum enim terminos disponent, ipsos quidem lapides in solidam terram rectos conlocabant proxime ea loca in quibus fossis factis difixuri eos erant, et unguento velaminibusque et coronis eos coronabant. in fossis autem /in/ quibus eos posituri erant, sacrificio facto hostiaque inmolata adque incensa facibus ardentibus, in fossa cooperti sanguinem instillabant, eoque tura et fruges iactabant. favos quoque et vinum, aliaque quibus consuetudo est Termini sacrum fieri, in fossis adiciebant. consumptisque igne omnibus dapibus

super calentes reliquias lapides conlocabant adque ita diligenti cura confirmabant. adiectis etiam quibusdam saxorum fragminibus circum calcabant, quo firmitus starent... si vero pali lignei pro terminis dispositi sunt... aliudve quod loco termini observari videbitur, ex consuetudine regionis et ex vicinis exempla sumenda sunt. «Почему /под межевыми столбами/ обнаруживаются уголь или пепел, тому есть определенное основание: обычай, соблюдавшийся древними, но позднее вышедший из употребления; оттого обнаруживаются либо различные знаки, либо никакие. Когда древние устанавливали межевые знаки /terminos/, они прежде всего вертикально водружали на твердой земле самые камни вблизи тех мест, где, выкопав ямы, собирались их ставить, и умащали эти камни благовоениями, украшали покрывалами и увенчивали венками. Совершив жертвоприношение, они бросали в ямы части закланных жертвенных животных, зажегши их пылающими факелами, затем окропляли их кровью; туда же бросали финиам и жертвенные плоды, а также медовые соты, вино и прочее, что обычно посвящается /богу/ Термину. Когда огонь поглощал всю жертвенную трапезу, они располагали на ее тлеющих остатках камни, старательно укрепляя их. Чтобы камни стояли прочнее, их обкладывали со всех сторон булыжниками. Если в качестве межевых знаков поставлены деревянные столбы... упорядочившиеся вместо /каменных/ знаков... то примером служит обычай данной местности или соседей...»

Издания Г. Гетца, на которое ссылается автор и в котором также имеется вышеприведенный текст Сикула Флакка, в центральных библиотеках Москвы не оказались.

46. Законы Ману, VIII, 245. Vrihaspati, по цитате Jicé,— Le'gislat hindons, p. 189. /См.: Законы Ману. Пер. С. Д. Эльмановича, проверенный и исправленный Г. Ф. Ильиным. М., Изд. восточной литературы, 1960, с. 168—169: «Если возник спор двух деревень о границе..., определять границу следует в месяце Джьяйшхта, когда пограничные знаки отчетливо видны.»/

47. Varron /L. V, 74/.

/Marci Terenti Varronis de lingua latina quae supersunt. Recensuerunt Georgius Goetz et Fridericus Schoell. Lipsiae in aedibus Teubneri, 1910, L. V, 74, p. 24.

«Et a r a e Sabinum linguam olent... nam, ut annales dicunt, vovit... Termino»
 «И слово агае /жертвенник/ тоже имеет привкус языка сабинян... ибо, как говорится анналы, он /древний царь сабинян Татий/ построил их... для /бога/ Термина.»/

48. Pollux IX, 9.

/Pollucis onomasticon. E codicibus ab ipso collatis denuo edidit et adnotavit Ericus Bethé. Fasciculus posterior, lib. VI—X continens. Lipsiae in aedibus Teubneri, 1931, p. 149.

Lib. IX, 8:

καὶ ἐν τῶν ὄρων Ζεὺς ὄριος καὶ στήλη ἐφόρια.

«А от /выражения/ 'граница' /идут словосочетания/ 'Зевс, охраняющий границу' и 'пограничный столб'»./

Hesichius

ὄριος/Hesychii Alexandrini Lexicon. Ed. minorem curavit Mauricius Schmidt. Editio altera indice glossarum ethnicae aucta. Jenae, sumptibus Hermannii Dufftii, 1867, col. 1145: ὄριος. νόμος. θεσμός, ἡ στήλη, ἡ καταπεπηγυῖα ἐπὶ χωρίῳ ἢ οἰκίᾳ

«Граница: закон, установление. Или столб, укрепленный у земельного владения или жилища.»/

Plato,— Законы, VIII 842 e.— 843a

/Платон, Законы, VIII 842 e.— 843 a.— В кн.: Платон. Сочинения в трех томах, т. 3, ч. 2. М., «Мысль», 1972, с. 327; «Первый закон, закон Зевса — охранителя рубежей, будет гласить так: пусть никто не нарушает земельных границ своего ближайшего соседа, будь то гражданин или чужеземец, если чей-то участок лежит на окраине, так что граничит с его землей. Пусть каждый считает, что это поистине будет нарушением того, что нельзя нарушать. Пусть каждый скорее попытается сдвинуть огромную скалу, чем межевой столб или даже маленький камень, заклый перед лицом богов и размежевывающий вражду и дружбу.»

49. Euripides, Electra, 96.

/Euripidis tragoediae. Ex recensione Augusti Navckii. Editio tertia. Volumen I. Lipsiae, sumptibus et typis Teubneri, 1881, p. 244: πρὸς τερμονας γῆς τῆσδ', ἴν' ἐκβάλω ποδὶ ἄλλην ἐπ' αἶαν... .

«Я пришел всего лишь /к границам/ τέρμονας множ. винит. от τέρμων/этой земли, чтобы отступить в другую землю/ если меня кто-нибудь выследит»/.

В пер. И. Анненского:

«Но в город не войду я; две причины

На это есть; во-первых, если нас

Шпион какой узнает, можно скрыться

В соседний край...»

Еврипид. Трагедии, т. 2. Пер. с др.-греч. И. Анненского и С. Шервинского. М., Худ. лит-ра, 1969, с. 10.

/Плутарх/ Numa 16.

/Πλουτάρχου Νομᾶς 16.— In: Plutarchi vitae parallelae. Recognoverunt CL. Lindskog et K. Ziegler. Vol. III, fasc. 2. Leipzig: Teubner, 1973, p. 75, 1. 19—26. Πρώτον δέ φασι καὶ Πίστεως καὶ Τερμιονος ἱερὸν ἰδρῶσασθαι... ὁ δὲ Τερμιων ἔρος ἂν τις εἴη, καὶ θυροῦσιν αὐτῷ δημοσίᾳ καὶ ἰδίᾳ κατὰ τοὺς τῶν γῆρῶν περιορισμούς, οὖν ἢ ἐν εἰ ψυχα, τὸ γαλαῖα δ' ἐναί ακτος ἦν ἡ θυσία, Νομᾶ φιλοσοφιστῶν ὡς χρεὶ τὸν ἄριον θεόν, εἰρηγῆς φύλακα καὶ δικαιοσύνης ἰάρτην ὄντα, σβόνου καθάρων εἶναι.

«И прежде всего говорят, он /царь Нума Помпилий/ соорудил святилище Веры и /бога/ Границы /τερμιονος/... /Бог/ Границы есть как бы предел, и ему приносят общественные и личные жертвы на межах полей, причем ныне приносятся в жертву живые существа, а в древности жертвоприношения были бескровны, поскольку Нума рассудил, что бога, охраняющего границу /τον ἄριον θεόν/, стража мира и свидетеля справедливости, не следует пятнать убийством»./

/Плутарх/ Quaest Rom. 15.

/Πλουτάρχου Αἰτίαι Ρωμαικαί,— In: Plutarchi moralia. Vol. II. Recensuerunt et emendaverunt W. Nachstädt — W. Sieveking — J. B. Titchener. Leipzig: Teubner, 1971, p. 282:

Διὰ τί τὸν Τερμιωνοῦ, ὃ τα Τερμινάλια ποιεῖσι, θεοῦ νομίζοντες οὐδὲν ἔθουον αὐτῷ ζῶον; ἢ... Νομᾶς... Πομπήλιος... τὸν Τερμιωνοῦ ὡς ἐπίσκοπον καὶ φύλακα φιλίας καὶ εἰρηγῆς ὡς το δεῖν ἀγαπᾶσθαι καὶ φόβου καθάρων καὶ ἀβαντον διαφυλάττειν;

«Почему, именуя богом Термина, которому посвящено празднество Терминалий, /римляне/ не приносили ему в жертву никакие живых существ? Не потому ли, что... Нума Помпилий.. счел, что Термин как надзиратель и страж дружбы и мира должен быть сохранен чистым и незагрязненным кровью и убийством?»

Имеющееся у автора указание также и на § 35 «Римских причин» Плутарха, по-видимому, ошибочно, так как в данном сочинении имеется лишь одно /приведенное выше/ упоминание о древнеримском боге Термине./

Дионисий /Галикарнасский/ — см. выше прим. 44.

50. Ovid. Fasti. II, 677—678.

/Ovidius Naso. Fasti, II 673 — 678.— In: P. Ovidii Nasonis Fastorum libri sex. Leipzig: Teubner, 1889, S. 114:

«Terminae, post illud levitas tibi libera non est:

qua positus fueris in statione. mane;
nec tu vicino quicquam concede roganti,
ne videare hominem praeposuisse Iovi,
et, seu vomeribus seu tu pulsabere rastris,
clamato: „Tuus est hic ager, ille tuus!“».

«О Термин, коль скоро все это так, легкость тебе невозможна: в каком месте ты будешь поставлен. там пребывай, и не уступай просьбам ни одного из соседей и не дай повода считать, будто ты поставил человека выше Юпитера; а если кто толкнет тебя лемехом или мотыгой, кричи: „Твое поле — вот это, а то — его!“»./

51. Festus, s. v. Terminus, ed. Müller, p. 368. /Sexti Pompei Festi De verborum significatione quae supersunt cum Pauli epitome. Emendata et annotata a Carolo Odofredo Muellero. Lipsiae, in Libraria Weidmanniana, 1839, p. 368:

«Termino sacra faciebant, quod in eius tutela fines agrorum esse putabant. Denique Numa Pompilius statuit, eum, qui terminum exarasset, et ipsum et boves sacros esse. Terminus quo loco colebatur, super eum foramen patebat in tecto, quod nefas esse putarent, Terminum intra tectum consistere».

«/Древние/ устраивали жертвоприношение Термину, ибо полагали, что пределы полей находятся под его охраной. Наконец, Нума Помпилий постановил, что если кто выроет межевой знак, распахнет между, на него самого и на быков надает проклятие. Над тем местом, в котором чтили Термина, в крыше делалось отверстие, ибо они считали неблагоприятным держать Термина под крышей»./

52. Script. rei agrar, ed Goez, p. 258; ed. Lachmann, p. 350—351 /Первого из двух изданий /Г. Гетца/, на которые ссылается автор при цитировании данного текста, в центральных библиотеках Москвы не оказалось. Приведем текст по второму из указанных автором изданий /Р. Лакмана/:

Ex libris Vegoiae Arrunti Velymno.— In: Gromatici veteres. Ex recensione Caroli Lachmanni. Berolini, 1848, p. 350—351:

«Iuppiter... constituit iussitque metiri campos signarique agros. sciens hominum avaritiam vel terrenum cupidinem terminis omnia scita esse voluit... sed qui con-

tigerit moveritque, possessionem promovendo suam, alterius minuendo, ob hoc scelus damnabitur a diis. si servi faciant, dominio mutabuntur in deterius. sed si conscientia dominica fiet, caelerius domus extirpabitur, gensque eius omnis interiet. motores autem pessimis morbis et vulneribus efficientur membrisque suis debilitabuntur. tum etiam terra a tempestatibus vel turbinibus plerumque labe movebitur. fructus saepe ledentur decutienturque imbribus atque grandine, caniculis interient, robigine occidentur. multae dissensiones in populo. fieri haec scitote, cum talia scelera committuntur».

«Юпитер... постановил и повелел измерить поля и обозначить земельные наделы. Зная человеческую жадность и земную похоть, он пожелал, чтобы все было известно по межевым знакам /terminis/... Но если кому случится передвинуть их, чтобы расширить свое владение и уменьшить чужое, то за это преступление он будет проклят богами. Если это сделают рабы, их подневольное положение изменится к худшему. Но если это будет совершено с ведома господина, то очень скоро его род искоренится, так что каждый в нем погибнет. А зачинщики будут поражены наихудшими болезнями и ранами и их тело будет ослаблено. Кроме того, их земля будет часто страдать от гроз, вихрей и обвалов. Плоды земли будут побиваться дождем и градом и осыпаться, иссохнут от жары, погибнут от ржи. Среди народа будет много раздора. Знайте, что все это произойдет, если будут совершены подобные преступления»./

53. Plato,— Законы VIII 842a — 843a /см. прим. 48/.
54. Иоанн Дамаскин,— философские главы, VIII. /Migne,— Patrol. ser. gr., Т. 94, col. 553, Рус. перев. Полное собрание творений Св. Иоанна Дамаскина, т. 1, СПб., 1913, с. 62/.
55. id. Migne, col. 557.
56. Simon /Max/,— Euclid und die sechs planimetrischen Bücher, Lpz., 1901 /S. 25/ Энриквес /Ф/,— Вопросы элементарной геометрии, 1913, с. 46, 47. /Вопросы элементарной геометрии. Сборник статей под ред. Ф. Энриквеса. Пер. И. В. Ящунский. СПб., Кн-во «Физика», 1913/.
57. Lambert,— Briefe an Holland, Deutsch. Gelehrt. Briefwechsel, I, Т. IV. Цитата по У. Амальди,— О понятиях прямой и плоскости. I, 3, в сборнике Ф. Энриквеса,— Вопросы элементарной геометрии, пер. /И. В./ Ящунского, СПб., 1913, с. 48/, 99/.
58. Zeuten /H. G./,— Geschichte der Mathematik im Altertum und Mittelalter. Copenhagen, 1896, S. 115.
Цитата отсюда же, см. прим. 5 /на с. 99/.
59. Simon /Max/,— Euclid und die sechs planimetrischen Bücher, Lpz., 1901, S. 25.
60. У. Амальди,— О понятиях прямой и плоскости. I, 3, в сборнике Ф. Энриквеса. Вопросы элементарной геометрии, пер. Ящунского, СПб., 1913, с. 48.
61. Du Cange,— Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, editio nova, Т. VI, Parisius, 1736, col. 1069.
62. Аристотель,— Anal. I₁ 24b 16. * * *
/См.: Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 2. М., «Мысль», 1978, с. 120: «Термином я называю то, на что распадается посылка, т. е. то, что сказывается, и то, о чем оно сказывается, с присоединением глагола „быть“ или „не быть“...»/
63. R. Gockelenius /Göckel/,— Lexicon philosophicum, 1613/, p. 1125.
64. G. Gutberlet,— Logik/ u/nd/ Erk/enntnis/, 2^{te} Ausg., S. 17.
65. A. Höfler,— Grundlag/e/ d/er/ Logik, 2^{te} Ausg., S. 14. /Проф. Алоиз Гефлер. Основные учения логики. Пер. с четвертого нем. изд. И. Давыдова и С. Салитан. С пред. И. И. Лапшина.— СПб., Издание «Научно-философской библиотеки», 1910, с. 15: «С л о в а, значение которых суть понятия в указанном выше строго логическом смысле, называются научными техническими выражениями/termini...»./
66. Bergson,— Evolution créatrice.
Адри Бергсон.— Творческая эволюция. /Авторизованный пер. с фр. В. А. Флеровой. М.— СПб., Кн-во «Русская мысль», 1914 /с. 129.
67. Bergson,— id. Бергсон,— id., с. 129.
68. Bergson,— id. Бергсон,— id., с. 130.
69. Bergson,— id. Бергсон,— id. с. 130.

ОБЗОРЫ

ТРУБАЧЕВ О. Н.

О РАБОТЕ СЕКЦИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ X МЕЖДУНАРОДНОГО
СЪЕЗДА СЛАВИСТОВ

X Международный съезд славистов в Софии начался общим пленарным заседанием 15 сентября 1988 г., а окончательно завершился 21 сентября заседаниями многочисленных комиссий, состоящих при Международном комитете славистов, и официальным закрытием на вечернем пленарном заседании в Народной опере.

Мнения о больших международных научных конгрессах разделяются. Пессимисты считают, что они постепенно изживают себя, будучи трудно-обозримыми и труднодоступными, если речь идет об иностранных участниках. Оптимисты тоже не могут этого отрицать, но по-прежнему верят в пользу конгрессов, считая, что в международных славистических конгрессах заложен огромный научный и общественно-культурный стимул, не сравнимый с другими формами научной деятельности. Многие из нас помнят наш, московский, IV МСС 1958 г. и сознают, сколь многим лично обязаны именно ему. Конечно, нарекания на современные славистические съезды имеют в виду также их непомерное разрастание, а комитеты славистов специально борются с этим разрастанием. Суть дела в том, что один участник такого съезда физически не в состоянии посетить и прослушать за пять полных рабочих дней съезда едва ли больше 70—80 докладов по пятнадцати минут каждый (в действительности выходит даже меньше, необходимо учитывать также дискуссии по докладам, несомненно, не менее интересные, чем сами доклады). Отсюда делается ясным, что даже маленький, «карманный» международный съезд на 100 научных докладов и меньше, какие проводились славистами до войны, неизбежно распадается на 2—3 и более секций, работающих (заседающих) одновременно, и одно это уже способно привести в отчаяние любознательного слависта, который вправе стремиться все заслушать (не только, скажем, языкознание, но и литературоведение, фольклористику и историю), но никогда, ни разу не смог этого сделать. Что же говорить о нынешнем съезде славистов, который объединил по всем своим дисциплинам более полутысячи докладов. Очевидно, что следует примириться с необозримостью славистических съездов, необозримостью даже отдельных их секций, например л и н г в и с т и ч е с к о й с е к ц и и, на работе которой я остановлюсь ниже подробнее. Тем более, что доступные средства информации, и прежде всего — печатные издания, дают возможность как-то преодолеть эту необозримость славистического конгресса, которая поначалу удручает, вызывает растерянность участников, желание лихорадочно перебежать из подсекции в подсекцию, с одного доклада на другой, еще более интересный. Кроме того, существ-

вует некий закон, что ничто действительно замечательное не пропадает, но распространяется и становится постепенно общим достоянием. Поэтому бороться с «необозримостью» конгрессов по чисто научным мотивам, скорее, бесполезно (я знаю, что комитеты славистов — национальные и международный — неизменно этим занимаются, стремясь сократить общее число докладов, но это плохо удастся, как всякое противодействие естественному процессу).

При всей своей такой необозримости славистические конгрессы обладают удивительной и драгоценной способностью объединять науку и людей науки. Выработалась весьма гармоничная общая структура съездов, состоящих из секций (I) языкознания, (II) литературоведения (преимущественно — сравнительного), (III) литературно-лингвистических проблем, (IV) фольклористики и (V) исторической проблематики (также избирательной, более общей и главным образом сравнительной). Взаимосвязь всех этих разных секций и единство славистики в своих всех дисциплинах проявляется во многом и находит серьезнейшее обоснование в единстве прежде всего филологии, но также и шире — в единстве столь актуальной сегодня истории культуры. И в этом тоже — смысл существования наших конгрессов. Внешне, чисто человечески, это курьезно проявляется в том, что иной наш коллега-лингвист порой отсутствует в секции языкознания, но числится по секции литературно-лингвистической (как, например, американский лингвист Д. Ворт с его докладом по поэтике народных причитаний на последнем съезде славистов), как и в том, что на съезде иногда «перебегают» из секции в секцию не только слушатели, но и докладчики со своими докладами, как было с некоторыми докладчиками-лингвистами (например, польская лингвистка, специалист по этногенезу Х. Поповская-Таборская), которые перешли читать доклады в лингвистическую секцию из секции исторической проблематики, где, между прочим, имела даже специальная подсекция по этногенезу славян. И хотя в лингвистической секции формально заседания по этногенезу не было, в этом тяготении к лингвистике, думается, выразилась неотделимость проблем этногенеза в первую очередь от проблем праславянского языка и сравнительного языкознания в целом.

Конгрессы славистов, проводимые всякий раз в одной из славянских стран, значат (и это стоит отметить) немало для национально-культурного самосознания данной страны. Иначе трудно понять цифры: на X МСС было зарегистрировано кроме 700 иностранных участников также около 700 участников-болгар. К этому числу, по словам акад. П. Динекова (Болгария), закрывавшего конгресс, следует добавить еще примерно 500 болгарских граждан, проявивших интерес и пожелавших получить право допуска на конгресс. Это были люди разных возрастных категорий, среди них и те, которые, наверное, так или иначе будут связаны со славистикой будущего, и как замечательный факт такого рода П. Динеков приводил в пример одного 16-летнего болгарского гимназиста, который пожелал принять участие в этом софийском конгрессе славистов и сам выступал с собственными суждениями о методе исследований акад. В. Георгиева.

Моя обязанность — посылить охарактеризовать работу секции языкознания на X МСС, в том числе участие в ней советских славистов, хотя я уверен в необходимости всегда, а также и в данном случае, характеризовать явление во всей совокупности, не теряя из виду его связей с другими близкими явлениями. К тому же всякая сознательная изоляция попросту невозможна и вредна, если мы заинтересованы в более глубоком знании предмета.

Секция языкознания не случайно традиционно всегда первая секция славистических съездов. Она во все времена привлекала наибольшее количество участников; так было и на этом, X МСС. Общее число докладов, заявленных на лингвистической секции, приближалось к 300. Правда, ряд докладов не был произнесен, с другой стороны — прибавились новые доклады (особенно — из числа первоначальных письменных сообщений). Таким образом, общая картина в силу изменения деталей оказывалась изменчивой и опять-таки труднообозримой, и это не только мое мнение, но, по-видимому, объективное положение дел. Можно сослаться на высказывания Д. Ворты, который в качестве члена Международного комитета славистов был ответственным за работу именно лингвистической секции, и притом — не в первый раз. Я помню его ироническое выступление в конце IX МСС в Киеве (1983 г.), когда необозримость тематики съезда он уподоблял рассказу слепых о встрече наощупь со слоном в старинной притче: один рассказывал о слоне как только о хоботе, другой — о ноге, третий — о хвосте... На X МСС все почти повторилось: Ворт опять выступил в той же роли и искренне признал, что полными сведениями о количестве состоявшихся лингвистических докладов и выступлениях не располагает, потому что болгарский коллега на одном из заседаний «так переутюмился», что сведений не представил.

Будучи ответственным (или одним из ответственных) за работу лингвистической секции из числа советской делегации на X МСС, я нахожусь в сходном положении. Как слависта меня интересовала прежде всего работа подсекции I-1 «Структура и история праславянского языка. Балто-славянские этнолингвистические отношения», вследствие чего уже подсекцию I-2 «Сравнительно-историческое изучение славянских языков и диалектов. Межъязыковые контакты. Ономастика», также профессионально близкую мне, я мог посещать лишь частично и уже совершенно был лишен возможности принять участие в работе подсекции I-3 «Сопоставительное (типологическое) и ареальное изучение славянских языков и диалектов» и подсекции I-4 «Изучение структурных и семантических особенностей современных славянских языков. Социолингвистика. Лингвистика текста». Поэтому я прибег к помощи (в том, что касается сведений о работе этих подсекций), любезно оказанной мне членами советской делегации Н. Н. Пшеничновой (I-3) и Е. А. Земской (I-4), за что и выражаю свою признательность им, а также Е. М. Верещагину, одному из докладчиков и активному участнику подсекции I-5 «Сущность и развитие древнеболгарского языка. Его роль в формировании и развитии других славянских языков». Е. М. Верещагин весьма оперативно передал мне свои сведения о реально прозвучавших докладах и жарких диспутах этой последней подсекции, которую я сам вынужден был посетить нерегулярно.

Выражение «реально прозвучавшие доклады» не случайно, потому что, к сожалению, с самого начала программа съезда стала на глазах претерпевать изменения и в итоге местами существенно отличалась от своего идеального (печатного) варианта, что не могло не вызывать некоторой путаницы и соответственно — нареканий. Одна из причин — неприезд довольно многих докладчиков. Отсутствие Ф. Славского (Польша), заявившего доклад на очень близкую моему докладу тему о реконструкции древней культуры славян по данным праславянской лексики, означало резкое сокращение обмена мнений также и по моему докладу («Славянская этимология и праславянская культура», пленарное заседание лингвистической секции), хотя потом все же состоялась вполне конкретная дискуссия. Отсутствие В. Н. Топорова (СССР) и неприезд З. Голomba (США)

с их докладами по реконструкции праславянского языка, его именной лексики также не способствовали развертыванию дискуссий по этим проблемам. Вообще надо сказать, что, по моим сведениям, наибольший урон понесло участие советской стороны именно в 1-й (праславянской и балтославянской) подсекции лингвистической секции, традиционно неизменно важной для славистической тематики: из десяти запланированных наших докладов здесь состоялись только четыре, т. е. меньше половины. Определенный урон, хотя, возможно, несколько меньший, претерпело наше участие (количество докладов) и по всем следующим подсекциям. Первоначальное намерение проводить обсуждение опубликованных докладов даже в случае отсутствия (неприезда) их авторов, объявленное руководством славистических комитетов, на практике осуществить не удалось, хотя работу по изданию докладов советской делегации следует признать удовлетворительной, и для распространения наших печатных трудов среди членов других делегаций было сделано самое необходимое. Реально было прочитано на X МСС свыше 30 советских докладов по славянскому языкознанию (т. е. больше 10% всей лингвистической тематики съезда); их число могло быть значительно бóльшим, но почти два десятка наших докладчиков-лингвистов не приехали в Софию (всего в X МСС приняло участие свыше 150 советских славистов разных специальностей). Воиющим можно назвать полное отсутствие наших балтистов из республик Советской Прибалтики, регулярно принимавших, кстати, участие в предыдущих съездах славистов. Естественно, что последнее обстоятельство не могло не сказаться также на работе комиссии по исследованию балтославянских отношений. Для сравнения сошлюсь на то, что американские участники X МСС, прибывшие в Софию достаточно представительной делегацией, заявили свыше тридцати лингвистических докладов и письменных сообщений, но из их числа некоторые не смогли приехать, хотя в целом уровень участия славистов США в X МСС был внушительным, если к тому же принять во внимание, что речь идет о неславянской стране.

Были и определенные отличия между научной структурой и тематикой X МСС и предшествующего, IX МСС в Киеве. Даже если ограничиться отдельными примерами, обратившими на себя внимание, можно назвать, скажем, отсутствие на съезде в Софии «круглых столов» (вспомним очень оживленный киевский круглый стол по этногенезу славян с двадцатью выступлениями на нем разных специалистов, далее — круглый стол по Юрию Крижаничу, там же). Правда, в Софии были проведены (в основном литературоведами) заседания, посвященные годовщинам Ботева, Скорины и Шевченко. Сюда примыкает довольно многолюдный вечер участников X МСС, организованный в Доме советской науки и культуры и посвященный такой межсъездовой славистической дате, как 175-летие И. И. Срезневского (слово о Срезневском произнесла Г. А. Богатова). На киевском съезде славистов полнее была представлена лингвистическая проблематика славянского этногенеза, которая на софийском съезде внешне почти не значилась, а «Этногенез славян как общая проблема истории, лингвистики, археологии, антропологии, фольклористики и этнографии» фигурировал совсем в другом месте программы — как подсекция исторической секции. Однако уместно при этом предостеречь от прямолинейных выводов, так как при всех перечисленных, а также неперечисленных минусах софийского съезда традиционная праславянская лингвистическая проблематика оставалась предметом обсуждений, причем временами довольно ярких и конкретных, также и на софийском съезде славистов.

Собственно лингвистическая работа началась уже на первом общем пленарном заседании съезда докладом Р. Олеша (ФРГ), посвященным своеобразной экологии «малых» славянских языков. Одним из ярких событий праславянской подсекции I-1 были доклад Э. Станкевича (США) об именной акцентуации праславянского и литовского языков, а также последовавшая за ним дискуссия по этим вопросам. Станкевич во многом пересматривает теорию славянской акцентологии Станга и при этом отводит значительное место советскому лингвисту Булаховскому, который сразу после выхода книги Станга 1957 г. о славянской акцентуации выступил с ее серьезной критикой, а именно — против отрицания Стангом действия закона Соссюра в славянском, далее, против не критического принятия концепции балто-славянского единства и, наконец, против утрированной идеи Станга о том, что славянская акцентуация — всего лишь младший вариант балтийской акцентуации. Станкевич указал в своем докладе, что славянскую систему интонаций как более сложную и разнообразную невозможно, вопреки Стангу, вывести из балтийской как более простой и единообразной. Положение в современной науке усугубляется тем обстоятельством, что группа московских акцентологов, представленная на X МСС докладом трех авторов, недостаточно критично приняла именно идеи Станга о вторичности славянской системы и ее производности из балтийской. Станкевич убедительно критиковал методологические недостатки концепции московских акцентологов, требуя большей осторожности в отношении диалектного материала и свидетельства старых акцентуированных рукописей, а также настаивая на более пристальном учете воздействия морфологического фактора (например, при нарушении закона Соссюра в славянском двойственном числе). Мысль Станкевича о разных путях развития литовской и славянской акцентуации представляется актуальной и продуктивной, в том числе и в плане современных воззрений на славянский этногенез. Попытка подавить особое мнение Станкевича ответной ссылкой на «большинство голосов» не выглядела убедительной.

Из других заметных идей, высказанных на этой подсекции, стоит, пожалуй, назвать мысль о возможности создания праславянской исторической лексикологии на базе реконструкции и стратификации праславянского словарного состава (В. Борысь, Польша). При обсуждении доклада Л. Беднарчука (Польша) о сближении балтийской и славянской морфонологии в плане корреляции твердости/мягкости неслучайно речь зашла о языковом союзе, как, впрочем, и о том, что «языковые союзы никогда не могут осуществляться только на базе фонологии» (Х. Бирнбаум, США). Продолжалось на подсекции I-1 обсуждение положений пленарного доклада О. Н. Трубачева (СССР). Определенные дополнения вызвал, далее, доклад Е. А. Хелимского (СССР) о венгерском языке как источнике для праславянской реконструкции. Привлек внимание доклад Х. Поповской-Таборской (Польша) «Проблематика языковых периферий в этногенетических исследованиях». Она высказала весьма трезвое соображение по поводу того, что позднейшие территории славян (например, между Одером и Средним Днепром) нередко принимаются за древнейшие теми из языковедов, которые боятся слишком углубляться в древность (эту «боязнь слишком углубиться в древность» продемонстрировал на X МСС в своем общепленарном докладе «Древние места обитания славян» и старейшина польских археологов В. Хенсель). Отметим затем положение доклада² Поповской-Таборской о том, что «никогда не существовало

славянское лексическое единство», очень созвучное нашим собственным разысканиям, но диаметрально противоположное традиционному утверждению, повторяемому, например, польским исследователем В. Маньяком, о том, что именно в лексическом отношении праславянский язык будто бы был удивительно единообразен. Чрезвычайно своевременно выступление Поповской-Таборской против слишком общих и преувеличенных выводов на базе одного лишь сходства периферийных архаизмов. В дальнейшем споры вызвали оригинальные, хотя и несколько прямолинейные интерпретации славянской тенденции к открытости слогов в докладе Г. Гальтона (США, теперь — Вена): «Балтийскому языку не нужно было прибегать к открытым слогам для сохранения своих интонаций, тогда как славянский нуждался в этом». Этот феномен докладчик пытался объяснить ареальной близостью славянского к алтайским языкам, не знающим интонации, на что немедленно прореагировала критика. Выступавший в дискуссии Д. Брозович (Югославия) счел этот ареальный аргумент недоказанным, поскольку известно, что китайский язык, тоже издавна соседящий с алтайским, как раз обладает развитыми интонациями. Очень интересным было дискуссионное выступление И. Марвана (Австралия), обратившего внимание на фактор перестройки в условиях языкового союза (в связи с докладом Л. Беднарчука), а также на то, что на уровне описания в литовском почти нет согласных в конце слова (кроме флективного -s), т. е. как бы преобладает своеобразная «открытость» исходных слогов. Любопытно отметить, что Гальтон в дискуссии коснулся теории группового сингармонизма В. К. Журавлева, отсутствовавшего по болезни на съезде, буквально в следующих выражениях: «Я очень уважаю проф. Журавлева, но я этого сингармонизма не понимаю... Просто было много мягких согласных...». Таким образом, наш беглый и, разумеется, вынужденно далекий от полноты обзор наиболее замечательных идей и положений, оглашенных в докладах и диспутах сравнительно небольшой подсекции I-1 (праславянская и балто-славянская проблематика) на X МСС, убедительно показывает высокий уровень и важность состоявшегося научного обмена.

Сюда тематически примыкала подсекция I-2 (сравнительно-историческая грамматика, языковые контакты и ономастика), проигрывавшая, правда, при этом в смысле компактности проблематики сравнительно с первой подсекцией. Темы чисто морфологического характера здесь подчас случайно соседнили с вопросами эволюции литературных языков (например, доклад В. П. Вомперского о старинных риториках), текстологии. Кстати сказать, от участников съезда приходилось слышать мнение об относительной бедности тематики исторической морфологии (один из немногих докладов — Ж. Фёйе «Некоторые проблемы славянской исторической морфологии»). Впрочем, по мнению Е. А. Земской, слабо были представлены также фонетика и фонология. Некоторые доклады были посвящены словообразованию, этимологии слов, анализу лексических заимствований. Историческое развитие лексики славянских языков рассматривал доклад В. М. Русановского. Сопоставительно-лексикологический характер носил также пленарный доклад Р. М. Цейтлин. К сожалению, не был прочитан (по причине неприезда автора) важный доклад А. В. Десницкой (СССР) о лексических элементах, характерных для балканского языкового союза. Весь последний день работы подсекции I-2 был посвящен ономастике (из советских славистов здесь выступил с докладом о типах славянских

фамилий Н. В. Бирилло). Из трех греческих докладчиков по крайней мере два занимались проблематикой бытования суф. *-itsa* (в основном — из слав. *-ica*) в греческой ономастике. М. Майтан (ЧССР) в специальном докладе пришел к выводу о славянском характере словоцедной гидронимии.

Кроме того, на первом же заседании этой подсекции имело место продолжение дискуссии по пленарному лингвистическому докладу О. Н. Трубачева. Дискуссия развернулась вокруг словообразования и этимологии славянского слова **svoboda*, по затронутым в докладе балтославянским отношениям (выступления Г. Милейковской — Польша, Р. Эккерта — ГДР, Х. Шустер-Шевца — ГДР). На фоне этого конструктивного обмена резко выделялось выступление В. А. Дыбо (СССР), содержащее одни негативные утверждения о докладе Трубачева, а заодно обо всей его научной деятельности в самой общей форме и притом — без единого конкретного примера и потому больше походившее на оговор, чем на критику специалиста. Трубачев в ответном слове заявил, что предпочел бы иметь дело с аргументированной научной критикой, а не с огульными нападками.

Несколько нарушая порядок болгарской программы X МСС, теперь уместно перейти к характеристике работы подсекции I-5, посвященной дтарославянскому (древнеболгарскому) языку и его роли в развитии сругих славянских языков, и это будет соответствовать традиционному месту старославянской проблематики в славистике в смысле соседства проблем палеославистики и праславянских, а также в целом — сравнительно-исторических проблем. Несомненно, эта подсекция имела большое значение в глазах всех участников, чем объясняется и то, что ее заседания проходили при полной аудитории и собирали как болгарскую научную молодежь, так и лучших специалистов из разных стран. Достаточно назвать имена Х. Бирнбаума (США), Ф. Мареша (Австрия), Л. Мошинского (Польша), И. Тота (Венгрия), Р. Вечерки (ЧССР), Л. П. Жуковской, А. А. Алексеева и Е. М. Верещагина (все трое — СССР). Болгарская сторона была представлена также опытными специалистами: Д. Иванова-Мирчева, Р. Павлова, А. Минчева. На этой подсекции доминировали, можно сказать, не доклады, а дискуссии. Последние были бесспорно интересными, но, к сожалению, заранее обреченными на неуспех, потому что многое при обсуждении упиралось (главным образом с болгарской стороны) в обостренные национальные эмоции и скорее — в оскорбления национального престижа, чем научной правды. Существующему широкому международному научному узусу и национальному пониманию термина старославянский болгарские участники решительно противопоставили более узкое и не всегда адекватное словоупотребление и понимание старобългарски (древнеболгарски) — о языке древнейшей славянской письменности. За этим более узким пониманием тянется целый шлейф других славистических вопросов, например о характере и масштабах влияния на древнерусскую письменность и культуру. Заметим, что спорным компромиссом в общем контексте прозвучали уже положения общепленарного доклада о том, что из Болгарии на Русь вместе с церковнославянским языком пришла также целая шкала моральных ценностей. Судя по примерам, имелась в виду определенная маркированность на Руси неполногласных форм и их соединение с более высокими понятиями. Однако проверка показывает, что такое соотношение отнюдь не было во всех случаях импортировано как уже готовое, но складывалось исподволь

на древнерусской почве. Позволим себе привести на этот счет только один пример, к тому же опубликованный почти одновременно с X МСС: «В наиболее ранних памятниках церковно-учительной литературы лексемы *нравъ* и *норовъ* одинаково могли использоваться для номинации как положительных, так и отрицательных качеств, обычаев, характера. Ср. *норовъ бжественный*» (см.: *Кандаурова Т. Н.* Пути семантической дифференциации лексем с полногласиями и неполногласиями в корнях // *Актуальные проблемы исторической и диалектной лексикологии и лексикографии русского языка: Тез. докл. к республиканскому координационному совещанию 23—26 сентября 1988 г. Вологда, 1988. С. 33*).

Терминологические споры в духе оппозиции старославянский — древнеболгарский носили на этой подсекции ожесточенный характер. Уточнениям дефиниции древнеболгарского языка был посвящен специальный доклад Е. Дограмаджиевой и К. Костовой (Болгария). В демагогическом духе — с аллюзиями на нашу всеобщую перестройку — вся церковнославянско-древнеболгарская ситуация применительно к Древней Руси была обыграна в докладе О. Кронштайна (Австрия), который читал доклад по-болгарски и закончил его призывом: «И славистиката има нужда от преустройство» («И славистике нужна перестройка»). При этом «перестраиваться» в духе болгарской доктрины предлагалось нашим специалистам по языку древнерусской письменности. Отстаивая более широкую и гибкую концепцию, с ответом выступил Е. М. Верещагин, уместно закончивший словами — тоже по-болгарски: «И славистиката има нужда от толерантност». Советские специалисты дискутировали весьма компетентно, привлекая внимание к исторической условности термина «древнеболгарский» (Е. М. Верещагин), а также к другим моментам (А. А. Алексеев, В. М. Живов). Болгарские представители пользовались весьма изощренной и разнообразной аргументацией, не останавливаясь перед обвинениями инакомыслящих в «ненаучности», ср. критику Д. Ивановой-Мирчевой коллективного доклада Г. С. Баранковой, Р. В. Бахтуриной, Л. А. Владимировой, Л. П. Жуковской, А. М. Молдована и А. А. Пичхадзе об Изборнике Святослава 1073 г., притом что другие болгарские участники высказывали об этом докладе положительные суждения.

Довольно острой постановкой вопросов отличались также отдельные доклады славистов других стран, например доклад О. Неделькович (США) «Языковые уровни и характерные черты диглоссии в средневековых литературах православных славян», где высказывалась мысль о том, что восточнославянская письменность развивалась под византийским влиянием независимо от славянского Юга. В целом, невзирая на своеобразный болгарский «диктат» в терминологической и концептуальной сфере палеословенистики, в работе подсекции преобладал дух свободной научной дискуссии с учетом положения в мировой славистике. Имеются все основания для того, чтобы отметить высокую активность и профессиональную подготовленность членов советской делегации, работавших в этой подсекции. Не приехали два советских докладчика подсекции I-5: Г. А. Хабургаев и Б. А. Успенский. По сведениям Е. М. Верещагина, западногерманский славист, издатель и участник подсекции Г. Роте официально обратился к Институту русского языка АН СССР с предложением сотрудничества в издании *Служебных мний XI—XII вв.*

В работе старославянской подсекции принимал участие также Ф. Томсон (Бельгия), официально зарегистрированный по секции литературоведения с докладом «Цитаты из сочинений византийских авторов у древнерусских и болгарских писателей — сравнение» (скандальную известность приобрел его тезис об «интеллектуальном молчании» Древней Руси, ср. также материалы киевского МСС).

Подсекция I-3 охватывала довольно широкую и расплывчатую тематику сопоставительно-типологического, а также ареального изучения языков и диалектов. Здесь было заявлено довольно много чисто сопоставительных докладов. Г. А. Цыхун (СССР) прочел доклад по теории ареальной типологии славянских языков; состоялся также ряд докладов по славянской диалектологии. Особо при этом следует отметить мнение наших участников (Н. Н. Пшеничнова) о том, что на съезде в Софии в целом не была представлена русская диалектология; известно, что несколько докладов по русской диалектологии у нас было предложено, но они были отклонены на начальном этапе. Мотивировка отклонения тем докладов на международный съезд славистов — дело ответственное. Обычно одним из веских мотивов «за» или «против» при этом служит наличие (или отсутствие) сравнительного аспекта в докладе. Скажем, мотивом отклонения может быть один диалектный как бы характер содержания доклада, хотя и подобные примеры в окончательную программу X МСС включались, ср. Дреттас (Франция) «Об одном южноболгарском диалекте (Описание и типология)», или другой, тоже французский доклад о «последних следах славянского говора селения Бобошчица-Дреновяне в Албании». Вообще докладов по диалектам других славянских языков было на съезде довольно много. Как момент избыточности можно отметить два доклада по словенским диалектам крохотной Каринтии (Южная Австрия), что лишь разительно подчеркивает отмеченную выше непредставленность русской диалектологической тематики (украинская и белорусская диалектология была представлена специальными докладами). Названную лакуну можно считать недостатком, притом, что русский языковой материал всех прочих уровней присутствовал весьма широко и в ряде случаев профилировал при рассмотрении проблем функциональной грамматики, семантики, падежной системы, глагольного вида, синтаксиса, ударения, текста, причем в докладах славистов разных стран, в том числе Индии и Японии.

Весьма богатый веер проблем отличал обширную подсекцию I-4, ориентированную преимущественно на синхроническое описание языков. Достаточно назвать здесь этнолингвистику, представленную докладом Н. И. и С. М. Толстых, посвященную славянскому ритуальному тексту, социолингвистику — как применительно к литературным языкам (Л. Н. Смирнов), так и к целому направлению, изучающему разговорную речь (доклад Е. А. Земской). Здесь нашли место доклады по лингвистике текста, по морфемике в плане синхронии и диахронии (доклад В. В. Лопатина и И. С. Улуханова).

Спорадично, можно сказать, была представлена тематика славянских литературных языков — как в этой, так и в других подсекциях, при всей своей признанной горячей актуальности в нынешнее время. Обращает на себя внимание прозвучавшее в одном из пленарных докладов (К. Гутшмидт, ГДР) мнение, что литературный язык — это «необязательный» этап языковой эволюции. Скорее всего, в этом выразился сохраняющийся младограмматизм воззрений на природу литературного языка как чего-то искусственного (см. об этом в книге Н. И. Толстого

«История и структура славянских литературных языков». М., 1988. С. 3¹). Правильное социолингвистическое (и этнолингвистическое) понимание генезиса литературного языка (языков) из наддиалекта, обязательно вырабатываемого в процессе междиалектной и внутриэтнической коммуникации, в состоянии существенно корректировать эти построения даже в тех случаях, когда превращение наддиалекта в литературный язык по тем или иным локальным причинам не состоялось.

Вообще некоторые важные аспекты или уровни — сознательно или несознательно — оказались как бы «рассыпанными» по разным лингвистическим подсекциям. Кроме литературных языков и этногенеза, о которых я уже говорил, не были на софийском съезде специально выделены, далее, этимология, словообразование. Внимательно знакомясь с программой, можно, впрочем, найти эти темы практически повсюду, «в рассеянии». Не исключено, что таким образом выразилось переключение исследовательского внимания с «чистых» уровней, если можно так выразиться, на межуровневые зоны и «стыки», что проявилось еще на предыдущих съездах (крайним примером останется, по-видимому, навсегда загребский, VIII съезд славистов 1978 г., в программе которого подчеркнута царил внешний хаос и любые темы соседнили с любыми, что, возможно, с другой стороны, призвано было также обострить склонность исследователей к межуровневым поискам). Пытаясь извлечь из описанного какой-то методологический урок, мы можем расценивать это как отказ от стремлений решать проблемы в «чистом» виде (т. е., скажем, только как словообразовательные, этимологические, морфологические, литературные, этногенетические и т. д., и т. п.), но подходить к ним в совокупности аспектов и уровней. Последнее говорило бы о реалистической, здоровой широте исследования как вполне актуальной реакции против узости, невольно задававшейся ранее диктатом утрированно «строгих» методов.

Как интересный «межуровневый» опыт отметим доклад Е. И. Деминой (СССР) о принципах лингвогеографической интерпретации данных памятников славянской письменности. В принципе давно наличествует (преобладает) также межуровневое, весьма широкое понимание семантики, приближающееся к пониманию языковой функции. Функционально-семантический (в грамматическом смысле) характер носили доклады А. В. Бондарко (СССР) по грамматическим системам современных славянских языков, далее — групповой доклад о категории посессивности и др.

Крайне редки были на съезде, между прочим, темы по чисто генеративной грамматике, как, например, доклад Й. Топоришича (Югославия), хотя в отдельных докладах американской лингвистической школы, как, например, непрозвучавший (но опубликованный) доклад Ф. Глэдни (США) о позднепраславянской тематизации глагола, в достаточной мере представлен и генеративизм, и прочая экзотическая для лингвистической Европы аксиоматика вроде того, что элементарная языковая единица — не слово, а морфема.

Таким образом, X Международный съезд славистов, его лингвистическая секция имели сложную структуру, и последняя, наряду с внешне

¹ Там говорится о преодолении к настоящему времени этих взглядов. Ср., впрочем, новую публикацию Г. А. Хабургаева (*Russian linguistics*, 1987, v. 11, № 2—3, с. 103 и сл.), где вновь в полном объеме сталкиваемся с концепцией письменного литературного языка как результата сознательной творческой деятельности, с его «необязательностью» и даже искусственностью.

четким делением на пять тематических подсекций, сохраняла значительный калейдоскопизм и многослойность. Эта сложность конгресса зеркально отражала сложность современной науки и ее течений и противоборств. Нам предстоит и дальше изучать эту картину. Разумеется, настоящий вынужденно беглый очерк не мог полностью отразить картину советского лингвистического присутствия и участия в минувшем съезде, и она, разумеется, не была бы полной без учета работы тех из наших участников, которые прибыли в Софию «без доклада», но весьма активно следили за ходом заседаний и деятельно участвовали в дискуссиях (К. П. Смолина, Т. С. Коготкова, В. Б. Силина, А. П. Непокупный и др.).

РЕЦЕНЗИИ

Сахокия М. М. Поссесивность, переходность и эргативность. Типологическое сопоставление древнеперсидских, древнеармянских и древнегрузинских конструкций. Тбилиси: Мецниереба, 1985. 244 с.

Цель рецензируемой книги заключается в исследовании проблемы взаимоотношения между понятиями поссесивности и переходности (с. 3). Согласно Сахокия, во всех языках мира обнаруживаются два основных типа синтаксических конструкций, выражающих глагольную переходность, а именно прямые и не прямые (или косвенные). В прямых конструкциях подлежащее стоит либо в номинативном, либо в абсолютном падеже, в то время как в не прямых конструкциях подлежащее выражено каким-либо косвенным падежом или другим формальным средством в функции падежа, таким, как, например, предлог, послелог, энклитика, аффикс либо морфологически выраженный в структуре глагола показатель глагольного актанта (с. 3). Поссесивная конструкция является одним из морфолого-синтаксических вариантов косвенных конструкций. В свою очередь она распадается на различные подтипы поверхностного выражения глубинной структуры предложения (с. 4). Наличие подобных поссесивных конструкций в качестве модели выражения глагольной переходности наблюдается в языках различных типов на различных ступенях их развития (с. 4). Сахокия отмечает, что уже Мейе [1] считал древнеперсидскую конструкцию *manā kartam* сходной с *manā piā Vištāspa* «мой отец — Виштаспа» [2].

С целью объяснить форму логического субъекта в конструкции *manā kartam*, которую она переводит как «мое сделанное», Сахокия пишет (с. 31), что следует исходить из факта его генитивного происхождения, а также из его первоначальной функции как поссесивного определения именного элемента — причастия. Автор устанавливает два типа причастно-глагольных конструкций: (1) генитивная конструкция и (2) дативная конструкция (включая также аккузативные формы) (с. 48—49). Это разделение подтверждается, кроме того, особенностями дистрибуции глагола-связки в сочетании с причастием в формах различных типов. Связка засвидетельствована при дативно-энклитических конструкциях, грамматическая природа которых проявляется в соотношении дативно-непрямого дополнения с глаголом, например, др.-перс. *utū maiy* (датель) *aniyašciy vasyi astiy*, что Кент переводит на английский как «and of me much else was done» [3, с. 132], а Сахокия на русский как «и мне и другое многое есть сделанное». С независимым генитивным логическим субъектом (в генитивной конструкции) связка ни разу не обнаруживается, например, др.-перс. *ima tyā manā kartam pasīva yaθa xsāyaviya abavam* «вот что было сделано мною после того, как я стал царем».

Ядром генитивной конструкции является причастие. Эта конструкция развилась на базе корреляции между именным выражением конкретного действия (причастие) и его определением, которое выражает принадлежность (поссесор в род. падеже). Этот тип конструкции оформлен как бы с точки зрения именного причастия, и даже если мы допустим при нем наличие подразумеваемой, но формально отсутствующей связки, такая связка все же будет чем-то вроде приложения (с. 49). В генитивной конструкции, выражающей именную принадлежность, связка не играет центральной роли. Фундаментальной является здесь корреляция двух имен: *manā kartam* «мое сделанное».

Дативная конструкция строится как бы с точки зрения непрямого подлежащего, которое реализует понятие «обладания» как одну из форм интерпретации переходного действия. Это можно изобразить с помощью традиционной формулы: *est mihi filius > habeo filium // est mihi factus > habeo factum* (с. 49).

Сахокия пишет далее (с. 78), что в древнеперсидских поссесивных синтаксических структурах произошел семантический сдвиг: определение было реинтерпретировано как субъект-поссесор, а глагол, первоначальная функция которого заключается в обозначении существования, приобретает значение «иметь». Параллель обнаруживается в грузинском языке, где такое предложение, как *me t'qavs mankana*, понимается как случай «активной» принадлежности, по-видимому, в большей степени

сходный с англ. *I have a car* букв. «Я имею машину», чем с русск. *У меня есть машина*. Этот сдвиг значения определяется при изучении контекстов употребления, т. е. (а) по предшествующему малому контексту, (б) основному малому контексту и (в) по последующему малому контексту, например:

(а) <i>Kambūḥiya nāma Kūrauṣ</i>	<i>riṣa amāxam taumāyū</i>
Камбиз по имени Кира	сын нашей семьи
<i>hauvat ida xšāya</i>	<i>Ḍiya āha</i>
он здесь царь	был этого Камбиза
<i>brātā Bardiya nāma āha</i>	<i>hamātā</i>
брат Смердис по имени	был той же матери
<i>hamapitā Kambūḥiyahyā</i>	(с) <i>rasāva Kambūḥiya</i>
того же отца с Камбизом	потом Камбиз
<i>avam Bardiya avāḡa</i>	
того Смердиса убил	

Кент [3, с. 119] переводит этот отрывок на английский тремя отдельными предложениями: (а) «Сын Кира, по имени Камбиз, из нашей семьи, он был здесь царем». (б) «У этого Камбиза был брат по имени Смердис, у которого была та же мать и тот же отец, что и у Камбиза» (с) «Потом Камбиз убил того Смердиса». С точки зрения Сахокия, однако, как в (а), так и в (б) *Kambūḥiya* «Камбиз» функционирует в качестве подлежащего. «... генитивные формы основных малых контекстов безусловно читаются как субъекты-обладатели (логические подлежащие) посессивов, передающих содержание активного владения, а не наличия (кого-нибудь при ком-нибудь)» (с. 87).

В краткой рецензии нет возможности даже резюмировать множество интересных выводов автора (с. 141—162), поэтому я коснусь лишь одного из них. Синтаксические конструкции с перфектными причастиями в древнеперсидском и древнеармянском восходят к посессивным синтаксическим конструкциям. Порождающий «механизм этой связи заключается в основном в замене имени существительного... — синтаксически объекта обладания причастием» (с. 145). Сахокия отмечает, что в некоторых случаях имела место контаминация переходного и непереходного причастий, и объясняет эту контаминацию закреплением функции субъекта-генитива и его распространением по аналогии (с. 156). Я полностью согласен с ней в этом и думаю, что в качестве параллели можно указать на употребление эргатива подлежащего при непереходных глаголах в западных диалектах грузинского языка, где конструкции типа *kač-ma movida* «человек (эрг.) пришел» замещают исходные конструкции типа *kač-i* (ном.) *movida* [4].

Следует, однако, задаться вопросом: почему посессор (выраженный в и.-е. языках генитивом) функционирует только в качестве агенса при пассиве от переходных глаголов? Например, в литовском существуют синтаксические конструкции с подлежащим в генитиве при непереходных глаголах, ср. *jō* (ген.) *ėita* (прич. прош. вр. ср. р. на *-t-*) «он ушел» — в точности как и в армянском: *nora* (ген.) *ekeal* (ѐ) тж. [5]. Хотя ранее я предполагал, что такие конструкции, как литов. *jō būta* «он был», отражают ситуацию в индоевропейском [6], сейчас я склонен отвергать эту точку зрения в первую очередь ввиду очевидного отсутствия подобных построений типа **iasya* (ген.) *gatam* «он ушел» или **iasya bhūtam* «он был» не существует. Вопрос о наличии таких конструкций остается, естественно, открытым — я хотел лишь указать, что мне не удалось найти подобных примеров ни в одном из руководств по древнеиндийскому языку.

Хотя я не думаю, что твор. падеж был в индоевропейском первоначальным обозначением агенса, как это полагает Джеймисон [7], из ее материала все же ясно, что по крайней мере в индоиранском в засвидетельствованных текстах при обозначении агенса преобладает твор. падеж. В древнеиндийском дальнейшая замена на творительный, обозначающий агенса, привела к возникновению таких предложений, как *tena* (твор., н е род.) *śayitam* «он лег» и *phalitam vṛkṣaiḥ* (твор.) «деревья плодоносили» [8]. Таким образом, в древнеиндийском при аналогичной замене агенса при *t-*причастиях от непереходных глаголов используется твор., а не род. падеж.

Так как в дальнейшей посессивная конструкция оказывается исходной только для пассивов от переходных глаголов (а не от непереходных, — если оставить в стороне то, что пассивы от переходных этимологически восходят к непереходным конструкциям), важнейшей составляющей предложения оказывается пациент (=подлежащее пассива). Поэтому говоря о таких древнеперсидских предложениях, как *ima tya manā kartam* «это то, что мною сделано», необходимо иметь в виду существительное значение *tya*. Таким образом, выражение *tya...kartam* существовало изначально, и пациент (=подлежащее пассива) не мог быть опущен. Агенса *manā* «мой, мною» является посессором не только

по отношению к причастию, но также и к подлежащему при нем. Думаю, что в действительности превращение *kartam* из простого непереходного причастия в пассивное переходное осуществляется с присоединением генитивного агенса.

Я нахожу эту книгу трудной для понимания, частично вследствие моего довольно слабого знания некоторых из обсуждаемых языков, в частности грузинского (здесь оказались бы весьма полезными подстрочные переводы). С другой стороны, трудность чтения вознаграждается тем, что в ней содержится много новых и интересных идей. Я рекомендую эту книгу всем интересующимся проблемами эргативности, а также тем, кто хочет углубить свои познания в области синтаксиса древнеперсидского, древнеармянского и грузинского языков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Meillet A.* Grammaire du vieux perse. P., 1937. P. 196—197.
2. *Meillet A.* Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes // Alabama linguistic and philological ser. 1964. № 3. Reprint of 1937 ed. P. 356.
3. *Kent R.* Old Persian: grammar, texts, lexicon. 2nd ed. // American orient. ser. 1953. 33.
4. *Boeder W.* Ergative syntax and morphology in language change: The South Caucasian languages // Ergativity. Ed. Plank. F. L.; N. Y., 1979. P. 443.
5. *Weitenberg J. J. S.* Infinitive and participle in Armenian // Annual of Armenian linguistics. V. VII. P. 11.
6. *Schmalstieg W. R.* Lithuanian constructions of the type *jo būta* as a reflection of the Indo-European middle voice // Baltistica. 1986. 22.
7. *Jamison S. W.* The case of the agent in Indo-European // Die Sprache. 1979. V. 25.
8. *Klaiman M. H.* Arguments against a passive origin of the IA ergative // Papers from the 14th regional meeting of the Chicago Linguistic Society. 1978. P. 213.

Шмальstieg У. Р.

Перевел с английского Гестелец Я. Г.

Ulrich M. Thetisch und Kategorisch. Funktionen der Anordnung von Satzkonstituenten am Beispiel des Rumänischen und anderer Sprachen. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1985. 311 S.

Среди многочисленных современных исследований по синтаксису предложения книга М. Ульрих занимает особое место, выделяясь как оригинальной постановкой проблемы, так и богатым фактическим материалом, убедительно подкрепляющим основные выводы автора. Лингвисты, занимающиеся теорией предложения и особенно порядком слов в предложении, с большой для себя пользой прочтут монографию М. Ульрих, в которой доказывается, что в разных языках мира наряду с предложениями, четко демонстрирующими двучленные структуры с ясным противопоставлением темы и ремы, широко представлены высказывания другого типа — с нечленимой информационной структурой. Первые, двусоставные, автор называет тема-рематическими, или же «категориальными», вторые, целостные, противопоставленные первым по признаку трудности или же невозможности их тема-рематического членения, — «тетическими». Это противопоставление и объясняет заглавие книги, посвященной детальному описанию именно тетических предло-

жений в их отличии от обычных, категориально устроенных и разводящих субъект предмысли и его предикат. Основной замысел книги связан, таким образом, с выяснением природы и функций тетических предложений в тексте, а также с установлением тех отношений, которые складываются в предложениях разного типа между отраженными в них структурами информации и порядком следования главных элементов предложения, прежде всего — именного субъекта и глагола-предиката.

Как указывает М. Ульрих, теории предложения и теории его актуального членения создавались преимущественно на материале простейших предложений с обычным порядком слов и с отдельным представлением темы и ремы. В таких предложениях тема помещается перед ремой: сперва должно быть указано то, о чем пойдет речь (с. 25—44). Подобная теория предложения была разработана главным образом представителями Пражского лингвистического кружка, и ее развивали в концепциях функциональ-

ного синтаксиса, связанного с освещением актуального членения предложения и анализом его перспективы. Ученые этого направления полагают, что открывающий предложение компонент представляет его тему, все же остальное может быть отнесено к рематической части высказывания. По этому образцу пытались рассматривать и предложения, построенные по модели «глагол + субъект». В рецензируемой работе автор пытается, однако, доказать, что: 1) далеко не все высказывания в языке обладают двучленной структурой и наряду с ними должны быть признаны структуры монопольные; 2) большинство таких монопольных структур реализуется в разных языках мира с помощью моделей предложения с инвертированным порядком следования субъекта относительно глагола, нередко к тому же принадлежащего к особой группе экзистенциональных глаголов; 3) предложения, противопоставленные друг другу по порядку следования в них главных членов, должны рассматриваться не как варианты одного и того же предложения, а как разные типы предложений, выполняющие в тексте разные функции и вводимые в текст по определенным прагматическим причинам; 4) тегические предложения и их анализ свидетельствуют о том, что тема высказывания может не совпадать с темой дискурса и что их следует дифференцировать.

В силу всего сказанного тегический тип предложения должен быть признан в качестве самостоятельного в типологии языков и получить гораздо более полное описание, чем это было ранее. Рецензируемая работа отнюдь не направлена против теории актуального членения предложения, — здесь предлагается просто ее уточнение и дополнение.

В книге четыре главы. В первой (с. 1—11) излагаются задачи исследования и его теоретические установки. Во второй (с. 12—114) рассматриваются истоки нового подхода к предложению как к единице текста, единице «трансфрагментической». Здесь обосновываются требования различать послыжное членение предложения на разных уровнях — грамматическом в отличие от логического и прагматического, подробно освещается тема-рематическая концепция членения предложения и устанавливаются границы ее применимости. Здесь же формулируются и принципы новой, категориально-тегической концепции предложения, истоки которой автор связывает с исследованиями логики Ф. Брентано и лингвиста А. Марти.

Уже А. Марти настаивал на том, что в анализе предложения надо различать его логический, грамматический и психологический субъект/предикат. Ему же

принадлежит и термин «тегический», используемый им при характеристике целостных высказываний, описывающих некий факт нерасчлененно, как нечто единое. По мнению А. Марти, к тегическим могут быть отнесены: а) предложения экзистенционального типа (русск. *Существуют желтые цветы*; *Представлены такие организмы, которые...*); б) безличные предложения (русск. *Мне холодно*; *Вечереет*; нем. *Es regnet* и т. п.) и, наконец, в) предложения, утверждающие универсальные истины (ср. русск. *Прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками*). В отличие от А. Марти сама Ульрих признает тегическими лишь два первых класса предложений, преподносящих нечто как нерасчлененный факт и отвечающих на вопрос: что происходит? что произошло? В качестве тегических ею признаются рум. *Plouă* «Идет дождь»; нем. *Es kommt ein Schiff* «Идет корабль»; франц. *Il était une fois une reine...* «Жила-была некогда королева...»

На многочисленных примерах из романских языков, а также на материале японского, русского, болгарского, венгерского и ряда других языков автор демонстрирует семантическую специфику тегических предложений и их принципиальные отличия от категориальных.

В третьей главе (с. 115—223), специально посвященной румынскому языку, дается подробная характеристика тегических предложений на фоне категориальных с неизвертированным порядком следования субъекта и предиката. Тегические модели предложения в румынском сопоставляются с французскими, португальскими, итальянскими и т. п. В этой главе рассматривается функционирование тегических предложений в текстах художественной литературы и разнообразие их типов.

В четвертой главе (с. 224—302) подробно описываются случаи инвертированного помещения субъекта после глагола, не связанные с тегическими предложениями, и объясняются их функции. Интересное освещение находят здесь данные о типах именных субъектов и возможностях их замены теми или иными местоимениями, об их роли в предложениях разного типа в тексте, особенно повествовательного характера.

Остается пожалеть о том, что хотя в книге и использованы факты русского языка, богатейшая отечественная литература, посвященная бытийным, одвосоставным предложениям, автору не известна, как, впрочем, остались не учтенными ею и новейшие работы, затрагивающие ту же проблематику (в первую очередь работы Н. Д. Арутюновой, Н. А. Слюсаревой и др. советских лингвистов).

В целом же рецензируемая книга пред-

ставляет значительный интерес своим нетрадиционным подходом к рассмотрению вопроса о роли и функциях порядка слов в предложении и значимости самого фактора инверсии для выделения предложений особого типа. Ее можно рекомендовать не только специалистам по румынскому синтаксису, которые, несомненно, почерпнут из нее ценные сведения о предложениях как единицах текста, но и всем синтаксистам, занимающимся проблемами

актуального членения предложения и проблемами порядка слов в предложении. Она также безусловно полезна для тех, кто работает в области типологии, ибо подкрепляет свои тезисы, М. Ульрих пользуется материалами разных языков, а выводы ее, несомненно, обладают и общетипологической значимостью.

Кубрякова Е. С.

Автоматизация анализа научного текста. Киев: Наукова думка, 1984. 257 с.

Описываемая в рецензируемой монографии система автоматического анализа научно-реферативного текста разрабатывается в рамках создания системы автоматизации редакционно-издательских работ сотрудниками Отдела структурно-математической лингвистики Института языковедения АН УССР. Представленные в ней алгоритмы морфологического и синтаксического анализа могут рассматриваться как первые шаги на пути к разработке единой системы процедур автоматического анализа текста, характеризующихся преемственностью алгоритмов (результаты, получаемые на первых этапах анализа, служат исходными данными для последующих), поэтапным усложнением процедур, общим принципом использования дистрибутивно-статистических характеристик единиц текста, получаемых в результате предварительных исследований его структурных свойств. Описание процедур включает домашний анализ с целью определения формальных признаков, создания лингвистического алгоритма и его машинную (программную) реализацию.

Выбранные в качестве объекта анализа реферативные тексты представляют интерес как особый вид текстов, в которых находит отражение взаимодействие двух лингвистических систем (системы реферирования текста и лингвистической системы собственно реферата), и как разновидность текстов, которые в первую очередь должны подвергаться автоматической обработке, поскольку являются одним из наиболее оперативных средств информирования. Тематическая ограниченность исходных текстов (анализируются рефераты по теме «Программирование и теория математических машин») и стандартизация их формы (выявлению структурных особенностей реферативного текста посвящена монография этого же коллектива [1]) обеспечивают довольно высокий уровень формализации морфологического

и синтаксического анализа реферативных текстов.

Подсистема морфологического анализа (гл. I «Автоматизация МА») представлена в книге алгоритмами определения грамматических классов слов текста, определения словоизменительных характеристик существительного и глагола как основных претендентов на выполнение в тексте функции организующего ядра предложения и алгоритмом определения грамматических подклассов количественных числительных.

Предложенная авторами грамматическая классификация в основном совпадает с традиционным делением слов русского языка на части речи. Отличие обусловлено конкретными задачами создаваемой системы, а также стремлением отразить специфику текстов рефератов на грамматическом уровне (в отдельные классы выделены аббревиатуры, символы, сокращения слов и словосочетаний, а также слова, написанные буквами нерусского алфавита). Определение грамматических классов слов должно осуществляться в два этапа. На первом на основе выведенных в результате предварительного анализа квазифлексий словам присваиваются коды грамматических классов, в том числе и дизъюнктивные (омонимичные), или код ненайденного класса. Здесь используется известная идея Г. Г. Белоногова, в соответствии с которой по концу слова можно определить его грамматические характеристики. В отличие от других работ, опирающихся на эту идею, в данном исследовании грамматические характеристики принято определять по квазифлексии для всех слов текста (словарь основ в системе не предусмотрен). На втором этапе предусматривается анализ слов с дизъюнктивными кодами по их грамматическому окружению. Список квазифлексий снабжается частотными характеристиками распределения их в тексте. Приведены данные о частоте

квасифлексий различной длины. Результаты проверки работы алгоритма свидетельствуют о его достаточной эффективности: нераспознанными¹ остались 8% анализируемых слов. К сожалению, в книге нет данных о количестве случаев приписывания дизъюнктивных кодов. Уменьшение (снижение) процента неопознанных слов возможно за счет уточнения списка квазифлексий в плане уменьшения их длины, что, естественно, вызовет увеличение количества дизъюнктивных кодов и, следовательно, повысит роль (значимость) второго этапа. Как известно из выступлений авторов рецензируемого сборника на конференциях, именно в этом направлении сейчас и осуществляется исследование.

Принцип использования конечных буквосочетаний слов для определения грамматической информации последовательно проводится и в алгоритмах определения словоизменительных подклассов слов в пределах грамматического класса. Причем, как показано в разделе «Автоматическая идентификация глагольных форм», определение последних в реферативных текстах вообще возможно без обращения к грамматическому контексту. Обусловлено это, как показал автор раздела, двумя важными лингвистическими факторами: во-первых, тем, что в грамматической системе глагольных форм конечные аффиксы имеют по сравнению с аффиксами других грамматических классов невысокую степень омонимии, и, во-вторых, реферативный текст отдает предпочтение только некоторым из них, игнорируя, например, почти полностью формы повелительного наклонения и будущего простого, квазифлексии которых омонимичны квазифлексиям широко распространенным в рефератах форм настоящего времени глаголов несовершенного вида.

Для исследования степени стандартизованности функционирования глагольных форм, а также для определения статистических характеристик распределения их с учетом длины реферата, позиции предложений, содержащих эти формы, предлагается алгоритм, описанный в разделе 4: «Автоматический анализ степени расхождений в грамматических значениях глагольных форм в научно-реферативном тексте». Полученные данные важны для раскрытия закономерностей функционирования глагольных форм в зависимости от структуры текста как линейно развертывающегося целостного образования. В разделе «Алгоритмы автоматического определения словоизменительных подклассов существительных» показано, что однозначное определение рода в пределах класса существительных по списку квазифлексий осуществляется

в 99% случаев; словоизменительные же характеристики существительных могут быть определены по квазифлексиям для 57%, а для остальных 43% омонимия падежа (или падежа и числа) должна сниматься по грамматическому контексту.

Использование сочетания контекстного анализа и анализа квазифлексий при определении грамматических характеристик описано в разделе «Определение подклассов количественных числительных».

Исследования, направленные на изучение синтаксических связей различных грамматических классов слов, представлены в гл. II монографии, где дается алгоритм установления предикативного ядра предложения, состоящего из сказуемого и подлежащего; приводятся также алгоритм определения беспредложных глагольно-именных связей, считающихся основными выразителями предикации, и алгоритмы установления связей предложения. Алгоритмам свойствен единый принцип выбора в качестве дифференциальных признаков речевых характеристик функционирования синтаксических связей в текстах данного подязыка, выявленных в результате предварительного дистрибутивно-статистического анализа синтаксической структуры реферата. К этим характеристикам относятся данные о длине зон исследуемых связей, о цепочках классов, стоящих в тексте между участниками связи, о позиции их внутри зоны и по отношению к началу предложения, о комбинационных свойствах грамматических признаков связанных слов. Выделенные признаки снабжаются показателями частоты распространения их в текстах. Показатели используются при составлении алгоритмических правил и для определения их иерархии в алгоритмах. Важны они (как и данные, полученные по алгоритму классификации предложений, представленных в виде цепочек грамматических форм слов) и в теоретическом плане, поскольку раскрывают количественные соотношения языковых и речевых свойств описываемых явлений и могут рассматриваться в качестве стилистически значимых признаков текстов исследуемого подязыка.

Особого внимания заслуживает раздел, посвященный анализу функционирования знаков препинания в научном тексте. Целесообразность разработки алгоритма анализа пунктуационных знаков обусловлена прежде всего практическими нуждами автоматической переработки текстовой информации, поскольку знаки препинания являются опорными точками сегментирования текста и формальными указателями синтаксических связей слов. В этой роли они используются и в представленных в монографии алгоритмах синтаксического анализа. Кроме того,

определение с помощью ЭВМ дистрибутивно-статистических характеристик знаков препинания в тексте (а именно такова цель алгоритма, описываемого в разделе «Анализ функционирования знаков препинания») на больших выборках даст возможность проверить и уточнить установленные стилеразличительные характеристики знаков препинания, выявить новые закономерности их функционирования, что очень важно для раскрытия структурных особенностей построения любого текста. Исходным для работы алгоритма является морфологическая информация. При этом предусматривается поэтапное увеличение ее использования: на первом этапе учитываются только грамматические классы окружения знака, на втором к информации о грамматическом классе присоединяются словоизменительные характеристики. Такое постепенное привлечение грамматической информации интересно с точки зрения исследования зависимости расстановки знаков препинания от определенных грамматических факторов.

Если первые две главы книги отличаются единым подходом поэтапного анализа текста, отказом от больших словарей, стремлением получить максимум информации из самого текста путем анализа графемной структуры слов и дистрибутивно-статистических характеристик элементов текста, то третья глава «Анализ фраз на естественном языке для диалого-

вой ИПС» находится в этом отношении в некоторой изоляции. (Изолированность ее, по-видимому, обусловлена тем, что в ней, в отличие от первой и второй глав, решаются вопросы логико-семантического анализа, требующие другого подхода.) Но она, как и две предыдущие главы, демонстрирует возможность формализации логико-семантического анализа текстов тематически ограниченного подязыка, обладающего большой степенью стандартизации.

Что же касается описания в монографии программной реализации алгоритмов, то все они, к сожалению, отличаются большой степенью разнообразия относительно как самой формы описания, так и использования различных языков программирования. Винаваты в этом, возможно, не авторы книги, а отсутствие ЭВМ в Институте языковедения АН УССР.

В целом монография, безусловно, представляет интерес для исследователей в области лингвистики текста и будет полезна для специалистов по автоматизированной обработке текстовой информации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закономерность структурной организации научно-реферативного текста. Киев, 1983.

Нелюбин Л. Л.

Никитина С. Е. Семантический анализ языка науки. На материале лингвистики. М.: Наука, 1987. 135 с.

Рецензируемая работа необычна во многих отношениях. С одной стороны, ее проблематика выходит далеко за рамки собственно языкознания и затрагивает целый ряд логико-философских проблем: соотношение теоретического и эмпирического, наблюдаемого и ненаблюдаемого в науке, отражение этих соотношений в семантике научного языка и т. п.; с другой стороны, материалом исследования служит лексика самой науки о языке, т. е. «святая святых» лингвистики. С одной стороны, в ней разбираются дискуссионные вопросы такой степени общности, которая, как правило, не предполагает немедленных конструктивных выходов и практических приложений; с другой стороны, автор, разрушая сложившиеся здесь стереотипы, представляет сугубо конкретные результаты предлагаемых решений (набор актуальных для лингвистической терминологии «сквозных» се-

мантических отношений, образцы формализованных тезаурусных описаний и т. п.). Наконец, научный характер повествования, с одной стороны, сочетается со свободной и с индивидуальной формой изложения, с другой.

Такой характер исследования в какой-то мере определяется не вполне привычным ракурсом изучения многих традиционных вопросов. Так, во введении перечисляются три основных исследуемых объекта: язык науки как общенаучное и лингвистическое понятие, тезаурус как лингвистический инструмент описания этого понятия и язык лингвистики как материал изучения. Выбор языка лингвистики в качестве материала анализа обусловлен бурным развитием этой науки, многообразием новых понятий, широким использованием лингвистических терминов в других науках, возможностью переноса методов семантического

исследования языка лингвистики на язык науки в целом. Обращаясь к литературе по методологии науки, автор убедительно показывает, что анализ языка науки представляет собой одну из центральных научных проблем нашего столетия, которой занимается и гносеология, и философия науки, и кибернетика, и лингвистика, причем каждая из этих наук вычленяет в этой проблеме собственные аспекты. С. Е. Никитина устанавливает несколько значений самого словосочетания «язык науки», соответствующих в известной степени разным научным парадигмам. Сам автор так характеризует направление собственного исследования: «Направление, в русле которого написана книга, можно назвать лингвистикой науки по аналогии с такими названиями, как „философия науки“, „логика науки“» (с. 7). Нет сомнения, что такой аспект является весьма актуальным и перспективным.

В работе две части. Первая часть состоит из трех глав и посвящена понятию «язык науки» и различным способам его описания. Во второй части, содержащей две главы, теоретические положения, сформулированные в первой части, преломляются через тезаурусное описание языка лингвистики.

Рассматривая «язык науки» как термин философии и лингвистики, С. Е. Никитина показывает, что первичный объект исследования у философов-логиков и у лингвистов один: это научные тексты, т. е. выраженное в знаках объективированное научное знание. Однако операции, производимые над научными текстами лингвистами и нелингвистами, различны. Так, в философии осуществляется философский анализ знания, объективированного научным языком, в связи с чем язык науки часто приравнивается к системе специальных научных знаний, иначе говоря, к самой науке и, в частности, к ее теории и логике. Системность научного знания заставляет признать, что анализ языка обеспечивает структурный анализ знания. В этой связи в языке науки выделяются категорийно-понятийный аппарат, терминосистема, средства и правила формирования того и другого. Второе, более узкое понимание языка науки характерно для логики, где язык науки моделируется в виде набора некоторых формальных знаковых систем с правилами интерпретации. Здесь, таким образом, ставится цель не изучения структуры знания в общем плане, а цель изучения различных типов терминов и утверждений, посредством которых это знание объективируется, с особым вниманием к процедурам выводимости одних утверждений из других. Нередко в подобных случаях различают три языковых слоя: язык данных (язык наблюдений), язык,

на котором формируются гипотезы, и метаязык, выполняющий функцию аргументации. Термины таких языков делятся на базисные и производные, а их синтаксис включает правила построения высказываний и правила вывода.

Анализируя общеполитическое и логическое понимание языка науки, автор излагает историю решения проблемы теоретического и эмпирического в науке (от логических позитивистов до постпозитивистов типа К. Поппера и П. Фейерабенда). Проблема эта, не теряющая своей актуальности сама по себе, чрезвычайно важна и для решения вопроса о соизмеримости / несоизмеримости научных теорий (соответственно, переводимости / непереводимости научных терминов), ибо, по утверждению ряда авторов, частичная соизмеримость научных теорий достигается за счет общего эмпирического базиса науки. Представив обзор точек зрения по этому вопросу, автор развивает взгляд на необходимость разделения соотношений эмпирическое / теоретическое и наблюдаемое / ненаблюдаемое. Признание этого положения позволяет показать, что теория стоит в опосредованной связи с внешним миром и предполагает иной уровень реальности; иначе говоря, «в ряде случаев системы описывают не столько объективную реальность, а скорее средства ее концептуального освоения», а «соответствие между теоретическими моделями и изучаемой материальной системой не является поэлементным — здесь мы имеем дело с глобальным отображением одной системы в другую» [1, с. 31, 74—75]. Отсюда могут быть сделаны принципиальные выводы об учете роли теории при анализе отдельных терминов и целых терминосистем, о возможности существования параллельных научных описаний и, следовательно, ряда языков науки, используемых при описании одной и той же объективной реальности. Такой учет заставляет признать, что многие методологические проблемы науки ставятся достаточно специфично на материале языкознания. Так, согласно С. Е. Никитиной, «все лингвистические термины теоретически нагружены», а «разграничение эмпирического и теоретического уровня и соответственно эмпирического и теоретического языка в настоящее время едва ли целесообразно» (с. 22). Сохраняя, однако, противопоставление наблюдаемого / ненаблюдаемого, автор проводит анализ трех типов «ненаблюдаемости» в лингвистике — языковых инвариантов, значений и лингвистических нулей. Эта часть работы чрезвычайно важна для методологии лингвистики, ибо представляет собой одну из редких попыток осмысления науковедческих проблем на материале языкознания.

Наряду с философским и логическим пониманием языка науки имеют место две лингвистические интерпретации этого термина. Первая, более широкая, приравнивает язык науки к языку научных текстов, что позволяет анализировать все знаковые уровни языка — лексику, морфологию, синтаксис, а иногда и фонетику. Такой подход реализуется в большинстве как советских, так и зарубежных лингвистических работ. В книге показывается развитие представлений о языке науки в русле такого подхода — от оценки языка науки как функционального стиля до понимания его как особой части языков для специальных целей (*languages for special purposes, LSP*). Можно полагать, что включение языков науки в число языков для специальных целей позволило бы четко определить весь комплекс признаков языка науки, сблизить логико-философские и лингвистические подходы к нему, дать надежные рекомендации по его совершенствованию [2]. Вторая, более узкая интерпретация понятия «язык науки» связана с его истолкованием как знаковой системы, состоящей из специального словаря и специального синтаксиса. Именно при таком понимании удается достаточно полно описать термины как ядро лексической системы языка науки. С. Е. Никитина разделяет распространенное мнение о том, что термин — знак специальной семиотической системы, обладающий номинативно-дефинитивной функцией (с. 28). Термин, таким образом, оказывается именем дефиниции (точнее: именем для того содержания, которое выражено определяющим дефиниенс, *Dfn*), сознательно созданным именем сгустка смысла (ср. [3]). В то же время следует считаться с тем, что в области гуманитарных наук термины часто не имеют точных дефиниций. Поэтому более общая характеристика термина связывает значение термина с его «местом» в теории, причем это место задается и дефиницией, и всем системным контекстом данного термина в теории.

Вторая глава посвящена анализу взаимоотношений между логико-философским и лингвистическим описанием языка науки. Этот анализ закономерно начинается с вопроса о том, соизмеримы ли логические и лингвистические описания. Используя результаты и лингвистических, и логических исследований, автор намекает перспективу сближения логического и лингвистического описания языка науки — особенно в теории референции. Специальное внимание уделено, в частности, такой интердисциплинарной проблеме, как метафора. Показав, что метафора представляет собой разновидность аналогии, С. Е. Никитина опровергает распространенное мнение о нехарактерности метафоры

для развитого языка науки и демонстрирует на примере ряда лингвистических терминов (*гнездо, поле* и др.) плодотворность метафорического образования лексических единиц языка науки. При этом обнаруживается, что эти единицы включают не только субстантивную терминологию, но и несубстантивные и нетерминологические словоформы, например, *падают (редуцированные падают), богатая (синонимия богатая)* и др. Переход терминов из одной научной сферы в другую сопряжен не с тождеством, а с аналогией, иногда принимающей лишь личину тождества. Метафора, согласно автору, является «не только поверхностным приемом пояснения, но и действенным средством прояснения структуры и поведения научных объектов» (с. 43).

Завершается вторая глава изложением подхода к терминологии как области скрещения логико-философского и лингвистического описаний. Действительно, семантическая структура терминологии и термин, рассматриваемый как элемент языка науки, являются объектами совместного изучения философами, логиками, лингвистами, специалистами-предметниками. Даже если не соглашаться с мнением Л. Дрозда и В. Зайбике о том, что предметом терминологической теории является «язык в специальной функции» [4], ясно, что при решении проблемы термина неизбежно возникают многочисленные вопросы изучения языков науки (и шире — языков для специальных целей). Здесь и вопросы соотношения «термин — значение термина — понятие, стоящее за термином», и вопросы далекого изоморфного соответствия «терминосистема — система понятий данной терминологии», и мн. др. В этом плане интересны соображения автора об интерпретации семантического треугольника Г. Фреге в рамках языка науки: С. Е. Никитина преобразует его в пятиугольник, включая в сферу рассмотрения дефиницию и внутреннюю форму термина. В таком контексте развиваются положения об интертеоретических отношениях как отношениях сравнимости и переводимости языков науки (внутри одной предметной области), о квазисинонимии терминов, относящихся к разным теориям, но описывающих одну предметную область (ср. терминологические ряды *функциональная перспектива предложения, актуальное членение высказывания и topic/comment-структура*).

Таким образом, в двух первых главах книги мы имеем оригинальное многоаспектное рассмотрение содержательной структуры языка науки с его способностью теоретического осмысления соответствующего участка объективной действительности, с его специфической лек-

сикой и требующим специальных процедур построения семантическим синтаксисом. Серьезным итогом этой части работы, с нашей точки зрения, является, во-первых, демонстрация глубоких аналогий между логико-философским и собственно лингвистическим анализом языка науки (ср. соотношения соизмеримость/несоизмеримость теорий и переводимость/непереводимость, эмпирическое/теоретическое и базисные понятия/производные понятия и т. п.), а во-вторых, привлечение понятий и терминов науки о языке к логико-философскому осмыслению науки (ср.: звучащая или письменная речь как единственная эмпирическая реальность; лингвистические инварианты, значения и нули как конструкты языкознания и т. п.).

В третьей главе рассматривается тезаурусная форма описания и представления языка науки. Возможности тезауруса как «словаря с концептуальным входом и фиксированными семантическими связями между его единицами» (с. 52) очень велики. Тезаурус может быть информирован не только как инструмент информационного поиска, но и как способ представления научного знания и средство некоторого семантического контроля в области науки. В этом смысле тезаурус является моделью логико-семантической структуры терминологии, а через нее — и моделью структуры соответствующей науки. Показательно, что тезаурус может представлять и категориальную, и иерархическую классификацию своих знаковых единиц. По мере введения в тезаурус актуальных для данной терминологии дифференцированных семантических отношений тезаурусная статья термина, как отмечает автор, все более приближается к дефиниции, представляя ее в препарированном виде, как бы обнажая и формализуя ее структуру (отметим, что автор включает в тезаурус те же термины, которые обычно попадают в толковые терминологические словари). Тем самым с помощью тезауруса выявляется связь между классификацией и дефиницией. В случае существования нескольких дефиниций одного и того же термина соответствующая тезаурусная статья может представлять несколько «препарированных дефиниций». Это позволяет определить отмеченное выше «понятийное место» термина в различных теориях. Таким образом, тезаурус представляет собой конструктивное лингвистическое средство экспликации соизмеримости научных теорий (это качество тезауруса в другом месте работы прекрасно иллюстрируется тезаурусной статьей термина «подлежащее», составленной на основании анализа определений этого термина в 19 словарях лингвистических терми-

нов). В равной мере тезаурус дает возможность увидеть взаимосвязи между базисным и производными от него терминами (ср. также [5]). В целом тезаурус является, как показывает автор, устройством, репрезентирующим системность терминологии; с его помощью можно увязать эту системность с системностью знания, показать способы выражения этого знания. Как мы видим, переход от рассмотрения семантической стороны языка науки к способам ее фиксации осуществляется в книге именно с помощью понятия тезауруса. Такой переход представляется тем более обоснованным, что «тезаурус с развитой системой семантических связей в большой степени вбирает в себя грамматику» (с. 60), что позволяет говорить о нем не только как о модели словаря, но и как о модели языка в целом. Эти положения автора реализованы на примере тезаурусного описания различных пониманий термина *язык науки*, которые были разобраны автором выше.

Во второй части книги высказанные теоретические положения рассматриваются и реализуются применительно к лингвистической терминологии и шире — к языку лингвистики как одному из языков науки. Структура этой части работы следующая. Сначала выявляются и описываются те семантические отношения, которые пронизывают содержательную сторону языка лингвистической науки и которые кладутся в основу тезаурусных связей, после чего дается фрагмент соответствующего тезауруса (гл. 4; напомним, что из практической работы над тезаурусом по лингвистике [6] и выросла рецензируемая книга). Затем демонстрируются возможности такого тезауруса (гл. 5). Ограниченные рамками рецензии, мы не можем подробно рассмотреть целый ряд тонких наблюдений автора над семантической структурой языка лингвистики. Поэтому ниже лишь вкратце перечисляются те проблемы, которые затрагивает автор в ходе построения тезауруса по лингвистике. Так, принципиальным для создания тезауруса является следующий вопрос: что выбирается в качестве моделируемого с помощью тезауруса объекта — язык одной определенной теории или язык лингвистики в целом? Сделав выбор в пользу языка науки в целом, автор принимает и важные следствия этого выбора: во-первых, ориентацию на включение в качестве единиц тезауруса основной, традиционной лексики науки о языке (*слово, предложение, суффикс, падеж* и др.) и, во-вторых, отражение в тезаурусе не индивидуального понимания терминов, а «некоей усредненной точки зрения» (с. 92). Предложенные автором семантические отношения тезауру-

са по лингвистике в рецензируемой работе даются в виде соответствующих групп: сфера абстрактного — конкретного (отношения «род — вид», «инвариант — вариант», «признак — значение признака»), сфера принадлежности (отношения «целое — часть», «объект — его свойство / признак», «объект — носитель свойства», «уровень — единица уровня» и др.), сфера формы и содержания («основная функция / значение — способ выражения», «языковой объект — способ его представления»), сфера процессуальности («операция — начальный объект операции», «операция — конечный объект / результат», «операция — инструмент / способ / метод» и т. п.), сфера тождества и противопоставления (включая контрарные и контрадикторные отношения). При описании этих отношений, составляющих основу тезаурусных связей между единицами языка лингвистики, автор делится весьма интересными и ценными наблюдениями над терминами и их смысловым содержанием в лингвистике, над способами стандартного выражения в языковедческих текстах выделенных смысловых отношений; высказываются оригинальные соображения о вариативности терминов по содержанию, о случаях оправданной синонимии терминов, о когнитивной функции языка науки. При этом особенно впечатляет цельность семантической картины лингвистической терминологии, которую автору удается воссоздать как непосредственно на языковом материале, охватывающем морфологию, синтаксис, семантику, так и на основании различных высказываний о лингвистической терминологии, разбросанных в литературе. Собственно тезаурус представлен фрагментом, содержащим тезаурусное описание 32 терминов по лексикографии (*вокабула, глоссарий, дефиниция словарная, заголовочное слово, иллюстративный материал, лексикография, словарное определение, отсылки, помета* и др.).

Описывая в последней, пятой главе возможности построенного тезауруса, автор сопоставляет тезаурус со словарями лингвистических терминов и отмечает его недостатки и достоинства. Этот небольшой раздел монографии богат интересными замечаниями о соотношении «тезаурусное описание семантики термина — определение термина». Так, говоря о термине *личное имя*, С. Е. Никитина подчеркивает его «внеприводимость» на язык тезаурусных связей и выдвигает следующую гипотезу: «чем более термин связан по своей семантике со внеязыковой реальностью, тем менее возможно формализовать его определение» (с. 112). (Заметим, кстати, что здесь возникает интригующий и лежащий в русле иссле-

дований автора вопрос о том, не является ли показатель «связи со внеязыковой реальностью» мерой эмпиричности лингвистического термина в дихотомии «эмпирическое — теоретическое»?) Заслуживает внимания также предложение разделять словарное семантическое описание термина на две части — на свободное и краткое по форме толкование и на системное определение (собственно определение) термина с дальнейшей записью последнего в виде тезаурусного описания. Другая часть этой главы демонстрирует возможности предложенного тезауруса при решении следующих задач: 1) многоаспектная классификация терминологии по различным семантическим критериям, 2) словное сопоставление одних и тех же (по форме, но не по содержанию) терминов различных теорий, 3) получение содержательных справок в автоматическом и автоматизированном режиме, 4) выявление и экспликация «семантической синтагматики» данной предметной области. По существу речь идет об обосновании огромной практической значимости всей проделанной работы, — обосновании, которое нам представляется вполне убедительным. Важно, однако, не только то, что некоторые достаточно ясно очерченные в прикладной лингвистике задачи получают аргументированное решение на новом и до сих пор считающемся трудным языковом материале (ср. задачи 1 и 3), но и то, что некоторые задачи, по сути дела, впервые поставлены (ср. задачи 2 и 4). Таким образом, итогом второй части работы являются два момента: во-первых, «предъявление» фрагмента тезауруса, охватывающего лексикографическую терминологию, и, во-вторых, демонстрация чрезвычайно широких его практических возможностей.

Работа С. Е. Никитиной носит во многом пионерский характер: в ней представлен новый взгляд на общий объект различных дисциплин и областей знания — язык науки. В этом качестве монография вряд ли могла бы быть полностью свободной от некоторых спорных точек зрения (соотношение дефиниции и тезаурусного описания, место в тезаурусе чисто лингвистической информации, например, о моделях управления и т. п.). Основная заслуга книги в другом — в сочетании конструктивных результатов исследования с постановкой новых вопросов там, где, казалось, им нет места. Характерно, что написанная прекрасным языком книга завершается предполагаемым диалогом оппонента и защитника основного содержания работы. Выпущенный в традициях научных трактатов эпохи Возрождения, диалог этот свидетельствует о том, что автор смотрит не

столько в прошлое, сколько в будущее, и даже оппонент автора констатирует: «Похоже, что работа такого типа должна быть темой, переходящей в 3-е тысячелетие...».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Целищев В. В., Карпович В. Н., Поляков И. В. Логика и язык научной теории. Новосибирск, 1982.
2. Лейчик В. М. Языки для специальных целей — функциональные разновидности современных развитых национальных языков // Общие и част-

ные проблемы функциональных стилей. М., 1985.

3. Шелов С. Д. О языковой природе термина // НТИ. Сер. 2. 1982. № 9.
4. Drozd L., Seibicke W. Deutsche Fach- und Wissenschaftssprache. Bestandaufnahme — Theorie — Geschichte. Wiesbaden, 1973.
5. Шелов С. Д. Об одном подходе к информационному тезаурусу // НТИ. Сер. 2. 1982. № 7.
6. Никитина С. Е. Тезаурус по теоретической и прикладной лингвистике (Автоматическая обработка текста). М., 1978.

Лейчик В. М., Шелов С. Д.

Кузнецова А. И., Ефремова Т. Ф. Словарь морфем русского языка. М.: Русский язык, 1986. 1134 с.

В отечественном языкознании произошло большое и давно ожидавшееся специалистами событие: вышел в свет «Словарь морфем русского языка» А. И. Кузнецовой и Т. Ф. Ефремовой. Событие это приобретает особую значимость ввиду того обстоятельства, что в 1985 г. в распоряжении специалистов оказался «Словообразовательный словарь русского языка» А. Н. Тихонова. В совокупности эти издания содержат уникальный материал, который составляют словообразовательные и собственно морфемные структуры, выделяемые в русском слове.

«Словарь морфем русского языка» (СМ) содержит описание дистрибуции 5000 морфем (точнее — алломорфов корней, префиксов и суффиксов), выделяемых в приблизительно 52 000 слов русского языка. СМ включает в себя достаточно пространное теоретическое введение (Принципы морфемного анализа и построение словаря морфем), краткое руководство Как пользоваться словарем, собственно словарную часть, состоящую из Корневой, Префиксальной и Суффиксальной частей, Указатель (слов) и Приложения, обобщающие данные СМ по ряду важных для структуры русского слова параметров. В Корневой части СМ алломорфы корней расположены в алфавитном порядке и снабжены отсылками к семантически родственным алломорфам, образующим в совокупности корневые морфемы. С помощью цифр ограничены омонимичные алломорфы корней. Каждая словарная статья Корневой части под заглавным алломорфом содержит расчлененные на морфемы однокоренные слова, упорядоченные по их структурным особенностям (наличию/отсут-

ствию приставки, суффикса и под.). Если корневые алломорфы в СМ отождествляются в пределах корневых морфем (морфемное тождество алломорфов фиксируется с помощью перекрестных отсылок), то в Префиксальной и Суффиксальной частях алломорфы приставок и суффиксов в аспекте своего морфемного тождества/различия не соотносятся. Правда, в Суффиксальной части случаи наиболее очевидной суффиксальной омонимии в заглавиях суффиксальных статей учтены: например, -у- в *рисующий*, *председательствующий* и -у- в *снизу*, *сверху* помещены в СМ в разные словарные статьи. Под каждым заглавным аффиксальным алломорфом (префиксальным или суффиксальным) приводится перечень всех аффиксальных окружений, в которых встречается данный аффикс, а рядом перечисляются все корни, употребляющиеся с соответствующими окружениями: пример записи слова в словарной статье Префиксальной части под алломорфом О-О-У-ел-е-ть-тяж; в Суффиксальной под алломорфом 1Е-о-У-ел-Е-ть-тяж¹. Указатель СМ составляют списки слов, помещенных в словаре, с отсылками на корни, с помощью которых можно найти искомое слово в Корневой части словаря. Наконец, в Приложениях содержатся сводные дан-

¹ Следует отметить, что СМ — первый в нашей отечественной лингвистической традиции словарь, если не считать довольно краткого словаря Г. П. Цыганенко [1] и словаря-справочника З. А. Потихи [2], где в качестве заголовка словарной статьи выступают аффиксальные элементы.

ные о составе в СМ корней, префиксальных и суффиксальных алломорфов, отдельно описаны наиболее продуктивные корни, наиболее активные аффиксальные алломорфы, наиболее важные в системном отношении модели русских слов и морфемные блоки.

Уже из краткого описания структуры словаря явствует, что СМ представляет собой явление в нашей лингвистической традиции новое и во многом неожиданное. Это обуславливается как объективными лингвистическими обстоятельствами, так и особенностями занятой авторами позиции.

К объективным предпосылкам, определившим новаторский и непривычный характер СМ, прежде всего относится определенная неразработанность методики морфемного анализа по сравнению с методикой анализа словообразовательного². Это обусловило необходимость пространного введения в СМ, которое *значительно отличается от привычных вводных частей в словарях и в какой-то степени приобретает характер монографического исследования*. В этом разделе СМ, написанном А. И. Кузнецовой, с той или иной степенью подробности затронуты практически все теоретические проблемы, решение которых необходимо для формирования законченной теории собственно морфемного членения. Представляется целесообразным и оправданным, что при рассмотрении вопросов о целях, задачах и предмете морфемного анализа, о семантических проблемах применительно к морфемным единицам (отдельно рассматриваются проблемы омонимии морфем), о возможности эквивалентных решений при морфемном членении и, наконец, о соотношении синхронии и диахронии в собственно морфемном анализе А. И. Кузнецова как бы отталкивается от уже в достаточной степени оформившейся и привычной методики словообразовательного членения. Общий вывод о том, что «морфемный анализ мало зависит от словообразовательного...» (с. 8), естественно согласуется с целым рядом более частных, но принципиально важных для морфемного анализа теоретических установок: о естественности полной десемантизации морфов внутри словоформы (с. 4—5), о равноправности значимых морфов и «незначимых» субморфов в составе собственно морфемных структур (с. 5—6), о том, что «...семантический критерий, весьма существенный при словообразовательном анализе, отступает на второй план при морфемном анализе, в котором формальный критерий определения строения слов стоит на первом месте» (с. 6). А. И. Кузнецова

последовательно отстаивает преимущественное значение формальных критериев при осуществлении морфемного анализа: даже при разведении омонимичных алломорфов целесообразно исходить из формального, а не семантического критерия (учитывать чередования, в которые вступают/не вступают сопоставляемые алломорфы, происхождение морфов, их соотношенность с той или иной частью речи) (с. 6). К важным следствиям в практике членения может привести положение о том, что следы прошлых языковых состояний «имеют право быть отраженными в словаре морфем наряду с продуктивными элементами настоящей эпохи» (с. 7). Убедительно противопоставив морфемный и словообразовательный типы анализа, А. И. Кузнецова обращается к более подробному изложению особенностей методики собственно морфемного анализа, уделяя особое внимание проблеме вычленения разного типа морфемных единиц. И в этом разделе автор обосновывает тезис о том, что в основу морфемного анализа «...должен быть положен прежде всего чисто формальный критерий, при котором фактор значения используется только эвристически, как источник догадок, или с целью уточнения» (с. 10). Отсюда преимущественная ориентация авторов словаря на «чувство морфологической формы слова» (типичные аффиксальные окружения, системно значимые модели слов, допускающие заполнение их определенными корнями), на общее представление о морфемном инвентаре языка (набор корневых и аффиксальных морфов, выделенных на основе бесспорных и регулярных случаев реализации морфемных структур), на членение «по аналогии с существующими в языке образцами» (с. 8—12). В результате во введении к СМ обосновывается морфемное членение, базирующееся на методе сопоставления, предполагающего корректировку результатов членения наличием в языке структурно тождественных слов и противопоставляющегося методу непосредственно составляющих, который абсолютно преобладает при словообразовательном анализе.

Подводя итог краткому рассмотрению затронутых во введении к СМ проблем теории морфемного анализа, можно утверждать, что в совокупности с опубликованными ранее работами А. И. Кузнецовой рецензируемый словарь представляет в распоряжение исследователей, пожалуй, наиболее цельную и содержательную на настоящее время концепцию собственно морфемного анализа в его соотношении с другими разновидностями анализа внутренней структуры русского слова. В то же время достаточно очевидно (и это объясняется объективным со-

² Подробнее см. об этом в [3].

стоянием наших представлений о собственно морфемных структурах), что в теоретической части СМ представлен только этап осознания еще окончательно не сложившейся теории собственно морфемного анализа. Не говоря уже о самых сложных в морфемном анализе процедурах отождествления морфов, недостаточно ясно, на каком основании противопоставляют авторы синхронный, исторический и этимологический типы членения (с. 8). Более того, создается впечатление, что, определяя историческое членение как «... восстановление такого строения основ, которое было в слове до утраты (иногда сравнительно недавней) производящей основы...» (с. 8), авторы СМ ориентируются на выявление не собственно морфемных, а словообразовательных структур и неправомерно подменяют анализ морфемный анализом словообразовательным. Представляется также, что авторы СМ, провозгласив аналогическое членение в качестве основополагающего принципа морфемного анализа, проявляют известную непоследовательность, тут же заявляя, что «...членение слов по аналогии допустимо производить только в таких ситуациях, когда результаты этого членения не вступают в противоречие с этимологией...» (с. 11)³. Если считать, что собственно морфемные структуры, объединяющие конечные составляющие русского слова, являются следствием максимально полного аналогического «измерения» словоформы, то вряд ли можно согласиться с выделением в слове *косточка* суф. *-очк-* [при наличии в современном русском языке структурно тождественного слова *кор-очк-а* и широко распространенной среди существительных модели *У-к(а)*] только на том основании, что в современном словаре отсутствует слово *костька*. Несмотря на отсутствие в современном словаре узусе слов *костка*, *гробный*, *гонити*, *гимнастер*, они существуют для современного русского языка в общеграмматическом измерении, вписываясь в регулярные, системно значимые морфемные модели и делая возможным вычленение в составе слов *косточка*, *гробница*, *гонитель*, *гимнастерка* соответственно суф. *-очк-*, *-н-*, *-и-*, *-к-*⁴. Думается, что на собственно морфемном уровне, при учете

³ Остается не вполне понятным, совместимы ли с предлагаемым тезисом членения заимствованных слов типа *пальт-о-в* (с. 238), *зонт-ик-в* (с. 132).

⁴ Представляется, что авторы СМ проявляют непоследовательность, когда выделяют в существительном *гробница* суф. *-н-* (с. 91), но оставляют неучтенным производный суф. *-очк-* в существительном *косточка* (с. 165).

фактора аналогии в самом широком смысле заимствованные слова типа *банка* «скамейка на гребных судах», *балка* «брус, бревно», грамматически переосмысленные на русской почве, вопреки мнению авторов СМ (с. 26—27), выделяют в своем составе суф. *-н-*. Если рассматривать морфемную структуру как результат максимально последовательной сегментации словоформ, а не как отражение деривационной истории слова (предмет исторического словообразовательного анализа), то трудно будет согласиться с предлагаемыми в СМ членениями типа *брус-ник-а* (ср. состав слова на уровне конечных составляющих, выявляемых средствами аналогического членения: *брус-н-ик-а*), *буженин-а* (*бужен-ин-а*), *бабенк-а* (*баб-ен-к-а*) (с. 24, 43, 44). В итоге складывается впечатление, что на практике авторы СМ недостаточно четко разграничивают собственно морфемный состав слов и последовательность формо- и словообразовательных формантов, отражающих деривационную историю словоформы. Непоследовательность в разграничении собственно морфемных единиц (конечных составляющих слова) и словообразовательных формантов, допускающих дальнейшее членение на уровне общесистемной аналогии, приводит к включению в состав аффиксальных морфем производных суффиксов типа *-овищн-*, *-овищц-*, *-овк-*, *евик-*, *-ительн-*, *-ничеств-*, *-ническ-*, *-ятник-* и под., обладающих функциональным и структурным единством только в качестве единиц, обслуживающих деривационные процессы, в составе функциональных словообразовательных структур.

Вторым объективным обстоятельством, во многом определившим характер СМ, явилось отсутствие не только законченной теории морфемного анализа, но и сколь-нибудь представительных и достоверных сведений о собственно языковом материале — совокупности данных о конечных составляющих русского слова. Это обстоятельство приобретает особенное значение в силу того, что принимаемая авторами концепция морфемного анализа в значительной степени строится на учете общесистемных закономерностей в области морфемных структур, на формальном критерии строения русского слова. Отсутствие достоверных данных о собственно морфемных структурах обусловило желание авторов СМ представить в словаре объемный и значительный материал⁵. Го-

⁵ По объему представленного материала СМ значительно превышает все существующие морфемно-словообразовательные словари и справочники (с. 12—15) и уступает только словарю Д. Уорта и др. [4], включающему около 110 000 слов. Зна-

вора об этом, нельзя не отметить несомненную заслугу авторов, проделавших грандиозную работу по обработке столь обширного материала, особенно при учете не оформленной еще в достаточной степени теории морфемного анализа.

Говоря об особенностях представления в СМ конкретного языкового материала, следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Особенности словника СМ можно разделить на две группы. Безусловно оправданным представляется исключение из словника СМ сложных слов (в плане своей внутренней структуры они обнаруживают ярко выраженную специфику), части интернациональной лексики и варваризмов (как в минимальной степени адаптированных грамматической системой), деэпричастий, сравнительных и превосходных степеней прилагательных, части образований с *не-* (как достаточно регулярных и поэтому выводимых форм), ряда специфически местоименных слов, которые обнаруживают в своем составе скорее партикулярные, чем собственно морфемные структуры⁶. В то же время

чительную часть словника последнего составляют интернационализмы и варваризмы, которые не включались в СМ (с. 16). «Русский деривационный словарь» неоднократно подвергался критике, и не всегда справедливой, в отечественных лингвистических изданиях (обзор и анализ критических публикаций по поводу словаря Д. Уорта см. в [5]). В предисловии к словарю автор акцентировал внимание на том, что в настоящем виде «Русский деривационный словарь» представляет собой не столько законченный результат, сколько промежуточный этап в описании материала, предназначенный служить базой для последующих лингвистических исследований. Если сопоставить словарь Д. Уорта со СМ, то следует отметить, что в СМ, несомненно, сделан новый (и значительный) шаг в сторону большей адекватности, лингвистической последовательности, исторической убедительности и доказательности представленных членений. Членение в СМ менее дробное и в целом более традиционное, свободное от достаточно частых в словаре Д. Уорта ошибок. В то же время «Русский деривационный словарь», являясь на 80% результатом автоматического морфологического анализа, заключает в себе уникальнейший материал для изучения структуры основы русского слова на уровне действительно «конечных» составляющих (часто допустимых только с формально-логической точки зрения).

⁶ О партикулярных структурах, характерных для местоимений и частиц, см. в [6].

представляется менее оправданным включение в СМ с целью прояснения структуры того или иного слова (с. 16) диалектных слов типа *гогулечка*, *одменье*, *котама* (с. 83, 106, 165). Привлечение этих слов для обоснования членений типа *котом-к-а*, *на-дм-енн-ый*, *загогул-ин-а* необходимо только с позиций традиционного анализа состава слова, неотчетливо разграничивающего разные методики словообразовательного и собственно морфемного типов анализа. Последовательное применение метода аналогического членения, некоторое усложнение теоретического аппарата морфемного анализа дает возможность осуществить членение слова, ориентируясь на структурно-тождественные слова современного литературного языка. Трудно объяснить сколько-нибудь существенными соображениями достаточно широкую представленность в СМ причастий (тем более, что причастные суффиксы в числе аффиксальных морфем СМ отсутствуют). Вероятно, это следствие того, что в основу словника СМ был положен словник орфографического словаря (с. 15—16). В то же время исключение из состава словника дефисных написаний привело к отсутствию в СМ ряда регулярных наречных морфемных моделей (*по...ому*, *по...ему*, *по...ски*, *по...ки*).

2. Аппарат формальной представления материала в СМ (надо отметить исключительную сложность проблемы создания формальной записи, оптимальной для отражения морфемного состава словоформы) все же недоработан. Ориентация на письменную форму речи, орфографический облик слова (с. 6—7) приводит к появлению нежелательной (вроде, легко устранимой) «морфемной грязи» типа выделения *ь* в качестве отдельного компонента в составе собственно морфемных структур (*мал-ь-чуж-ан-ь*, *за-коль-ь-ца-ва-ть*, *ангел-ь-ск-ий*). В качестве примера неудачной трактовки морфемного состава слов, обусловленной исключительно особенностями русской орфографии, можно привести предлагаемое в СМ выделение суф. *-ей-* в словах *сем-ей-к-а*, *бад-ей-к-а*, *кел-ей-к-а*, *лад-ей-к-а* (с. 621—622), тем более, что в результате этого приведенные слова объединяются в плане своей морфной структуры с отглагольными производными типа *жнейка*.

3. Членения, необычные с традиционной точки зрения, в СМ можно разделить на две группы. С одной стороны, убедительно объясняется спецификой собственно морфемного членения сохранение на морфемном уровне исторически исходных структур в словах, исходная словообразовательная структура которых подверглась опроценению (*вел-ик-ий*, *верев-к-а*). В рамках новаторской концепции мор-

фемного анализа оправданным представляется и выделение семантически «пустых» сегментов типа *-ер-* в *мат-ер-ин-а*, *па-бч-ер-иц-а*. С другой стороны, на фоне приведенных примеров непоследовательным является невыделение суфф. *-ин-* в *хижина* (с. 375), в то время как этот суффикс аналогически легко вычленим. Часто неясны критерии, которыми руководствуются авторы СМ, расчлениая или, наоборот, сохраняя единство производных суффиксов (почему в *на-уш-н-ич-ество-о* выделяется суфф. *-ество-*, а в *жуль-ничества-о* — суфф. *-ничества?* (с. 641, 740).

4. Несмотря на то, что авторы СМ в связи с общей теоретической трудностью «... проведения границ между полисемией и омонимией аффиксальных элементов языка...» (с. 16—17) отказываются от сплошного отождествления аффиксальных алломорфов, в наиболее очевидных случаях разведение суффиксальной омонимии в СМ все же осуществляется. Представляется, что в этих случаях авторы не всегда последовательно выдерживают сформулированные во вводной части СМ принципы ориентации на тождество алломорфного варьирования и генетическое единство суффиксов. Так, вряд ли оправдано объединение в одной суффиксальной статье ИТ морфов *-ит-*, выделяющихся в словах *бандит*, *лазурит*, *волокита* (с. 765); можно усомниться и в целесообразности совместного рассмотрения *-ир-* в *командир* и *снегирь* (с. 673) и под. Много вопросов возникает и при рассмотрении результатов отождествления в СМ корневых алломорфов: например, не противоречит ли принятому критерию учета модели алломорфного варьирования отождествление корневых алломорфов в словах *беда*, *бедный* и *убеждение*, *непобедимый*, *побеждать* (с. 29), *бог*, *божий*, *убожество* и *богач*, *богатый*, *обогачать* (с. 36) и под.? В ряде случаев, напротив, разводятся корни, имеющие общее происхождение и сходное значение: 1 *бух-* и *бухан-* (с. 46), 2 *мя-* и *памят-* (с. 222, 238) и др. Имеет место пропуск алломорфов (как правило, в глагольных корнях с продленным гласным в итеративах).

Затронув проблему отождествления собственно морфемных единиц, следует отметить, что в значительной степени необычность словаря обуславливается специфической позицией авторов СМ, которая проявляется прежде всего в их «лингвистической честности». Авторы СМ не «подтягивают» материал под привычные нормы с целью создания видимости законченной картины и, не располагая в настоящий момент достаточно объяснительной теорией, принципиально отказываются

от отождествления аффиксальных алломорфов. Это, кстати, делает не совсем удовлетворительным и уязвимым для критики само название словаря.

Заканчивая рассмотрение специфики подачи конкретного языкового материала в СМ, можно констатировать, что, как и в плане теории морфемного анализа, содержащийся в СМ материал представляет собой не законченный результат, но только рабочий этап осознания собственно морфемных структур русского языка; впрочем, заключаемые в СМ сведения совершенно закономерно (и своевременно опубликованы. СМ представляет собой сложное, во многом противоречивое явление лингвистической мысли, с одной стороны, неотъемлемое от конкретного времени появления (обусловленное современным состоянием лингвистических представлений), с другой — безусловно имеющее перспективы (в первую очередь как бесценный материал, во многом и инструмент для дальнейших исследований). Особое значение имеет СМ для создающегося в настоящее время Машинного фонда русского языка. Работы по созданию машинной версии этого уникального словаря морфем заканчиваются в ЛГУ.

В заключение хочется поздравить авторов и всех заинтересованных в изучении проблематики структуры русского слова лингвистов с выходом своевременной и очень нужной книги.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Цыганенко Г. П. Словарь служебных морфем русского языка. Киев, 1982.
2. Потиха З. А. Как сделаны слова в русском языке: Справочник служебных морфем. Л., 1974.
3. Богданов С. И., Евтюхин В. Б. Задачи описания разновидностей внутренней структуры русской словоформы (Проблемы формообразовательного и морфемного типов анализа) // Сравнительно-типологические исследования славянских языков и литератур. К IX Международному съезду славистов. Л., 1983.
4. Worth D. Russian derivational dictionary. N. Y., 1970.
5. Уровни языка в речевой деятельности (К проблеме лингвистического обеспечения автоматического распознавания речи). Л., 1986. С. 151—161.
6. Николаева Т. М. Функции частиц в высказывании (На материале славянских языков). М., 1985.

Богданов С. И., Голубева А. В.

Настоящая книга представляет собой посмертное издание избранных трудов известного ученого-слависта Я. Риглера (1929—1985). С его именем связаны последние, наиболее значительные достижения в области изучения словенского языка. Очень значителен вклад Я. Риглера в разработку новой концепции исторического развития диалектной структуры словенского языка. Идеи Я. Риглера, ставшие неотъемлемой частью науки, ждут своего осмысления и дальнейшего развития.

Книга открывается вступительной статьей Ф. Якошина, составителя и редактора настоящего сборника. В ней кратко охарактеризован жизненный и творческий путь Я. Риглера, рождением и всей своей деятельностью неразрывно связанного со своей родиной — Словенией. Я. Риглер получил образование и прошел научную подготовку в Люблянском университете, где его учителями были выдающиеся слависты Ф. Рамовш и Р. Нахтигаль. Продолжив традиции своих великих учителей, Я. Риглер поднял словенистику на новый уровень, подготовленный достижениями послевоенных исследований по словенской диалектологии.

Представление о круге научных интересов и направлениях научной деятельности Я. Риглера дает библиография (составитель — Я. Хафнер), которая включает опубликованные работы (90 названий) и работы, оставшиеся в рукописях (7 названий). В перечне трудов Я. Риглера две монографии (см. [1, 2]), статьи по актуальным проблемам словенской диалектологии, карта словенских наречий [3], составленная при участии Т. Логара.

Из наследия Я. Риглера с учетом объема, отведенного для настоящего сборника, отобрано 14 статей, которые, как нам представляется, достаточно полно отражают основные идеи и содержание научной деятельности ученого. В этих статьях освещается следующий круг проблем: 1) язык Трубара и происхождение словенского литературного языка, 2) реконструкция основных этапов исторического развития словенского языка, 3) классификация словенских диалектов, 4) вопросы акцентологических отношений.

Сборник открывается циклом статей о языке Трубара (1508—1586 гг.) и шире — об истоках словенского литературного языка. Выдвигая на первый план данное направление научной деятельности Я. Риглера, составители сборника хотели подчеркнуть значение проблемы и тем самым почтить память зачинателя

словенской письменности, четырехсотлетие со дня смерти которого в 1986 г. отметила словенская общественность. Проблема истоков словенского литературного языка получила всестороннее освещение в названной выше монографии 1968 г. Основные аспекты этой большой и сложной проблемы разработаны Риглером в статьях, включенных в рецензируемый сборник: «О языке словенских реформаторов», «Основы языка Трубара», «Регистр к библии Далматина». Дополняет эту подборку статей заключение из упомянутой монографии, в котором сведены воедино и обобщены результаты исследований Я. Риглера по этой теме.

Я. Риглер подходит к исследованию языка Трубара как историк и диалектолог, хорошо представляющий себе динамику языковых процессов. Особенности языка Трубара осмысляются в общей исторической перспективе с учетом закономерностей развития словенского языка и его диалектной дифференциации. Всем ходом своего исследования Я. Риглер показал несостоятельность укоренившейся в науке точки зрения, согласно которой сочинения Трубара написаны смешанным языком. Непоследовательность в передаче *ě* как *e* и *ei* (ср. *sveit* «mundus» и *čep*), колебания *o* и *u* в соответствии с циркумфлексным *o* и многие другие явления не содержат в себе ничего случайного и произвольного, во всей этой кажущейся непоследовательности отражаются черты языковой ситуации, характерной для эпохи Трубара.

Я. Риглера отличает умение тщательно анализировать конкретные языковые факты. Внутрисистемный подход сочетается с осмыслением языковых явлений в широкой исторической перспективе. Именно такой подход позволяет Я. Риглеру установить правила, регулирующие появление тех или иных форм. Так, Я. Риглер обращает внимание на то, что имена на *-ost* исторически восходят к разным акцентным типам и форма суф. *-ost* или *-ust* находится в точном соответствии с правилами акцентных соотношений. Согласно одному из них, форма *-ust* характеризует старый циркумфлексный тип основ (ср. *mladust*), в сочетании с предлогом (ср. *od mladosti*); форма суф. *-ost* обусловлена передвижением ударения на предшествующий слог. Другой случай — чередование *o* и *u* в словах типа *pokorni/pokurni* — также является следствием различной акцентуации, но в иных условиях — в определенной и неопределенной формах. Впервые столь тщательно проведенный анализ текстов Трубара позволил наметить некоторые

правила графической передачи старого $\dot{\epsilon}$ в виде e или ei . В сочинениях Трубара последовательно $\dot{\epsilon} > ei$ в тех случаях, когда необходимо разграничить омонимы (ср.: *sveit* «mundus» и *sveit* «sacetus»), в исходе слова (ср.: *dvei, nei, vei*), в тех словах, которые в определенных формах имели в исходе ei (ср.: *veiditi* «знать» при *vei*) и т. п. Проследивая динамику диалектных отношений в истории словенского языка, восстанавливая для эпохи Трубара территориальное распределение двух центральных диалектов — горенского и доленского, Я. Риглер приводит убедительные доводы в пользу того, что фонетическая система Трубара в значительной степени несет в себе черты диалекта, на котором в XVI в. говорили в Любляне. В трудах Я. Риглера по-новому решается вопрос о диалектной основе языка Трубара. Традиционно все исследователи, занимавшиеся Трубаром (Шкрабец, Облак, Рамовиш и др.), исходили из того, что в своих сочинениях Трубар основывался на говоре родной деревни Рашица. Это положение принималось как исходное, не требующее доказательств. Рассматривая сочинения Трубара в широком языковом и культурно-историческом контексте эпохи XVI в., Я. Риглер показал несостоятельность такого подхода, во многом неверно ориентированного исследователей, Трубар не мог не осознавать значения Любляны в культурной и общественной жизни Словении. Чтобы быть понятным, Трубар должен был взять за основу люблянский диалект, а не говор маленькой деревушки, насчитывавшей в то время всего 13 хозяйств. Многие неверные выводы, по мысли Я. Риглера, обусловлены отсутствием исторического подхода к языку XVI в. И Я. Риглер предостерегает от этой ошибки, подчеркивая, что язык Трубара нельзя оценивать, исходя из особенностей современного словенского языка. Люблянский диалект эпохи Трубара не тождествен современному диалекту. Я. Риглер последовательно обосновывает мысль о первоначальной принадлежности диалекта Любляны к доленскому диалектному типу, что и объясняет, с его точки зрения, отступления в сочинениях Трубара от особенностей современного люблянского диалекта, который по принятой в науке классификации входит в иную диалектную группу — горенскую. При характеристике языка Трубара определенные трудности связаны с тем, что к концу жизни, т. е. ближе к 1582 г., в его сочинениях усиливается влияние родного говора. Как показывает Я. Риглер, в трудах Трубара проследживается взаимодействие двух диалектных систем, входивших в группу центральных словенских наречий, причем доминирующее положение за-

нимал люблянский диалект, система которого обогащалась элементами других наречий и прежде всего элементами родного говора д. Рашица. Как видим, в ходе анализа Я. Риглер выявил разные факторы, под влиянием которых складывались особенности языка Трубара. Оценивая Трубара в ряду близких ему по времени авторов, Я. Риглер приходит к выводу, что Трубар создал наиболее совершенный тип письменного языка. Именно сочинения Трубара стали основой словенского литературного языка.

Главное место в научном наследии Я. Риглера занимают работы по истории и диалектологии словенского языка. Для словенского диалекты являются основным источником знаний по истории языка, поскольку первые письменные памятники появились сравнительно поздно. К воссозданию языковой истории наука идет с помощью средств внутренней реконструкции. В работах Ф. Рамовша [4] впервые в наиболее полном и систематизированном виде освещены вопросы истории и диалектологии словенского языка. Развернувшись в Словении в послевоенные годы диалектологические исследования расширили и углубили представления о словенских диалектах и, таким образом, создали необходимые материальные предпосылки для поисков новой интерпретации накопленных наукой знаний. И Я. Риглер, основываясь на новых материалах, используя последние достижения науки, разрабатывает во многих отношениях новую концепцию исторического развития словенского языка. Основные положения этой концепции изложены Я. Риглером на софийском съезде в докладе под названием «Обзор основных этапов развития словенского вокализма» (1963 г.) и в «Примечаниях» к докладу, опубликованных в 1967 г. Я. Риглер постоянно возвращался к идеям доклада, дополняя и усиливая аргументацию, уточняя характеристику основных процессов (ср. опубликованные в рецензируемом сборнике статьи Я. Риглера «Развитие $\dot{\epsilon}$ в словенском», «Направления фонетического развития в папонских говорах», «К проблеме „аканья“» и т. д.). Многие положения, существенные для теории Я. Риглера, сложились в полемике с Ф. Рамовшем.

Как известно, в словенских диалектах глубоким преобразованиям подверглась вокалическая система. Истоки этих преобразований связывают с качеством фонемы $\dot{\epsilon}$. По отражению $\dot{\epsilon}$ вся область словенского языка делится на два ареала — северо-западный и юго-восточный. Предполагается, что такое деление унаследовано от эпохи диалектного развития праславянского языка. Задача исследователей состоит в том, чтобы восстановить

основные этапы развития исходной системы, выявить механизм преобразования вокалических систем в разных направлениях. В понимании начальной фазы развития словенского языка расхождения между Ф. Рамовшем и Я. Риглером сводятся к следующему. Если Ф. Рамовш восстанавливает *ě* широкое для диалектов юго-восточной области, а узкое качество этого гласного предполагает для северо-западных диалектов, то Я. Риглер, наоборот, *ě* широкое связывает с северо-западным ареалом, а *ě* узкое — с юго-восточным.

В своих выводах Я. Риглер основывается на существовании зависимости между широким качеством *ě* и сохранением назальных гласных. Внутренняя организация вокалической системы северо-западной группы исключает узкое *ě*, поскольку в отдельных диалектах этой группы сохранились назальные гласные, а процесс деназализации проходил позднее, чем в юго-восточных диалектах. Напротив, ранняя деназализация в диалектах юго-восточной области, а также наличие в соседних близкородственных диалектах сербохорватского языка рефлексов узкого *ě* служит знаком того, что в юго-восточной части Словении, как и на основной славянской территории, действовала тенденция к сужению *ě*. На этом основании уточняются ареальные характеристики праславянского: в архаичную зону с широким *ě*, кроме болгаро-македонских диалектов, лехитских и части серболужичских языков, включаются также диалекты северо-западной Словении.

С действием тенденции к сужению *ě* Я. Риглер связывает деление исходной системы на две подсистемы, внутренняя организация которых определялась качеством *ě*. В преобразовании вокализма решающая роль отводится дифтонгизации долгих *ě* и *ō* (*ei*, *oi* на юго-востоке и *ie*, *io* на северо-западе), удлинению неконечных слогов с кратким ударением. Количественные модификации, осуществившиеся в разное время, стали причиной многоступенчатых и разнонаправленных изменений вокализма в отдельных частях словенской территории. Я. Риглер особо выделяет тот период в истории языка, когда в результате процессов, вызвавших усиление диалектной дифференциации, меняется направление изоглоссы: старые изоглоссы, пересекающие южнославянскую территорию в направлении с северо-востока на юго-запад, перекрываются изоглоссами нового времени, объединяющими, с одной стороны, диалекты восточные и северные, а с другой стороны, — южные и западные. **Путем последовательного, всестороннего анализа фонетических и акцентологических явлений Я. Риглер определяет место каж-**

дого из процессов в общей истории языка, разграничивает в плане относительной хронологии пять этапов в преобразовании вокализма и соответственно в развитии диалектной структуры словенского языка. В исследованиях Я. Риглера каждая из восьми словенских диалектных групп и отдельные диалектные системы предстают как часть целого и как результат преобразования вокалических систем по определенным моделям.

Итогом многолетних диалектологических исследований явилось создание «Карты словенских наречий» (1983 г.). Эта карта, составленная двумя авторами — Я. Риглером и Т. Логаром, представляет собой переработанный вариант известной карты Ф. Рамовша. В ней учтены последние достижения словенской диалектологии и исторический опыт классификации словенских наречий (см. «Об истории классификации словенских диалектов»). Основываясь на новых, ранее не известных материалах, полученных в ходе полевых исследований, Я. Риглер более точно определяет границы диалектов на современной карте. Так, Я. Риглер устанавливает, что на крайнем юго-западе Словении нотранский диалект простирался на запад значительно дальше, чем предполагали Ф. Рамовш и М. Малецкий. Как показал Я. Риглер, современными данными не подтверждается существование особого бркинского диалекта, традиционно выделяемого в этой части Словении. Из анализа языковой ситуации в юго-западной Словении следует, что территория, занимаемая бркинами, входила в область распространения нотранского диалекта (см. «О предполагаемом бркинском диалекте словенского языка»). В плане исторического развития диалектной структуры словенского языка следует признать важным вывод Я. Риглера о первоначальной принадлежности южной части горенских диалектов к диалектам доленского типа.

Особое место в исследованиях Я. Риглера занимает проблема словенско-кайкавских отношений. В одной из статей настоящего сборника («Культурно-языковая ориентация штирийцев в древнейшую эпоху») на материале древних рукописей и печатных текстов, созданных в Штирии, прослеживается влияние двух диалектов — кайкавского и центральнословенского. Как показал анализ языковых особенностей древних текстов, влияние территориально близкого кайкавского диалекта не простиралось далее восточной части Словенских Гор, наиболее сильным и значительным было влияние центральнословенского диалекта.

В свете новых данных по-иному определяется Я. Риглером характер словенско-кайкавских отношений в плане исто-

Рического развития («О словенско-кай-Кавских языковых отношениях», «Направление фонетического развития в паннонских говорах»). В известных теориях Ф. Рамовша и А. Белича по-разному решается вопрос о происхождении словенского языка. Согласно Ф. Рамовшу, хорватско-кайкавский диалект генетически связан со словенским языком. В силу определенных общественно-политических процессов он оказался в сфере влияния сербохорватского языка. А. Белич придерживался противоположной точки зрения: кайкавский диалект, по его мнению, образовался вторично на основе симбиоза части словенских, чакавских и штокавских наречий. Известный исследователь кайкавского диалекта С. Ившич доказывал в своих работах единство и самостоятельность кайкавской системы акцентных отношений. С новой теорией происхождения кайкавского диалекта в начале 70-х годов выступил З. Юнкович. В основе его теории лежит та же идея самостоятельности кайкавского диалекта. З. Юнкович связывает образование кайкавского диалекта с тем этапом членения западно-южнославянского праязыка, когда после выделения альпийских славян образуется паннонская группа, в составе которой помимо кайкавского диалекта развиваются диалекты горичанский, прекмурский, некоторые штирийские, штокавские говоры и др. Я. Риглер подробно останавливается на анализе теории З. Юнковича и показывает, что явления, на которых базируется гипотеза, достаточно противоречивы, они не обладают доказательной силой, потому что, во-первых, реальная картина сложнее и не укладывается в предлагаемые схемы, а во-вторых, потому что большая часть явлений принадлежит не праславянскому времени, а более поздней эпохе X—XIV вв.

Именно процессы, протекавшие в X—XIV вв., определили фонетический облик словенского языка и его диалектную структуру. Для понимания позиции Я. Риглера важны следующие положения. Я. Риглер считает, что данные, которыми оперируют разные теории, не дают основания предполагать существование южнославянского праязыка. С точки зрения Я. Риглера южнославянские языки сложились на основе смещения разных элементов в эпоху славянских миграций. Заметим, что сходной точки зрения придерживается другой словенский ученый — Ф. Безлай. Южнославянское языковое пространство представляется Я. Риглеру как непрерывный диалектный континуум, в пределах которого границы отдельных явлений размыты, не совпадают с границами диалектов. Я. Риглера интересуют в основном внутриязыковые процессы, распределение диа-

лектных связей в пределах словенско-кайкавской территории. Для решения вопросов генетического характера требуется иной подход — сравнительно-исторический, позволяющий в исторической перспективе, на широком славянском фоне определить процессы, специфические для словенских и кайкавских диалектов. В перечне анализируемых Я. Риглером явлений изменение $d_j > j$, более позднее по времени $\rho > o$, т. е. явления, характеризующие на славянской языковой территории в основном словенские и кайкавские диалекты. Особенности развития этих процессов, как и многих других, понятны лишь на общеславянском фоне. К сожалению, этот аспект исследования остается за пределами внимания Я. Риглера. Наиболее полно разработаны им вопросы словенско-кайкавских диалектных отношений исторического времени, но остаются нераскрытыми генетические истоки отношений двух диалектов на праславянском уровне.

В связи с подготовкой «Словаря словенского литературного языка» Я. Риглер много занимался вопросами ударения и интонаций. Решение вопросов нормирования сопряжено с немалыми трудностями, поскольку в условиях большой диалектной дробности литературный язык испытывает на себе сильное влияние диалектов. Результаты большой исследовательской работы Я. Риглера частично отражены в статьях настоящего сборника (ср. «Проблемы ударения в словенском литературном языке»).

Я. Риглер не успел осуществить всех своих замыслов, многие намеченные им идеи еще ждут развития и более глубокого обоснования. Но Я. Риглер много сделал для науки о словенском языке. Заслуга Я. Риглера в том, что своими исследованиями он существенно расширил и углубил знания о многочисленных словенских диалектах. Основываясь на новых данных, он поднял изучение проблем словенистики на новую ступень теоретического осмысления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Rigler J.* Južnonotranjski govori. Akcentska in glasoslovna analiza južnonotranjskih govorov med Snežnikom in Slavnikom. Ljubljana, 1960.
2. *Rigler J.* Začetki slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 1968.
3. *Logar T., Rigler J.* Karta slovenskih narečij. Na osnovi Ramovševe Dialektološke karte slovenskega jezika, novejših raziskav in gradiva Instituta za slovenski jezik. Ljubljana, 1983.
4. *Ramovš F.* Historična gramatika slovenskega jezika. II: Konzonantizem. Ljubljana, 1924; VII: Dialekti. Ljubljana, 1935.

Куркина Л. В.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ФОНОЛОГИИ И ФОНЕТИКЕ ПРИ ОЛЯ АН СССР

Постоянная комиссия по фонологии и фонетике существует с начала 50-х годов при ОЛЯ АН СССР. С момента своего возникновения она объединяла специалистов как по фонетике, так и по фонологии, работающих в АН СССР, а также некоторых ученых, работающих в университетах и институтах и связанных своими научными интересами и научной деятельностью с АН СССР. В течение длительного времени до своей кончины Комиссию возглавлял Р. И. Аванесов.

31 мая 1983 г. на заседании Бюро ОЛЯ АН СССР эта комиссия была реорганизована; было принято решение об изменении ее состава и руководства. Председателем Комиссии стал акад. Т. В. Гамкрелидзе, заместителем председателя Т. М. Николаева, ответственным секретарем — Н. Н. Розанова. В настоящее время в Комиссию входят 24 ученых, представляющих активно развивающиеся области фонетики и фонологии. Это исследователи фонологии в синхронии и диахронии, представители экспериментальной фонетики, диалектной фонетики, фонетики спонтанной устной речи, интонации и ритма, специалисты по метрике и стихосложению, по орфоэпии и теории орфографии, по автоматическому распознаванию речи. В Комиссию входят ученые из Академий союзных республик, изучающие фонетику языков народов СССР; в составе Комиссии также представители биологической науки, которая в настоящее время в ряде пунктов пересекается с современной лингвистикой.

Ниже дается описание деятельности Комиссии за последние пять лет (начиная с 31 мая 1983 г.). Основной формой научного общения членов Комиссии за истекшее время явились проблемные заседания с заранее подготовленной повесткой дня. За это время проведено 11 заседаний. Первое заседание, состоявшееся 15 сентября 1983 г., целиком было посвящено организационным вопросам. На последующих заседаниях руководители Комиссии стремились сочетать обсуждение чисто научных проблем с вопросами координационного и организационного характера. Так, например, в повестку дня заседания от 12 марта 1984 г. было включено три основных вопроса: 1) доклад В. И. Галунова (председателя Комиссии по акустике АН СССР) «О некоторых вопросах научного контакта в области акустических и лингвистических исследований»; 2) сообщение М. Н. Реммеля о работе Лаборатории вычислительной лингвистики Института языка и литературы АН СССР; 3) сообщение И. Г. Горсуевой о подготовке и проведении Всесоюзного совещания «Проблемы фонетики и фонологии».

Ведущей темой большинства последующих заседаний была подготовка к XI Международному Конгрессу фонетических наук, состоявшемуся в Таллинне с 1 по 8 августа 1987 г. (Подобный по своей научной значимости и представительности лингвистический форум проводился впервые.) Ядро оргкомитета Конгресса составили члены Комиссии. (Президент XI МФФН — Т. В. Гамкрелидзе, вице-президент — Т. М. Николаева, ответственный секретарь оргкомитета — М. Н. Реммель). В настоящем обзоре нет необходимости останавливаться на работе Конгресса (см. ВЯ, 1988, № 2). Сама подготовка к Конгрессу осуществлялась не только как собственно организационная деятельность, которой уделялось достаточно большое внимание, естественное для столь представительного форума, но и как выявление научных проблем, подлежащих обсуждению в дискуссионном порядке. С этой целью было создано Всесоюзное совещание «Проблемы фонетики и фонологии», состоявшееся в Звенигороде с 28 по 30 ноября 1986 г.

Всесоюзное совещание «Проблемы фонетики и фонологии» проходило в соответствии с Планом конференций АН СССР на 1986 г. Оргкомитет Совещания во главе с председателем Т. В. Гамкрелидзе был сформирован из членов Комиссии по фонологии и фонетике при ОЛЯ АН СССР. Программа Совещания (22 доклада, опубликованных в виде тезисов) составлялась с учетом разнообразных направлений современной

фонетики и фонологии. В качестве участников дискуссии было приглашено свыше 60 человек. Об актуальности и важности затронутых вопросов можно судить хотя бы по числу участников дискуссии: всего за три дня в прениях выступило 55 человек.

Проблемы, которые предполагалось обсудить на Конгрессе как на важнейшем фонетическом форуме, ставились членами Комиссии и на специально проводившихся совещаниях и заседаниях. Так, ареной для дискуссий явились ежегодные Торсуевские чтения, организованные в Московском государственном институте иностранных языков им. М. Тореза (председатель — А. М. Антипова). На первом заседании, проходившем в феврале 1986 г., были обсуждены актуальные вопросы фонетики и фонологии. Второе заседание состоялось в апреле 1987 г. и было посвящено вопросам речевого ритма. Третье заседание, посвященное проблемам поэтического текста, проводилось в апреле 1988 г.

Состоялось также заседание фонетической секции Конгресса романистов (под руководством И. Г. Торсуевой).

Последнее заседание Комиссии состоялось 26 октября 1988 г. На нем обсуждались организационные вопросы, был также прослушан доклад С. В. Кодзасова «Об актуальных вопросах просодических исследований».

В целях координации фонетических исследований Комиссия постановила учредить центр поступлений новейшей фонетической литературы (авторефератов кандидатских и докторских диссертаций, сборников статей, монографий). Для этого была организована библиотека фонетической литературы при Лаборатории экспериментальной фонетики Института русского языка АН СССР (зав. лабораторией — Р. Ф. Касаткина).

Работа по подготовке к Конгрессу велась в содружестве с Комиссией по фонетике и фонологии при Минвузе СССР (председатель — Р. К. Потапова). Доклад Р. К. Потаповой был прослушан на одном из заседаний Комиссии.

Постоянной формой работы по исследованию проблем фонетики и фонологии являются семинары, возглавляемые членами Комиссии. Это семинар по фонетике при МГУ (руководители С. В. Кодзасов и О. Ф. Кривнова), семинар по диахронической фонологии (руководитель — В. К. Журавлев), семинар по постратическому языкознанию и сравнительной акцентологии (руководитель — В. А. Дыбо).

Огромная работа по описанию фонетики языков Сибири (в том числе и исчезающих) была проделана за эти годы Сибирским Отделением АН СССР под руководством ныне покойного члена Комиссии В. П. Неделеяева.

Проведенный в августе 1986 г. XI Международный Конгресс фонетических наук показал, что существенной трудностью развития современной фонетической науки является отсутствие единого метаязыка фонетической и фонологической теории, что нередко усложняет интерпретацию в концептуальном плане полученных результатов исследований. Поэтому одной из задач деятельности Комиссии является выработка общего подхода к изучению звукового строя языка при сохранении индивидуальных интересов каждого из членов Комиссии. С этой целью Комиссия предполагает в 1989 г. созвать Всесоюзную конференцию «Методы доказательства в фонетике и фонологии». Предполагается также провести ряд заседаний с проблемными и обзорными докладами.

В период подготовки к XI Международному Конгрессу фонетических наук выяснилось, что в нашей стране имеется целый ряд интересных коллективов, активно работающих наиболее актуальные и перспективные проблемы современной фонетики и фонологии. Однако деятельность их разрознена, не скоординирована. В настоящее время для плодотворного развития отечественной фонетической науки необходимы совместные усилия представителей разных школ и направлений. Комиссия проводит большую работу по координации фонетических исследований, осуществляемых в нашей стране. Так, в апреле 1988 г. на заседании Советского Комитета тюркологов по инициативе А. М. Антиповой была организована секция фонетики тюркских языков. Секция выработала основные направления своей деятельности. В результате работы Комиссии в программу Всесоюзной тюркологической конференции (сентябрь 1988 г., г. Фрунзе) было включено обсуждение фонетических исследований. Планируется провести в следующей пятилетке две-три Всесоюзные тюркологические фонетические конференции (Алма-Ата, Баку, Ташкент). 19 декабря 1988 г. в Москве, в Институте языкознания АН СССР состоялось совещание фонетистов-тюркологов, посвященное обсуждению путей и методов исследования просодии тюркских языков. Участникам этого заседания были розданы разные виды просодических анкет, разработанных советскими интонологами для типологических целей. На этой основе могут быть решены две существенные для истории языка и культуры задачи. Во-первых, фонетика языковых семей будет описана подробно и, что не менее важно, единообразно (в дальнейшем подобное «сплошное» описание могло бы быть распространено не только на тюркские языки); во-вторых, будут описаны в максимально возможной полноте языки малых народов, в настоящее время совсем не описанные или описанные приблизительно.

Координация фонетических исследований распространяется и на международную деятельность членов Комиссии. Например, в связи с созданием Машинного фонда русского языка возник вопрос о важности фонетического компонента этого фонда. (Руководителем работ по созданию фонетического фонда русского языка является Л. В. Бондарко.) В связи с тем, что создание машинной версии фонетического фонда, включающего не только оцифрованный звуковой материал, но и функциональные характеристики звуковых единиц, а также программы, необходимые для обработки материала, требуют высокого технического обеспечения, было решено создавать такой фонд совместно с представителями Рурского университета (Бохум, ФРГ). Активным сторонником такой совместной работы выступил профессор этого университета К. Запнок. В декабре 1987 г. на совместном заседании Комиссии по фонетике и фонологии, Комиссии фонетического фонда и представителей Рурского университета вынесено решение о сотрудничестве. Предусмотрены, в частности, координация программ работ по всем перечисленным направлениям, обмен материальными средствами исследования, издание бюллетеня, отражающего текущее состояние работ. В настоящее время вышло два выпуска этого бюллетеня (издатели — К. Запнок и Л. В. Бондарко), содержащих сообщения, связанные с проблемами фонетического фонда. Предполагается, что бюллетень будет выходить достаточно регулярно.

Работа Комиссии по фонологии и фонетике при ОЛЯ АН СССР затрудняется рядом существенных обстоятельств. Прежде всего было бы естественным предоставлять видным фонетистам и фонологам страны трибуну для публикации актуальных результатов их научных достижений. Эти функции мог бы выполнять специальный журнал или ежегодник по фонологии и фонетике. Симптоматично, что в ряде стран подобные специальные издания стремительно появляются в последнее время (не говоря уже о журналах со старой традицией).

Кроме того, как указывал Т. В. Гамкрелидзе (ИАН СЛЯ, 1987, № 4, с. 295), Комиссия не имеет до сих пор того статуса, который давал бы ей возможность быть представленной в специальном справочнике АН СССР и, соответственно, иметь специальный бланк. Вопрос об этом неоднократно ставился перед руководством ОЛЯ АН СССР и, несмотря на общее позитивное отношение, до сих пор не решен.

Целесообразно было бы иметь единую базовую лабораторию в рамках АН СССР для проведения экспериментально-фонетических исследований. Такой базовой лабораторией могла бы стать Лаборатория экспериментальной фонетики Института русского языка АН СССР при условии ее преобразования, расширения и оснащения современной аппаратурой. Среди основных направлений научных исследований лаборатории — просодия спонтанной речи (как современного русского литературного языка в его функционально-речевых разновидностях, так и региональных вариантов общенародного языка). Лаборатория располагает уникальным собранием фонограмм спонтанной речи. Вокруг лаборатории уже сплотился коллектив исследователей, занимающихся проблемами изучения русской просодии. В настоящее время группа ученых под руководством С. В. Годзасова разрабатывает проект просодической транскрипции для современного русского языка. Первый вариант проекта уже обсуждался на одном из заседаний Комиссии. Работа продолжается.

В настоящее время роль фонетики выходит далеко за рамки традиционного внимания ее как одного из уровней языковой системы. Она по сути является наукой о звуковой форме языка в целом во всех его функциональных проявлениях. Пятилетняя работа Комиссии еще раз показала, что фонетическая наука — междисциплинарная наука и выходит за рамки собственно лингвистики. Это подтверждает и тот факт, что в работе XI Международного Конгресса фонетических наук наряду с лингвистами принимали участие математики, психологи, физиологи, медики, техники. Достаточно назвать лишь некоторые проблемы, обсуждавшиеся на Конгрессе: автоматическое распознавание речи, модели речевого восприятия, синтез речи, речевые расстройства, детская речь, проблемы физиологии речи и др. Достижения фонетической науки находят успешное применение во многих отраслях современной науки и техники. Всего сказанного, думается, достаточно, чтобы показать, сколь важны и ответственные задачи, стоящие перед Комиссией по фонологии и фонетике при ОЛЯ АН СССР.

Проблемы фонетики и фонологии, объединяя исследовательский интерес многих ученых разных специализаций, приобрели столь важное теоретическое и практическое значение, что в настоящее время уже назрел вопрос о создании в нашей стране Фонетического общества.

Николаева Т. М., Розанова Н. Н. (Москва)

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 11 по 13 апреля 1988 г. в Ленинграде состоялся V симпозиум по лингвистическим проблемам искусственного интеллекта (ИИ). Он был организован секцией «Инженерная лингвистика» Ленинградского областного правления научно-технического общества радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова совместно с общесоюзной группой «Статистика речи» и Лабораторией инженерной лингвистики ЛГПИ им. А. И. Герцена.

В работе симпозиума приняли участие лингвисты, методисты, психологи, математики, кибернетики и программисты из Ленинграда, Москвы, Киева, Минска, Тбилиси, Кишинева, Риги и других городов, представляющие научные коллективы АН СССР, республиканские академии, вузы, а также зарубежные специалисты. В центре внимания участников симпозиума находились вопросы реализации и внедрения систем автоматической переработки текста (АПТ), в том числе промышленных систем машинного перевода (МП). Особое внимание было уделено проблеме развития «интеллектуального» аспекта этих систем. В рамках последнего подхода развиваются как прагматически ориентированные (pragmatic based) системы МП, так и лингвистические экспертные системы (ЛЭС) с сильным семантико-прагматическим аппаратом. В ходе симпозиума было прослушано более 30 докладов и сообщений в следующих трех секциях: «Компьютеризация обучения языку», «Базы данных систем ИИ и автоматизированных обучающих систем (лингвистика и программирование)», «Семиотические проблемы искусственного интеллекта».

В кратком пленарном выступлении председатель оргкомитета П. М. Алексеев (Ленинград) отметил, что решение семиотических и психолингвистических проблем ИИ, а также результаты лингвостатистических исследований станут мощным стимулом в деле компьютеризации обучения, перевода, реферирования и других видов социально-речевой деятельности. Затем с докладом «Инженерная лингвистика в конце 80-х годов» выступил руководитель группы «Статистика речи» Р. Г. Пиотровский (Ленинград). Докладчик подробно остановился на основных этапах развития инженерной лингвистики (ИЛ) и выделил главные проблемы ИЛ, возникающие перед исследователями на современном этапе.

Докладчик отметил, что с середины 80-х годов инженерно-лингвистические исследования определяются не научными амбициями, а требованиями конкретных

потребителей. Эти требования следующие: 1) полнота перевода должна достигать 70—80%, 2) система должна легко пополняться и изменяться, 3) необходима совместимость программы, 4) скорость перевода должна быть не больше, чем 0,3 сек., 5) система должна характеризоваться высокой живучестью.

В центре внимания второй секции находились вопросы создания базы данных систем ИИ. Ю. С. Мартынянов (Москва) предложил создать некоторую метасистему перевода, основанную на синтезе базисных (инвариантных) мета-языковых соответствий, Ю. Н. Кондратьева (Ленинград) изложила результаты исследования омонимичных синтаксических структур в рамках АПТ.

В своем докладе О. Н. Грибаум, Г. Я. Мартыненко и С. Я. Фитилов (Ленинград) остановились на созданной этим коллективом автоматизированной системе накопления, хранения и обработки лингвостатистических данных (проект «Линда»). Рассматривалась связь выходного структурированного текста и входного оригинала в зависимости от лингвополиграфического членения текста (абзаца). Изучению языковых механизмов сцепления предложений в пределах сверхфразового единства (СФЕ) с целью их последующей алгоритмизации был посвящен доклад Р. К. Гарипова (Ленинград).

В докладе Т. Г. Кокочашвили и Т. П. Цолосани (Тбилиси) обоснована необходимость использования вероятностных методов при выявлении терминологических слов; доказывается, что эмпирическое распределение терминов подчиняется, как правило, ни одному закону распределения языковых явлений (логнормальному закону, закону Пуассона и др.). В докладе Т. А. Аполлонской, С. П. Грицай, П. В. Ключкова и Ю. А. Харьковой (Ленинград) обобщены итоги разработки системы русско-английского перевода, а также МП с других языков (французского, испанского, итальянского, немецкого, японского и арабского). Отмечено, что для улучшения качества перевода наиболее целесообразным является структурный подход, который предполагает установление уровней и их иерархию.

В выступлениях ряда авторов обсуждались следующие частные, но не менее важные вопросы: восстановление линейной целостности слова при автоматической обработке текста (И. В. Жарков, Ленинград), программное обеспечение исследования синтаксических структур (Ю. В. Борисенко, Ленинград), анализ семантической структуры

Связанного текста формализованными методами (Ю. К. Крылов, Ленинград), алгоритмы машинного анализа и синтеза именных словосочетаний (А. Н. Попеску, Л. М. Карча, Кишинев), особенности системы автоматического радиодобмена «Диспетчер — Экипаж» при управлении воздушным движением (И. И. Чайковская, Ленинград), алгоритмизация процедуры порождения сюжета (А. В. Зубов, А. А. Вейзе, Минск) и др.

В центре внимания секции «Семиотические проблемы ИИ» находились проблемы выработки принципов построения различных систем коммуникации.

В выступлении М. М. Лесохина (Ленинград) поднята актуальная проблема определения объективных критериев построения классификации. В докладе подчеркивалось, что классификация является адекватной в том случае, когда классы исследуемых явлений не пересекаются, т. е. классы находятся в отношении эквивалентности (симметричности, транзитивности, рефлексивности). Автор получил формулы для установления степени близости бинарного отношения (классов) к эквивалентности. При исследовании был использован аппарат теории нечетких множеств и теории решений. Е. А. Шингарева (Ленинград) дала оценку прагматике в системах ИИ и экспертных системах (ЭС). Докладчик выделил внешнюю (внеязыковую) прагматику и языковую прагматику пользователя, которая выражается в семантических, синтаксических и др. особенностях текстов. А. М. Кондратов (Ленинград) предложил вниманию участников симпозиума разработанную им для ЭВМ систему дешифровки древних письмен. А. Д. Нахимовский (Колгейтский университет, США) проанализировал преимущества и недостатки ЭВМ и человеческого мозга, пришел к выводу, что в настоящее время наиболее актуальной является задача создания машин параллельного поиска информации. С интересом был выслушан обстоятельный обзор имеющих-

ся разработок в этом направлении в США и Канаде.

В последующих выступлениях были затронуты такие вопросы, как познание и лингвистические модели в системах ИИ (И. В. Штерн, Киев), представление знаний различных видов в разных знаковых системах (Е. К. Смольников, Ленинград) и др.

На заключительном пленарном заседании П. М. Алексеев проанализировал некоторые лингвостатистические оппозиции (онтология — гносеология, детерминизм — вероятность, объективное — субъективное и др.); он пришел к выводу, что лингвистические парадоксы являются квазиопозициями и зависят от гносеологической установки исследователя.

Пленарный доклад Л. Н. Беляевой (Ленинград) был посвящен результатам представления советского машинного перевода в Индии. Как отмечалось в докладе, объем непереуведенного с русского языка материала составляет в Индии 50 тонн. Штат переводчиков не может переработать даже незначительную часть этого потока информации. Предложенный Джорджтаунским университетом (США) метод перевода не удовлетворил индийских специалистов. Большой интерес в Индии (а перед этим в Финляндии) вызвала советская система СИЛОД, созданная в Лаборатории инженерной лингвистики ЛГПИ им. А. И. Герцена под руководством Р. Г. Пиотровского. При разработке системы СИЛОД ее создатели опирались на следующие постулаты: необходимо отказаться от слепого буквализма при создании машинной морфологии и синтаксиса; анализ проводить на основе грамматики зависимостей; семантико-синтаксическая двусмысленность (синонимичность глубинных структур) не устранима на алгоритмическом уровне, наоборот, необходимо создать средства поддержки многозначности; синтаксический анализ должен осуществляться с помощью ограниченного числа процедур.

Гарипов Р. К., Сытнов Н. П.
(Ленинград)

27—29 июня 1988 г. в Москве состоялась IV Всесоюзная конференция по китайскому языку и познанию, организованная Институтом языкознания совместно с Отделом языков Института востоковедения АН СССР. В работе конференции приняли участие более 60 научных сотрудников, преподавателей, аспирантов из Москвы, Ленинграда, Читы, Владивостока,

Киева и др. городов Советского Союза а также ученые из СРВ и США.

Открывая конференцию, председатель ее оргкомитета, директор Института языкознания чл.-корр. АН СССР В. М. Солнцева отметил, что в последние годы советские ученые добились больших успехов в изучении различных сторон китайского языка как в его современном состоянии, так и в историческом разви-

Тии: появились исследования по фонологии и морфонологии, синтаксическим отношениям и конструкциям, словообразовательным парадигмам и лексическим группам и т. п. О широте тематики и глубине рассматриваемых проблем свидетельствуют тезисы докладов, представленных на данную конференцию [1].

На заседаниях в центре внимания были проблемы: типологическая характеристика китайского языка, его основные единицы в их взаимодействии, использование грамматических средств в разные периоды развития языка, закономерности и особенности отдельных словообразовательных подсистем и лексико-семантических групп, парадигматические отношения. Были затронуты также вопросы преподавания китайского языка. Так, М. К. Румянцев (Москва) рассказал о подготовке филологических кадров в ИСАА при МГУ. Он, в частности, отметил, что в настоящее время филологов-китаеведов готовится явно недостаточно, в ряде случаев китайский язык преподают люди, не имеющие специальной филологической подготовки. Это может сказаться на общем уровне китаеведения.

В. М. Солнцев в своем докладе рассмотрел механизм установления синтаксических отношений в китайском и других изолирующих языках в сопоставлении с неизолирующими, показал связь частей речи с синтаксисом в языках разных типов. В зависимости от выраженности / невыраженности в формах слов синтаксических отношений в речевой цепи В. М. Солнцев разделяет языки на формосвязывающие и формоизолирующие. В последних слово потенциально несет в себе реляционный заряд и реализует синтаксическое отношение только при наличии второго слова и определенного взаимного расположения слов. Роль, аналогичную реляционным формантам формосвязывающих языков, здесь выполняют реляционные служебные слова.

Вьетнамский ученый Нгуен Ван Тхак выступил с докладом «Некоторые замечания о частях речи в китайском языке». Учитывая специфику китайского языка, он считает необходимым давать пометы о категориальности всем заглавным единицам словаря (не только словам, но также морфемам и словосочетаниям). Предложение Нгуен Ван Тхака было реализовано при составлении нового «Толкового словаря вьетнамского языка» (1988).

Вопросы системного синтаксиса — отношение простого и сложного предложений — освещались в докладе Е. И. Шуртовой (Москва), показавшей изоморфизм принципов построения этих типов предложений и особенности построения СП в отличие от ПП. Тему выбора

формы высказывания на широком языковом материале затронула М. В. Рябская (Москва).

Серия докладов была посвящена разным аспектам фонетики и фонологии. А. Н. Аляхин (Москва) на материале пекинского, шанхайского и мэйсяньского диалектов китайского языка рассмотрел особенности согласной-гласной коартикуляции с точки зрения фонетической и фонологической систем языка. Исследуя чередования тонов во многих северокитайских диалектах, О. И. Завьялова (Москва) выделила просодические типы двусложных сочетаний, показав их значительное варьирование. О. В. Семенова (Москва) рассказала о реализации слогов с конечными среднекитайскими сонантами в современных китайских диалектах. М. В. Дьячков (Москва), проанализировав различные тоновые языки Африки и Юго-Восточной Азии, выявил зависимость между системой фонологических тонов и грамматической детерминантой.

Выступающие на конференции подчеркивали особенности фонетического строя китайского языка с его ограниченным числом слогов строго фиксированного состава. Наряду с этим отмечалось существование таких сложных фонетических явлений, как слияние двух слогов и трансформация слога. Особенности эризации (слияние суф. *эр* с исходным слогом) как морфонологического средства рассматривались А. А. Монастырским на материале диалектов современного китайского языка. Он предложил ввести эризацию как важный дополнительный признак при лингвистическом районировании Китая.

В докладе А. Я. Соколовского (Владивосток) освещались разные точки зрения на фонологию и фонологические единицы. По мнению автора, отсутствие единого понимания китайской фонемы связано с фонетико-морфологическими особенностями китайского языка: морфологической значимостью слога, невозможностью прохождения морфемной границы между отдельными знаками внутри слога, запретом на ресиллабацию в слове и т. п.

На конференции широко обсуждались также проблемы письменности. В докладе С. М. Шевенко (Москва) речь шла о способе формального описания китайских иероглифов, основанном на отборе их существенных признаков с помощью определенной системы правил. Материалом для исследования послужили 2000 частотных знаков из китайской прессы. Предложенная модель описания иероглифики может быть использована в системах автоматического распознавания знаков китайской письменности, рас-

смотрена также возможность применения доработанной модели для оптимизации преподавания иероглифики. В. Ф. Резанец (Киев) осветил вопросы семантико-графической структуры иероглифа, представленной семантическими взаимосвязями графических элементов. Анализ этих элементов показал, что они являются надежными мотиваторами смысловых значений иероглифов, используемых в современных китайских и японских текстах. Была разработана новая методика обучения иероглифике, цель которой — раскрыть внутреннюю форму знаков иероглифического письма. Соразмерность графических и фонетических репрезентаций китайских слогоморфем была показана А. М. Карапетьянцем (Москва) на материале анализа около 4000 периферийных слогоморфем. Докладчик приводит 50 выделяемых им ключеподобных графических единиц, которые он называет графемами. Деление иероглифа на графемы оказывается соотносимым с делением слога на фонемы. На конференции обсуждались вопросы, связанные с историей поисков систематизированного описания иероглифики. Американский ученый Дж. Барлоу рассказал о научной деятельности видного русского синолога О. Розенберга и его вкладе в разработку графической системы расположения иероглифов в словарях.

Особенностям тибетского силлабографа был посвящен доклад И. Н. Комаровой (Москва). Проведя дистрибутивный и функциональный анализ составляющих его графем, автор приходит к выводу, что тибетское письмо имеет смешанный силлабо-фонемографический характер.

Цикл докладов касался классификации лексических единиц и способов их образования. А. М. Карапетьянц, А. А. Поликарпов, Н. В. Обухова (Москва) представили результаты типолого-квантитативного анализа нормативного словаря современного китайского языка, содержащего около 56 тыс. словарных единиц. Были рассмотрены морфологические, функционально-стилистические, полисемические и омонимические характеристики иероглифических однослов и их сочетаний.

Особое внимание было обращено на проблему омонимии. Рассмотрев ее в связи с количественной нормой китайского слова, М. Г. Прядохин (Москва) пришел к заключению, что омонимия не является главной причиной биомизации китайской лексики. Омнимии и трудности отграничения ее от полисемии в древнекитайском языке исследовались Т. Н. Никитиной (Ленинград), в докладе которой был поставлен вопрос о более точном научном определении понятия слова в древнекитайском.

О соотношении членов предложения и частей речи в связи с проблемой субстантивации говорилось в докладе Н. В. Солдцовой (Москва). Рассматривая разнообразные субстантивирующие средства в китайском и языках Юго-Восточной Азии, докладчик отмечает, что субстантиваторы в них служат не только для «перевода» слов одного класса в другой, но и используются для образования особых предметных форм у слов в рамках одной категории. Их можно считать некоторыми маркерами синтаксических функций, свойственных именам.

Распределение лексических единиц по способам их образования посвятили свои доклады И. В. Жданкин (Москва), рассмотревший словообразовательную подсистему глагольного атрибутивного типа «признак — действие», и А. А. Беликов (Москва), который раскрыл функции и значения наиболее употребительных именных суффиксов — *-цы* и *-эр*. Структурно-семантические типы сложных редуцируемых существительных анализируются в докладе Ю. Я. Плама (Москва) «К вопросу о двойной форме существования слов в языках Восточной и Юго-Восточной Азии».

О выделении основных словообразовательных подсистем, о типах и способах образования слов по словообразовательной концепции китайского лингвиста Жэнь Сюэяна рассказала А. А. Хаматова (Владивосток), отметив новизну и оригинальность взглядов ученого.

Проблеме терминообразования было уделено особое внимание в докладе И. Д. Клеина (Москва). Рассмотрев семантико-морфологическую структуру пятисложных терминов, он выявил интересную специфику морфемной контракции с инверсией компонентов (глагольная основа меняется местом с именной).

На обсуждение были представлены результаты семантических исследований отдельных групп лексики. В докладе А. Л. Семеновас (Москва) речь шла о применении компонентного анализа к описанию лексико-семантических групп. При этом компоненты значения обычно ассоциируются с сигнификативным слогом, но некоторые из них выводят на экспрессивный. В докладе О. П. Фроловой (Новосибирск) анализировалась семантическая группа цветообозначений в современном китайском языке с точки зрения проблемы номинации и отражения индивидуальной модели «мира цвета». Автор познакомила с характерным для китайского языка набором основных цветов системы цветообозначений и способами передачи их оттенков.

На конференции обсуждались также

вопросы языковой политики, центральное место среди которых занимает дальнейшая нормализация общекитайского языка путунхуа и его распространение в стране. Эти процессы освещались в докладе Е. Н. Румянцев (Москва) «Путунхуа и диалекты в КНР: их соотношение и функции».

О взаимодействии языков, языковых контактах говорил Л. Н. Морев (Москва) в докладе «Взаимоотношения между китайским и тайскими языками Китая». Он отметил китайское влияние на языки тайских народностей, особенно заметное в области лексики и грамматического строя.

На конференции по традиции рассматривались вопросы типологически близкого к китайскому дунганского языка.

В докладе Б. Ю. Городецко (Москва) «Экспериментальное исследование лексической синонимии» была описана методика выявления синонимических корреляций в ходе экспериментов с участием информантов-дунган. При этом ставилась задача получить исчерпывающие данные о субституции изучаемых единиц в различных контекстах. В результате создан «Корпус экспериментальных данных по синонимии», который использовался при подготовке «Дунгано-русского словаря». Этот «Корпус» позволяет выявлять лексико-семантическую систему языка. При исследовании учитывались содержательные виды и подвиды синонимических корреляций, степень синонимичности отдельных пар, соотношение синонимии и полисемии и т. п. Методика, полученные данные могут быть полезны для широких семантико-типологических исследований разнообразных языков.

С программой комплексного семантического изучения дунганского языка был связан доклад Т. В. Ивченко (Москва), рассмотренного антонимиче-

ские отношения в дунганских пословицах и классифицировавшего их по пяти основным типам.

В докладе М. Х. Имазова (Фрунзе) «Об удвоенных формах прилагательных в дунганском и китайском языках» речь шла об основных структурно-семантических моделях повторов, особенностях их употребления, различиях в моделях образования.

На заседаниях обсуждались не только теоретические, но и прикладные аспекты китайского языкознания. С. К. Шантанов (Москва) рассказал о разрабатываемой им оптимизированной системе обучения китайскому языку по интенсивно-имитационному методу. С 1984 г. данный метод используется в учебной практике филфака МГУ. Об опыте работы с использованием ассоциативно-логического подхода к семантизации иероглифа и слова сообщила Т. П. Воржцова (Москва).

На заключительном заседании конференции выступил Н. Н. Коротков. Говоря о типологической специфике китайского языка как изолирующего, он подчеркнул необходимость учитывать связь единиц разных языковых уровней. Без решения этих общих вопросов нельзя правильно определить место изучаемого явления в системе и установить признак, который является ведущим и определяющим все остальные.

По сложившейся традиции следующую конференцию намечено провести через два года.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Актуальные вопросы китайского языкознания: Материалы IV Всесоюзной конференции, Москва, июнь 1988 г. М., 1988.

Семенов А. Л. (Москва)

17—20 октября 1988 г. в Копенгагене состоялась VI конференция по изучению инуитов (эскимосов), организованная Институтом эскимологии Копенгагенского университета. Подобные конференции проводятся регулярно, раз в два года, начиная с 1978 г. Пять предыдущих проходили в университете Лаваль в Канаде.

В Копенгаген съехалось более 300 ученых из 13 стран. Наиболее широко, естественно, были представлены страны, на территории которых живут эскимосы и алеуты: Дания (Гренландия), США и Канада. Более половины участников

составляли эскимосы, в основном гренландцы; это, по мнению многих выступавших, в значительной степени способствовало конкретному и конструктивному характеру конференции, приближало ее к реальным нуждам коренного населения Севера.

В конференции впервые принимала участие группа советских ученых: С. А. Арутюнов, М. А. Членов и И. И. Кружник (Ин-т этнографии, Москва), Н. Б. Вахтин и Е. В. Голунко (Ин-т языкознания, Ленинград). Ю. С. Рытхэу представлял Союз писателей СССР. К сожалению, в совет-

скую делегацию не вошли эскимосы — жители Чукотки, хотя Оргкомитет временно направил приглашение нескольким представителям эскимосской интеллигенции.

Работа протекала на пленарных заседаниях, а также в следующих секциях: 1) Изучение эскимосско-алеутских языков: диахрония; 2) Изучение эскимосско-алеутских языков: синхрония; 3) Настоящее и будущее эскимосско-алеутских языков; 4) Создание эскимосских словарей; 5) Усвоение и передача эскимосских языков; 6) Эскимосская лингвистика и примененные компьютеры; 7) Технические средства и методы обучения; 8) Эскимосская литература; 9) Этнические, культурные и социальные изменения; 10) Этногенез и социогенез в Арктике и Субарктике; 11) Арктическая и субарктическая демография; 12) Новые перспективы арктической археологии; 13) Телевидение и эскимосская культура; 14) Общественные движения и самоуправление эскимосов; 15) Роль женщин в политическом развитии Арктики и др.

Лингвистическим проблемам был посвящен программный доклад «Эскимосско-алеутские языки, настоящее и прошлое», прочитанный на пленарном заседании проф. К. Бергсландом. Ученый охарактеризовал ситуацию, в которой находятся эскимосско-алеутские языки в настоящее время, подчеркнул, что устойчивость различных языков и диалектов далеко не одинакова и зависит от конкретных социолингвистических причин. Одни эскимосские языки занимают весьма прочное положение, другие находятся на грани исчезновения. Были приведены данные о численности говорящих на алеутском и эскимосских языках, а также подведены итоги изучения проблем родства эскимосско-алеутских языков и намечены пути их исследования.

Тематика лингвистических докладов на секциях была весьма разнообразной. Большое внимание уделялось социолингвистическим проблемам, которые в настоящее время явно выходят на первый план по важности и актуальности для эскимосско-алеутских языков и шире — языков народностей Севера. Проблема статуса эскимосских языков Аляски и Гренландии обсуждалась в докладах Л. Кэплана (США) и Х. Педерсена (Дания). Языковые изменения, происходящие под влиянием иноязычного языка, рассматривались в докладе М. Лайтстоун (Канада). Этой же проблеме, но на материале языка детей был посвящен местный доклад М. Краго, Л. Нинг и урвик и Б. Айнахатак (Канада). Л.-Ж. Доре (Канада) проанализировал сложившуюся у канадских

эскимосов социолингвистическую ситуацию и отметил, что, с одной стороны, наблюдается возрождение интереса у молодого поколения эскимосов к изучению родного языка, но с другой стороны, приходится признать, что процесс постепенной утраты эскимосами родного языка не замедляется. В докладе Н. Б. Вахтина (СССР) была изложена разработанная автором методика социолингвистического обследования, впервые опробованная им для изучения языковой ситуации в одном алеутском и двух эскимосских поселках.

Большая группа докладов была посвящена вопросам синхронного описания звукового строя и грамматики эскимосско-алеутских языков. Проблема разграничения суффиксальных морфем и клитик в гренландском рассматривалась в докладе Дж. Сейдока (США). Е. В. Головко (СССР) проанализировал грамматические особенности одного из алеутских языков — контактного языка Медновских алеутов, который возник на базе алеутского и русского языков. Проблеме трактовки эргативности в рамках генеративной грамматики был посвящен доклад Е. Новак (ФРГ). Н. Б. Вахтин (СССР) представил результаты исследований по порядковому анализу эскимосской глагольной словоформы. Б. Харнум, Р. Насхалик и Б. Майк (Канада) рассмотрели некоторые вопросы фонетической ассимиляции в одном из канадских эскимосских диалектов.

Третья группа докладов была посвящена обсуждению проблем и перспектив большого совместного проекта, осуществляемого Копенгагенским университетом, Аляскинским университетом и Университетом Мак-Гилл (Канада). Цель проекта — создание Большого сравнительного словаря эскимосских языков. Большой интерес вызвал доклад руководителя проекта М. Фортескью (Дания), который говорил о трудностях адекватного представления эскимосской лексики в словарях. Проблеме эскимосской лексикографии был посвящен также доклад Г. Корника (Франция). Следует отметить большой интерес, который проявляют все участники проекта к сотрудничеству с советскими учеными, располагающими уникальными материалами по языкам эскимосско-алеутской семьи, распространенным на территории СССР.

В нескольких докладах нашли отражение результаты диахронического изучения эскимосско-алеутских языков. Б. Якобсен (Дания) представила анализ фонетических изменений в речи детей по сравнению с речью старшего поколения, имевших место в самом северном

из диалектов Гренландии. М. Краусс (США) предпринял попытку, опираясь на новые языковые факты, по-новому взглянуть на место науканского языка в ряду других эскимосских языков. Проблеме исчезновения старосиреникского языка был посвящен доклад И. И. Крупника (СССР). В докладе Р. Лоу (Канада), использовавшего материалы Э. Петито, рассматривались некоторые особенности сиглитского диалекта эскимосского языка.

Возможности и первые результаты использования компьютеров при исследовании структуры эскимосских языков при переводе на эти языки и с этих языков были продемонстрированы в докладах Х. Огасена (Дания) и Д. Коллива (Канада).

На заключительном заседании были подведены итоги работы конференции. Участники с удовлетворением отметили ее возросший научный уровень и представительность. По мнению многих участников, она предоставляет прекрасную возможность для научного общения специалистов по языку и этнографии эскимосов, для знакомства с направлением исследований, которые ведутся в мире в этой области, для консолидации усилий ученых-североведов.

Очередная, VII конференция по изучению эскимосов состоится в г. Фербенксе, штат Аляска, США, в 1990 г.

Вазгин Н. Б., Головки Е. В. (Ленинград)

Реклама

«**RUSKO-SRPSKOHRAVATSKI REČNIK**» u redakciji doktora filoloških nauka, profesora Bogoljuba Stankovica je prvo zajedničko izdanje izdavačkog preduzeća «**Ruski jezik**» iz Moskve i izdavačke radne organizacije **Matice Srpske iz Novog Sada**. Rečnik je namenjen prevodiocima, naučnim radnicima, nastavnicima, studentima, kao i širokim krugovima stručnjaka koji koriste ruski jezik u svojoj prakticnoj delatnosti.

Ovo je najpotpuniji rusko-srpskohrvatski rečnik u pogledu obuhvaćene gradje. On sadrži oko 52 000 reči i veliki broj spojeva reči savremenog ruskog jezika. Rečnik obuhvata opštu leksiku i frazeologiju ruskog književnog jezika. U većem obimu su zastupljene opštepoznate poslovice i izreke. Sem toga u rečnik je unet i izvesni broj razgovornih, narodskih i arhaičnih reči koje se često sreću u ruskoj umetničkoj književnosti XIX veka.

S obzirom na sve razvijenije kontakte izmedju SSSR i SFRJ u oblasti nauke, kulture, ekonomike i tehnike i sve veće interesovanje jugoslovenskih čitalaca za naučnu i tehničku literaturu na ruskom jeziku, u rečniku je dat znatan broj stručne leksike. Široko je zastupljena društveno-politička leksika i frazeologija kao i najnovija leksička gradja koja bi pomogla jugoslovenskom čitaocu da iz prve ruke dobije potpunu informaciju o zemlji Sovjeta i da se upozna sa sovjetskim časopisima i novinama. U rečnik je uključena leksika «perestrojke» i «glasnosti» kao i nove ekonomske termine.

U rečniku se daje detaljna gramatička i akcenatska karakteristika ruskih reči, informacija o njihovoj sintaksičkoj i leksičkoj spojivosti. Velika pažnja je posvećena obradi predloga — s obzirom na razlike izmedju ruskih i srpskohrvatskih sintagmi. Uz ruske glagole i srpskohrvatske ekvivalente redovno se navodi informacija o glagolskoj rekciji.

Rečnik je udoban za upotrebu. Značenja ruskih reči razgraničavaju se pomoću brojki, nijanse značenja pomoću tačke i zareza; redovno se daju oznake i objašnjenja koja pružaju dopunsku informaciju; navodi se veliki broj primera koji ilustruju upotrebu ruskih reči i srpskohrvatskih ekvivalenata.

Na kraju rečnika daje se spisak geografskih naziva koji odražava promene na geografskoj mapi sveta i SSSR za poslednje vreme, kao i spisak najfrekventnijih u ruskom jeziku skraćenica.

«**Rusko-srpskohrvatski rečnik**» je pouzdan priručnik kako za profesionalnog prevodioca, tako i za onoga ko počinje da izučava ruski jezik i ko se interesuje književnošću, istorijom i kulturom srodnog slovenskog naroda.

Kupujte «Rusko-srpskohrvatski rečnik» koji ćete pronaći u prodavnicama Matice Srpske 1989 godine.

«РУССКО-СЕРБСКОХОРВАТСКИЙ СЛОВАРЬ» под редакцией доктора филологических наук, профессора Боголюбa Станковича является первым совместным изданием издательства «Русский язык» в Москве и издательства «Матица српска» в Нови-Саде. Словарь предназначен для переводчиков, научных работников, преподавателей, студентам, изучающим русский язык, а также широким кругам специалистов, использующих русский язык в своей практической деятельности.

Словарь является наиболее полным из существующих русско-сербскохорватских словарей: он охватывает около 52 000 слов и большое количество словосочетаний литературного русского языка. В словаре отражена общеупотребительная лексика и фразеология современного русского языка. Приводятся наиболее употребительные пословицы и поговорки. Кроме того, в словарь включено известное количество разговорных, просторечных и устаревших слов, часто встречающихся в русской художественной литературе начиная с середины XIX века.

Ввиду постоянного расширения связей между СССР и СФРЮ в области науки, культуры, экономики и техники и роста интереса югославских читателей к научной и технической литературе на русском языке большое место в словаре отводится терминологической лексике. Широко представлена общественно-политическая лексика и фразеология, а также отражен новейший лексический материал, который поможет югославскому читателю получить из первоисточников всестороннюю информацию о жизни Страны Советов, ознакомиться с советскими журналами и газетами. В словарь включена лексика периода перестройки и гласности, как и новая экономическая терминология.

В словаре дается подробная грамматическая и акцентуационная характеристика русских слов, информация об их синтаксической и лексической сочетаемости. Большое внимание уделено разработке предлогов — с учетом различий между русскими и сербскохорватскими предложно-падежными конструкциями. При русских глаголах и их сербскохорватских эквивалентах регулярно даются сведения о глагольном управлении.

Словарь удобен для пользования. Значения русских слов разграничиваются с помощью цифр, а оттенки значений — с помощью точки с запятой; регулярно даются пометы и пояснения, содержащие дополнительную информацию; приводится большое количество словосочетаний, иллюстрирующих употребление русских слов и сербскохорватских эквивалентов.

В конце словаря дается список географических названий, отражающих изменения, происшедшие на карте мира и СССР за последнее время, а также список наиболее употребительных сокращений, принятых в русском языке.

«Русско-сербскохорватский словарь» — надежное пособие как для профессионального переводчика, так и для человека, изучающего русский язык или интересующегося литературой, историей и культурой родственного славянского народа.

Покупайте «Русско-сербскохорватский словарь», который вы сможете найти в магазинах в 1989 году.

Технический редактор *Радина Т. П.*

Сдано в набор 28 02 89	Подписано к печати 13 04 89	Формат бумаги 70×100 ¹ / ₁₆		
Высокая печать	Усл. печ. л. 13,0	Усл. кр.-отт. 7,2 тыс.	Уч.-изд. л. 15,2	Бум. л. 5,0
	Тираж 5636 экз.	Заказ 2655		

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6